

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Учебное пособие

Составитель Л.Н. Чурилина

6-е издание, стереотипное

*Допущено Учебно-методическим объединением
по направлениям педагогического образования
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 540300 (050300) —
Филологическое образование*

Москва
Издательство «Флинта»
Издательство «Наука»
2011

УДК 81(075)

ББК 81.2-5

А43

С о с т а в и т е л ь:

докт. филол. наук, профессор кафедры русского языка
Магнитогорского государственного университета **Л.Н. Чурилина**

Рецензенты:

канд. филол. наук, доцент *Е.В. Грудева*
(Санкт-Петербургский государственный университет);
канд. филол. наук, доцент *Д.З. Сулейманова*
(Магнитогорский государственный университет)

Актуальные проблемы современной лингвистики : [элек-
А43 тронный ресурс] учеб. пособие / сост. Л.Н. Чурилина. — 6-е
изд., стереотип. — М. : Флинта : Наука, 2011. — 416 с.

ISBN 978-5-89349-892-9 (Флинта)

ISBN 978-5-02-033353-6 (Наука)

Предлагаемое пособие включает развернутую программу учебной дисциплины «Актуальные проблемы современной лингвистики», хрестоматию и систему заданий творческого и проблемного характера. Издание призвано обеспечить изучение цикла общелингвистических дисциплин: «Теория языка», «Общее языкознание», «Актуальные проблемы современной лингвистики», включенных в блок специальных дисциплин государственного образовательного стандарта по направлению «Филология», а также в образовательный стандарт подготовки магистров по направлениям «Филология» и «Языковое образование».

Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей-филологов.

УДК 81(075)

ББК 81.2-5

ISBN 978-5-89349-892-9 (Флинта)

ISBN 978-5-02-033353-6 (Наука)

© Издательство «Флинта», 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вводные замечания	5
Основное содержание	9

Хрестоматия и учебные задания

Тема 1. Современная лингвистика в свете теории смены научных парадигм	16
<i>Т. Кун.</i> Структура научных революций	17
<i>Р.М. Фрумкина.</i> Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология?	41
<i>Е.С. Кубрякова.</i> Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа)	46
Тема 2. Функциональное направление в современной лингвистике	60
<i>В.Б. Касевич.</i> Семантика. Синтаксис. Морфология	61
<i>А.В. Бондарко.</i> Функциональная грамматика	63
<i>Г.А. Золотова.</i> Очерк функционального синтаксиса русского языка	86
<i>Г.А. Золотова.</i> Коммуникативные аспекты русского синтаксиса	101
Тема 3. Дискурсивные исследования: история и перспективы	107
<i>М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова.</i> Современная городская коммуникация: тенденции развития	113
Русская разговорная речь. Тексты	128
Тема 4. Генеративное направление в лингвистике: истоки, цели, задачи, основные положения	136
<i>Дж. Бейлин.</i> Краткая история генеративной грамматики (Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления)	137
<i>Н. Хомский.</i> Вопросы теории порождающей грамматики	141
<i>Н. Хомский.</i> Современные исследования по теории врожденных идей	161
<i>Д. Слобин.</i> Психолингвистика	171
<i>Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков и др.</i> Краткий словарь когнитивных терминов	185
Тема 5. Когнитивное направление в современной лингвистике: цели, задачи, центральные положения теории	192
<i>В.Б. Касевич.</i> О когнитивной лингвистике	192

	<i>В.И. Писаренко. О когнитивной лингвистике и семантике термина «когнитивный»</i>	200
Тема 6.	Теория языковой личности в русистике	206
	<i>Ю.Н. Караулов. Предисловие. Русская языковая личность и задачи ее изучения</i>	207
	<i>В.В. Красных. Виртуальная реальность или реальная виртуальность?</i>	214
	<i>А.А. Леонтьев. Общие сведения об ассоциациях и ассоциативных нормах</i>	217
	<i>Л.Н. Чурилина. Концепт «Любовь» как фрагмент коллективной и индивидуальной картины мира: ассоциативный аспект</i>	219
Тема 7.	Значение слова как достояние индивида: слово и концепт, значение и смысл	233
	<i>А. Вежбицкая. Семантические универсалии и описание языков</i>	251
Тема 8.	«Метафоры, которыми мы живем»: теория концептуальной метафоры	266
	<i>Дж. Лакофф, М. Джонсон. Метафоры, которыми мы живем</i>	267
	<i>В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян. Метафора в семантическом представлении эмоций</i>	293
Тема 9.	Ментальный лексикон: модели организации знаний в памяти человека	307
	<i>Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. Краткий словарь когнитивных терминов</i>	308
	<i>А.А. Залевская. Ментальный лексикон с позиций разных подходов</i>	311
	<i>Е.С. Кубрякова. О ментальном лексиконе: лексикон как компонент языковой способности человека</i>	327
Тема 10.	Проблемы порождения и восприятия речи в современной лингвистике	343
	<i>В.Б. Касевич. Семантика. Синтаксис. Морфология</i>	344
	<i>А.В. Венцов, В.Б. Касевич. Проблемы восприятия речи</i>	368
	<i>А.В. Венцов, В.Б. Касевич, Е.В. Ягунова. Корпус русского языка и восприятие речи</i>	385
	Список литературы	401
	Перечень базовых понятий дисциплины	407

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Дисциплина «Актуальные проблемы современной лингвистики», сравнительно недавно введенная в государственный образовательный стандарт по направлению «Филология», является необходимым звеном в ставшем уже традиционным комплексе теоретических лингвистических дисциплин: от «Введения в языкознание» до «Истории лингвистических учений» и «Теории языка». Специфика новой дисциплины определяется ее подчеркнутой ориентацией на выявление приоритетов в современной науке о языке с учетом уже проявившихся тенденций и обозначения наметившихся перспектив дальнейшего развития лингвистических исследований.

Облик лингвистики за последние десятилетия значительно изменился. Прежде всего отмечается многообразие предлагаемых подходов к решению проблем, относимых к разряду «вечных», а также обращение лингвистов к вопросам, которые априори не могут найти однозначного ответа (к числу таковых относится, например, вопрос о существовании языкового модуля). В этой связи особый интерес для начинающих исследователей представляет сам процесс научного поиска, смелость выдвигаемых гипотез и убедительность аргументации, острота научной полемики.

Основной целью дисциплины «Актуальные проблемы современной лингвистики» является знакомство студентов с магистральными направлениями лингвистических исследований, определившимися в последние десятилетия XX века, а также с частными школами и течениями современной отечественной и мировой лингвистики.

Необходимость введения студентов старших курсов филологических факультетов, магистрантов и аспирантов в круг активно обсуждаемых в мировой лингвистике проблем очевидна. В то же время очевидно и отсутствие на сегодняшний день системы учебных пособий, которые могли бы помочь студентам освоить «живой» научный материал, научиться ориентироваться в теоретическом и методологическом его многообразии. Предлагаемое пособие призвано восполнить существующую лакуну в учебно-методическом обеспечении общелингвистических дисциплин.

В процессе освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы современной лингвистики» студенты должны научиться хорошо ориентироваться в современных лингвистических теориях и осмысленно выбирать научную парадигму, отвечающую их интересам при написании дипломной работы, магистерской или кандидатской диссертации; они должны овладеть навыком сопоставительного анализа предлагаемых точек зрения и подходов, иногда находящихся в отношениях непримиримой оппозиции. В задачи курса входит и отработка навыков самостоятельной работы с научной литературой (поиск, конспектирование и реферирование), наконец, студенты должны получить представление о специфике современных экспериментальных методов исследования языковых явлений (методика проведения лингвистического и психолингвистического эксперимента). Таким образом, итогом работы студента должно стать не простое усвоение некоторой суммы лингвистических сведений, но творческое осмысление сущности и перспектив дальнейшего развития тех исследовательских направлений, которые характеризуют современную науку, а также личное включение обучающихся в современный научный процесс.

Овладение навыками интерпретации различного рода научных концепций, равно как и овладение современными методами лингвистического анализа должны в большой мере опираться на самостоятельную работу студента. Предлагаемое учебное пособие имеет целью помочь организовать такую работу.

Первая часть книги — «Основное содержание» — дает общее представление о круге проблем, составивших основу дисциплины «Актуальные проблемы современной лингвистики». При отборе материала прежде всего учитывались ведущие парадигмы научного знания, развиваемые в рамках современной отечественной и мировой лингвистики: генеративное, функциональное и когнитивное направления. При этом уделялось внимание и лингвистическим теориям, не относящимся (с точки зрения их создателей) ни к одной из этих парадигм. Каждое из направлений рассматривалось в двух аспектах: с точки зрения современного уровня развития их теоретической базы (аспект фундаментальных знаний) и с точки зрения возможностей практического при-

менения этих теорий (аспект прикладных знаний). По справедливому замечанию И.С. Куликовой, «только такой подход может быть признан адекватным современным запросам общества в сфере подготовки специалистов с широким диапазоном практических умений и высокой степенью владения теорией»¹.

Вторая (основная) часть учебного пособия — «Хрестоматия и учебные задания» — включает материал для самостоятельного осмысления и для обсуждения на семинарских занятиях. В хрестоматии представлены работы (или значительные по объему фрагменты работ) ведущих отечественных и зарубежных лингвистов, с именами которых связывается представление о значительных достижениях в развитии современной науки. Жанры отобранных работ различны — это полемические статьи, обзоры, работы обобщающего и критического характера и главы монографий. Такое разнообразие дает возможность почувствовать особенность научного стиля каждого исследователя, приобщиться к научной полемике и приобрести навыки интерпретации разнообразного материала.

Весь представленный материал распределен по нескольким учебным темам; основой для его структурирования явилась ориентация на несколько ключевых, с нашей точки зрения, научных проблем, к числу которых относятся:

- во-первых, вопрос о статусе современной лингвистики, о ее объекте, предмете, целях, задачах и методах; о месте, занимаемом лингвистикой в ряду гуманитарных наук и наук естественного цикла;
- во-вторых, вопрос о магистральных направлениях развития лингвистической науки, об отличительных признаках каждой из выделяемых научных парадигм;
- в-третьих, частные вопросы, решаемые в рамках различных лингвистических направлений и школ (о врожденности языка, о специфике языковых знаний, о соотношении знания и значения; цикл вопросов, связанных с речевой деятельностью и пр.).

¹ Куликова И.С. Современные проблемы лингвистики // Программы дисциплин подготовки магистра филологического образования. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2004. С. 5.

Теоретический материал, выносимый на обсуждение, сопровождается системой вопросов, помогающих студентам обозначить наиболее существенные или, напротив, наиболее уязвимые для критики аспекты обсуждаемой теоретической концепции. Сложность проблем современной лингвистики определяет отсутствие (а иногда и принципиальную невозможность) их однозначного решения, и многообразие предлагаемых ответов не только дает основание для дискуссий, но стимулирует к поиску своего варианта ответа на поставленный вопрос. Для формирования у студентов навыков самостоятельного анализа языкового материала в этот раздел включены и задания практического характера.

В конце книги приведены список литературы и перечень базовых теоретических понятий.

Л.Н. Чурилина

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1

СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА В СВЕТЕ ПАРАДИГМАЛЬНОЙ ТЕОРИИ Т. КУНА

Понятие научной парадигмы (теория научной революции Т. Куна и ее современные интерпретации). Факторы, определяющие смену парадигм в науке, понятие «научной революции». Вопрос о современном состоянии лингвистики: парадигмальный, допарадигмальный (постпарадигмальный) или полипарадигмальный период.

Отличительные парадигмальные черты современной лингвистики:

- 1) Экспансионизм как общая тенденция развития науки. Формирование новых наук, опосредованно связанных с лингвистикой (лингвогносеология, социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика, лингвопраксеология, лингвокультурология, этнолингвистика, лингвопалеонтология).
- 2) Антропоцентризм как особый принцип исследования: два круга проблем — «человек в языке» и «язык в человеке».
- 3) Функционализм как общее методологическое основание большинства современных лингвистических исследований; узкое и широкое понимание функционализма.
- 4) Экспланаторность: место гипотетико-дедуктивного метода в современных лингвистических исследованиях. Проблема определения конечных целей и задач лингвистической исследовательской деятельности.

Статус современной лингвистики как статус полипарадигмальной науки: аргументы pro и contra.

ОСНОВНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛЫ

Функциональное направление лингвистических исследований

Общая характеристика современных функциональных исследований. История формирования функционального подхода к описанию языковых явлений. Понятие «функции» и его эволюция в лингвистике.

Частные черты (признаки) современных функциональных концепций. Основные направления анализа («Смысл → Текст», «Текст → Смысл», «Текст → Языковая система») и варианты «функциональных лингвистик».

Функциональные грамматики: общая характеристика, основные постулаты. Специфика функциональной грамматики в сопоставлении с грамматиками традиционного типа. Основные типы функционально-грамматических описаний, предлагаемых в мировой лингвистике. Морфологические исследования Дж. Байби («шкала Байби», или шкала релевантности морфологических категорий).

Вариант грамматики функционального типа, разрабатываемый в работах А.В. Бондарко: специфика функционально-грамматического описания, основанного на понятии функционально-семантического поля; соотношение понятий *функция* и *значение*, *система* и *среда*.

Функциональный синтаксис Г.А. Золотовой: понятие синтаксической функции; соотношение *функции*, *значения* и *формы* в рамках концепции.

Функциональное направление в лексикологии; *лексическая структура текста* как центральное понятие функциональной лексикологии.

Дискурсивные исследования: роль дискурсивного анализа в современной функциональной лингвистике, принципы дискур-

сивного исследования. Специфика конверсационного анализа, его цели и возможные перспективы. Дискурс как объект лингвистического анализа.

Речевая конфликтология как особое направление исследований: цели и задачи.

Генеративная лингвистика

Место генеративных исследований в современной лингвистике. Истоки трансформационно-порождающей грамматики Н. Хомского. Суть понятия «хомскианская революция», или «вторая когнитивная революция».

Отличительные черты генеративизма как новой научной парадигмы: осознание роли дедукции в лингвистических исследованиях, выдвигание на первый план синтаксиса и синтаксических отношений, положение о креативном характере языковой деятельности, постановка вопроса о специфике языкового знания.

Общие теоретические и методологические положения генеративной лингвистики. Вопрос о семантическом компоненте.

Проблема онтогенеза речи и ее решение в генеративных исследованиях. Модулярный подход к объяснению языковых явлений. Генеративная лингвистика и современные когнитивные исследования.

Когнитивное направление в современной лингвистике

Когнитивизм как общенаучное направление: общие принципы когнитивных исследований.

Когнитивная лингвистика: предтечи когнитивизма в лингвистике (идеи В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Э. Сепира и Л. Уорфа и др.), начальные этапы становления когнитивизма, роль когнитивного направления в современной мировой лингвистике. Общие цели и задачи исследований. Актуальные проблемы когнитивной лингвистики.

Язык как объект когнитивной лингвистики. Отношение к «языковому модулю»: суть оппозиции модулярного и немодулярного подходов к языку.

Язык и когнитивные процессы: соотношение языка и мышления — современный взгляд на «вечную» проблему.

Раздел 3

ЧАСТНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ

Теория языковой личности

Языковая личность как специфический объект исследования. Теория языковой личности в русистике: история и основные перспективы развития. Теория языковой личности в отечественной психолингвистике.

Представление об уровне организации феномена «языковая личность». Специфика лингвистического анализа каждого уровня. Экспериментальные методы в исследовании феномена «языковая личность».

Теории, связанные с исследованием структур языкового знания

Основные виды знаний и особенности функционирования знаний как достояния индивида. *Знание и значение*: проблема соотношения концептуальной картины мира и языковой картины мира.

Подходы к трактовке значения слова как достояния индивида, предлагаемые в мировой лингвистике (ассоциативные модели, групповые модели, сетевые модели). Ассоциативная теория значения. Значение и смысл.

Концепт и слово: теория концепта в современной лингвистике; специфика собственно лингвистического и лингвокультурологического подходов к исследованию концепта.

Теория когнитивных прототипов Э. Рош. Теория лексико-семантических примитивов А. Вежбицкой. Семантическая теория Ю.Д. Апресяна (Московская семантическая школа). Модель «Смысл ⇔ Текст» И.А. Мельчука.

Теория метафоры в современной лингвистике

Современные подходы к трактовке сущности метафоры: метафора как один из важнейших типов человеческого мышления. Метафора как элемент концептуальной картины мира и как принадлежность языка. Языковая метафора и метафора художественная: основания для разграничения.

Теория концептуальной метафоры М. Джонсона и Дж. Лакоффа. Основные постулаты современных теорий метафоры, разрабатываемых в когнитивной лингвистике.

Метафорический подход в рамках современных семантических исследований (работы представителей Московской семантической школы). Метафорический подход в лексикографии. Метафора как элемент дискурса. Исследования роли метафоры в русском политическом дискурсе.

Психолингвистический и нейролингвистический аспекты исследования метафоры.

Ментальный лексикон индивида с позиций различных подходов

История формирования понятия «ментальный лексикон» в мировой лингвистике. Дискуссионные вопросы, связанные со спецификой единиц ментального лексикона и закономерностями, определяющими их организацию.

Ментальный лексикон как компонент языковой способности человека. Лингвистическая оппозиция «словарь ↔ грамматика»: современные подходы к разграничению языковых знаний разного типа.

Ментальный лексикон и вопрос о существовании языкового модуля. Модульный и холистический подходы к трактовке ментального лексикона: теоретические предпосылки.

Ментальный лексикон в онтогенезе: основные направления изучения детской речи.

Проблема порождения и восприятия речи в современных лингвистических исследованиях

Процесс продуцирования речи: суть процесса порождения речи (переход «смысл → текст»), источники информации о его протекании, методы исследования процесса речепорождения. Специфика соотношения мыслительной деятельности и речепорождения; речемыслительный процесс. Модели речепорождения: представления об основных этапах и уровнях процесса, складывающиеся в рамках лингвистических, психолингвистических и нейролингвистических исследований; условия, обеспечивающие успешное протекание процесса продуцирования речи. Понятия «внутренняя речь» и «внутреннее слово» в рамках различных концепций. Специфика соотношения «внутреннего» и «внешнего» слова.

Процесс речевосприятия: суть перцептивного процесса, задачи и методы его исследования. Современные модели восприятия речи (обзор): вопрос о «направлении» восприятия, специфика работы перцептивного механизма, этапы перцептивного процесса.

Интегративная модель восприятия речи (В.Б. Касевич): вопрос о единице восприятия и направлении восприятия; вопрос о структурировании перцептивного механизма и его процедур. Роль слова и словаря в процессе восприятия речи. Суть оппозиции «генеративный словарь — перцептивный словарь». Единицы перцептивного словаря и закономерности их организации. Проблемы речевосприятия, речепорождения и ментальный лексикон.

Корпусная лингвистика и исследование процессов речепорождения и речевосприятия, основные этапы перцептивного процесса.

Лингвистический и психолингвистический эксперименты в исследовании процессов производства и восприятия речи.

**ХРЕСТОМАТИЯ
И
УЧЕБНЫЕ
ЗАДАНИЯ**



СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА В СВЕТЕ ТЕОРИИ СМЕНЫ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ



Вопросы, выносимые на обсуждение

- 1. Понятие научной парадигмы и логика развития науки в концепции Т. Куна**
 - Какое содержание вкладывается в понятие «научная парадигма» в работе Т. Куна?
 - Наличие каких черт позволяет констатировать, что некоторая наука переживает парадигмальный этап своего развития или является «нормальной наукой»?
 - В чем видит автор теории научной парадигмы основные преимущества так называемого парадигмального этапа, а в чем — его несомненную слабость?
 - Какие черты отличают науку, находящуюся на допарадигмальном или постпарадигмальном этапе развития?
 - Раскройте суть понятия «научная революция»; что явилось для автора основой предложенного метафорического переноса: «революция социальная → революция научная»? Какую роль играют кризисы в развитии науки?
 - Каким видится автору теории процесс развития науки в исторической перспективе? Как понимается в рамках рассматриваемой концепции «прогресс» в науке?

- 2. Состояние современной лингвистики с точки зрения теории научной парадигмы**
 - В чем видит слабость современной теоретической лингвистики Р.М. Фрумкина? Какие аргументы приводятся ею в доказательство того, что лингвистика на современном этапе своего развития может быть отнесена только к числу допарадиг-

мальных наук? Насколько убедительной кажется вам предложенная система аргументов?

- Какова система аргументации сторонников *полипарадигмальной теории*? В чем заключается принципиальное отличие *парадигмальной* и *полипарадигмальной* теорий развития науки? Насколько убедительной кажется вам аргументация сторонников этой точки зрения?
- Охарактеризуйте каждую из *парадигмальных черт* современной лингвистики.



Материал для обсуждения

Т. Кун

СТРУКТУРА НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

(М., 1977)

Предисловие

<...> практика научных исследований в области астрономии, физики, химии или биологии обычно не дает никакого повода для того, чтобы оспаривать самые основы этих наук, тогда как среди психологов или социологов это встречается сплошь и рядом. Попытки найти источник этого различия привели меня к осознанию роли в научном исследовании того, что я впоследствии стал называть «парадигмами». Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений.

<...> мое различие допарадигмальных и постпарадигмальных периодов в развитии науки слишком схематично. Каждая из школ, конкуренция между которыми характерна для более раннего периода, руководствуется чем-то весьма напоминающим парадигму; бывают обстоятельства (хотя, как я думаю, довольно редко), при которых две парадигмы могут мирно сосуществовать в более поздний период. Одно лишь обладание парадигмой нельзя считать вполне достаточным критерием <...> переходного периода в развитии <...>.

Роль истории

Если науку рассматривать как совокупность фактов, теорий и методов, собранных в находящихся в обращении учебниках, то в таком случае ученые — это люди, которые более или менее успешно вносят свою лепту в создание этой совокупности. Развитие науки при таком подходе — это постепенный процесс, в котором факты, теории и методы слагаются во все возрастающий запас достижений, представляющий собой научную методологию и знание. История науки становится при этом такой дисциплиной, которая фиксирует как этот последовательный прирост, так и трудности, которые препятствовали накоплению знания. Отсюда следует, что историк, интересующийся развитием науки, ставит перед собой две главные задачи. С одной стороны, он должен определить, кто и когда открыл или изобрел каждый научный факт, закон и теорию. С другой стороны, он должен описать и объяснить наличие массы ошибок, мифов и предрассудков, которые препятствовали скорейшему накоплению составных частей современного научного знания. Многие исследования так и осуществлялись, а некоторые и до сих пор преследуют эти цели.

Однако в последние годы некоторым историкам науки становится все более и более трудным выполнять те функции, которые им предписывает концепция развития науки через накопление. Взяв на себя роль регистраторов накопления научного знания, они обнаруживают, что чем дальше продвигается исследование, тем труднее, а отнюдь не легче бывает ответить на некоторые вопросы, например о том, когда был открыт кислород или кто первый обнаружил сохранение энергии. Постепенно у некоторых из них усиливается подозрение, что такие вопросы просто неверно сформулированы и развитие науки — это, возможно, вовсе не простое накопление отдельных открытий и изобретений. В то же время этим историкам все труднее становится отличать «научное» содержание прошлых наблюдений и убеждений от того, что их предшественники с готовностью называли «ошибкой» и «предрассудком». <...> Устаревшие теории нельзя в принципе считать ненаучными только на том основании, что они были отброшены. Но в таком случае едва ли можно

рассматривать научное развитие как простой прирост знания. То же историческое исследование, которое вскрывает трудности в определении авторства открытий и изобретений, одновременно дает почву глубоким сомнениям относительно того процесса накопления знаний, посредством которого, как думали раньше, синтезируются все индивидуальные вклады в науку.

<...> ранние стадии развития большинства наук характеризуются постоянным соперничеством между множеством различных представлений о природе. При этом каждое представление в той или иной мере выводится из данных научного наблюдения и предписаний научного метода, и все представления хотя бы в общих чертах не противоречат этим данным. Различаются же между собой школы не отдельными частными недостатками используемых методов (все они были вполне «научными»), а тем, что мы будем называть несоизмеримостью способов видения мира и практики научного исследования в этом мире. Наблюдение и опыт могут и должны резко ограничить контуры той области, в которой научное рассуждение имеет силу, иначе науки как таковой не будет. Но сами по себе наблюдения и опыт еще не могут определить специфического содержания науки. Формообразующим ингредиентом убеждений, которых придерживается данное научное сообщество в данное время, всегда являются личные и исторические факторы — элемент по видимости случайный и произвольный.

Наличие этого элемента произвольности не указывает, однако, на то, что любое научное сообщество могло бы заниматься своей деятельностью без некоторой системы общепринятых представлений. Не умаляет он и роли той совокупности фактического материала, на которой основана деятельность сообщества. Едва ли любое эффективное исследование может быть прежде, чем научное сообщество решит, что располагает обоснованными ответами на вопросы, подобные следующим: каковы фундаментальные сущности, из которых состоит универсум? Как они взаимодействуют друг с другом и с органами чувств? Какие вопросы ученый имеет право ставить в отношении таких сущностей и какие методы могут быть использованы для их решения? По крайней мере в развитых науках ответы (или то, что полностью заменяет

их) на вопросы, подобные этим, прочно закладываются в процессе обучения, которое готовит студентов к профессиональной деятельности и дает право участвовать в ней. Рамки этого обучения строги и жестки, и поэтому ответы на указанные вопросы оставляют глубокий отпечаток на научном мышлении индивидуума. Это обстоятельство необходимо серьезно учитывать при рассмотрении особой эффективности нормальной научной деятельности и при определении направления, по которому она следует в данное время. Рассматривая <...> нормальную науку, мы поставим перед собой цель в конечном счете описать исследование как упорную и настойчивую попытку навязать природе те концептуальные рамки, которые дало профессиональное образование. В то же время нас будет интересовать вопрос, может ли научное исследование обойтись без таких рамок, независимо от того, какой элемент произвольности присутствует в их исторических источниках, а иногда и в их последующем развитии.

Нормальная наука, на развитие которой вынуждено тратить почти все свое время большинство ученых, основывается на допущении, что научное сообщество знает, каков окружающий нас мир. Многие успехи науки рождаются из стремления сообщества защитить это допущение, и если это необходимо — то и весьма дорогой ценой. Нормальная наука, например, часто подавляет фундаментальные новшества, потому что они неизбежно разрушают ее основные установки. <...> Иногда проблема нормальной науки, проблема, которая должна быть решена с помощью известных правил и процедур, не поддается неоднократным натискам даже самых талантливых членов группы, к компетенции которой она относится. В других случаях инструмент, предназначенный и сконструированный для целей нормального исследования, оказывается неспособным функционировать так, как это предусматривалось, что свидетельствует об аномалии, которую, несмотря на все усилия, не удастся согласовать с нормами профессионального образования. Таким образом (и не только таким) нормальная наука сбивается с дороги все время. И тогда, когда это происходит, то есть когда специалист не может больше избежать аномалий, разрушающих существующую традицию на-

учной практики, начинаются нетрадиционные исследования, которые в конце концов приводят всю данную отрасль науки к новой системе предписаний, к новому базису для практики научных исследований. Исключительные ситуации, в которых возникает эта смена профессиональных предписаний, будут рассматриваться <...> как научные революции. Они являются дополнениями к связанной традициями деятельности в период нормальной науки, которые разрушают традиции.

Наиболее очевидные примеры научных революций представляют собой те знаменитые эпизоды в развитии науки, за которыми уже давно закрепилось название революций. <...> мы не раз встретимся с великими поворотными пунктами в развитии науки, связанными с именами Коперника, Ньютона, Лавуазье и Эйнштейна. Лучше всех других достижений, по крайней мере в истории физики, эти поворотные моменты служат образцами научных революций. Каждое из этих открытий необходимо обуславливало отказ научного сообщества от той или иной освященной веками научной теории в пользу другой теории, несовместимой с прежней. Каждое из них вызывало последующий сдвиг в проблемах, подлежащих тщательному научному исследованию, и в тех стандартах, с помощью которых профессиональный ученый определял, можно ли считать правомерной ту или иную проблему или закономерным то или иное ее решение. И каждое из этих открытий преобразовывало научное воображение таким образом, что мы в конечном счете должны признать это трансформацией мира, в котором проводится научная работа. Такие изменения вместе с дискуссиями, неизменно сопровождающими их, и определяют основные характерные черты научных революций.

<...> Усвоение новой теории требует перестройки прежней и переоценки прежних фактов, внутреннего революционного процесса, который редко оказывается под силу одному ученому и никогда не совершается в один день. Нет поэтому ничего удивительного в том, что историкам науки бывает весьма затруднительно определить точно дату этого длительного процесса, хотя сама их терминология принуждает видеть в нем некоторое изолированное событие.

На пути к нормальной науке

В данном очерке термин «нормальная наука» означает исследование, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых научных достижений — достижений, которые в течение некоторого времени признаются определенным научным сообществом как основа для его дальнейшей практической деятельности. В наши дни такие достижения излагаются, хотя и редко в их первоначальной форме, учебниками — элементарными или повышенного типа. Эти учебники разъясняют сущность принятой теории, иллюстрируют многие или все ее удачные применения и сравнивают эти применения с типичными наблюдениями и экспериментами. До того как подобные учебники стали общераспространенными, что произошло в начале XIX столетия (а для вновь формирующихся наук даже позднее), аналогичную функцию выполняли знаменитые классические труды ученых: «Физика» Аристотеля, «Альмагест» Птолемея, «Начала» и «Оптика» Ньютона, «Электричество» Франклина, «Химия» Лавуазье, «Геология» Лайеля и многие другие. Долгое время они неявно определяли правомерность проблем и методов исследования каждой области науки для последующих поколений ученых. Это было возможно благодаря двум существенным особенностям этих трудов. Их создание было в достаточной мере беспрецедентным, чтобы привлечь на длительное время группу сторонников из конкурирующих направлений научных исследований. В то же время они были достаточно открытыми, чтобы новые поколения ученых могли в их рамках найти для себя нерешенные проблемы любого вида.

Достижения, обладающие двумя этими характеристиками, я буду называть далее «парадигмами», термином, тесно связанным с понятием «нормальной науки». Вводя этот термин, я имел в виду, что некоторые общепринятые примеры фактической практики научных исследований — примеры, которые включают закон, теорию, их практическое применение и необходимое оборудование, — все в совокупности дают нам модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследования. <...> Изучение парадигм <...> является тем, что главным образом и подго-

тавливают студента к членству в том или ином научном сообществе. Поскольку он присоединяется таким образом к людям, которые изучали основы их научной области на тех же самых конкретных моделях, его последующая практика в научном исследовании не часто будет обнаруживать резкое расхождение с фундаментальными принципами. Ученые, научная деятельность которых строится на основе одинаковых парадигм, опираются на одни и те же правила и стандарты научной практики. Эта общность установок и видимая согласованность, которую они обеспечивают, представляют собой предпосылки для нормальной науки, то есть для генезиса и преемственности в традиции того или иного направления исследования.

История наводит на мысль, что путь к прочному согласию в исследовательской работе необычайно труден. Тем не менее история указывает и на некоторые причины трудностей, встречающихся на этом пути. За неимением парадигмы или того, что предположительно может выполнить ее роль, все факты, которые могли бы, по всей вероятности, иметь какое-то отношение к развитию данной науки, выглядят одинаково уместными. В результате первоначальное накопление фактов является деятельностью, гораздо в большей мере подверженной случайностям, чем деятельность, которая становится привычной в ходе последующего развития науки. Более того, если нет причины для поисков какой-то особой формы более специальной информации, то накопление фактов в этот ранний период обычно ограничивается данными, всегда находящимися на поверхности. В результате этого процесса образуется некоторый фонд фактов, часть из которых доступна простому наблюдению и эксперименту, а другие являются более эзотерическими и заимствуются из таких уже ранее существовавших областей практической деятельности, как медицина, составление календарей или металлургия. Поскольку эти практические области являются легко доступным источником фактов, которые не могут быть обнаружены поверхностным наблюдением, техника часто играла жизненно важную роль в возникновении новых наук.

<...> Такова обстановка, которая создает характерные для ранних стадий развития науки черты школ. Никакую естественную

историю нельзя интерпретировать, если отсутствует хотя бы в неявном виде переплетение теоретических и методологических предпосылок, принципов, которые допускают отбор, оценку и критику фактов. Если такая основа присутствует уже в явной форме в собрании фактов (в этом случае мы располагаем уже чем-то большим, нежели просто факты), она должна быть подкреплена извне, может быть, с помощью обыденной философии, или посредством другой науки, или посредством установок личного или общественно-исторического плана. Не удивительно поэтому, что на ранних стадиях развития любой науки различные исследователи, сталкиваясь с одними и теми же категориями явлений, далеко не всегда одни и те же специфические явления описывают и интерпретируют одинаково. Можно признать удивительным и даже в какой-то степени уникальным именно для науки как особой области, что такие первоначальные расхождения впоследствии исчезают.

Ибо они действительно исчезают, сначала в весьма значительной степени, а затем и окончательно. Более того, их исчезновение обычно вызвано триумфом одной из допарадигмальных школ, которая в силу ее собственных характерных убеждений и предубеждений делает упор только на некоторой особой стороне весьма обширной по объему и бедной по содержанию информации. <...> Принимаемая в качестве парадигмы теория должна казаться лучшей, чем конкурирующие с ней другие теории, но она вовсе не обязана (и фактически этого никогда не бывает) объяснять все факты, которые могут встретиться на ее пути.

<...> Когда в развитии естественной науки отдельный ученый или группа исследователей впервые создают синтетическую теорию, способную привлечь большинство представителей следующего поколения исследователей, прежние школы постепенно исчезают. Исчезновение этих школ частично обусловлено обращением их членов к новой парадигме. Но всегда остаются ученые, верные той или иной устаревшей точке зрения. Они просто выпадают из дальнейших совокупных действий представителей их профессии, которые с этого времени игнорируют все их усилия. Новая парадигма предполагает и новое, более четкое определение области исследования. И те, кто не расположен или не

может приспособить свою работу к новой парадигме, должны перейти в другую группу, в противном случае они обречены на изоляцию. Исторически они так и оставались зачастую в лабиринтах философии, которая в свое время дала жизнь стольким специальным наукам. <...> В науке <...> с первым принятием парадигмы связаны создание специальных журналов, организация научных обществ, требования о выделении специального курса в академическом образовании. По крайней мере так обстоит дело в течение последних полутора веков, с тех пор, как научная специализация впервые начала приобретать институциональную форму, и до настоящего времени, когда степень специализации стала вопросом престижа ученых.

Более четкое определение научной группы имеет и другие последствия. Когда отдельный ученый может принять парадигму без доказательства, ему не приходится в своей работе перестраивать всю область заново, начиная с исходных принципов, и оправдывать введение каждого нового понятия. Это можно предоставить авторам учебников. Однако при наличии учебника творчески мыслящий ученый может начать свое исследование там, где оно остановилось, и, таким образом, сосредоточиться исключительно на самых тонких и эзотерических явлениях природы, которые интересуют его группу. Поступая так, ученый участвует прежде всего в изменении методов, эволюция которых слишком мало изучена, но современные результаты их использования очевидны для всех и сковывают инициативу многих. Результаты его исследования не будут больше излагаться в книгах, адресованных, подобно «Экспериментам... по электричеству» Франклина или «Происхождению видов» Дарвина, всякому, кто заинтересуется предметом их исследования. Вместо этого они, как правило, выходят в свет в виде коротких статей, предназначенных только для коллег-профессионалов, только для тех, кто предположительно знает парадигму и оказывается в состоянии читать адресованные ему статьи. <...>

Природа нормальной науки

Какова же тогда природа более профессионального и эзотерического исследования, которое становится возможным после

принятия группой ученых единой парадигмы? Если парадигма представляет собой работу, которая сделана однажды и для всех, то спрашивается, какие проблемы она оставляет для последующего решения данной группе? Эти вопросы будут представляться тем более безотлагательными, если мы укажем, в каком отношении использованные нами до сих пор термины могут привести к недоразумению. В своем, установившемся употреблении понятие парадигмы означает принятую модель или образец; именно этот аспект значения слова «парадигма» за неимением лучшего позволяет мне использовать его здесь. Но, как вскоре будет выяснено, смысл слов «модель» и «образец», подразумевающих соответствие объекту, не полностью покрывает определение парадигмы. <...> парадигма редко является объектом копирования. Вместо этого, подобно принятому судом решению в рамках общего закона, она представляет собой объект для дальнейшей разработки и конкретизации в новых или более трудных условиях.

<...> Именно наведением порядка занято большинство ученых в ходе их научной деятельности. Вот это и составляет то, что я называю здесь нормальной наукой. При ближайшем рассмотрении этой деятельности (в историческом контексте или в современной лаборатории) создается впечатление, будто бы природу пытаются «втиснуть» в парадигму, как в заранее сколоченную и довольно тесную коробку. Цель нормальной науки ни в коей мере не требует предсказания новых видов явлений: явления, которые не вмещаются в эту коробку, часто, в сущности, вообще упускаются из виду. Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых теорий, обычно к тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий другими. Напротив, исследование в нормальной науке направлено на разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает.

Возможно, что это следует отнести к числу недостатков. Конечно, области, исследуемые нормальной наукой, невелики, и все предприятие нормального исследования, которое мы сейчас обсуждаем, весьма ограничено. Но эти ограничения, рождающиеся из уверенности в парадигме, оказываются существенными для

развития науки. Концентрируя внимание на небольшой области относительно эзотерических проблем, парадигма заставляет ученых исследовать некоторый фрагмент природы так детально и глубоко, как это было бы невысказимо при других обстоятельствах. И нормальная наука располагает собственным механизмом, позволяющим ослабить эти ограничения, которые дают о себе знать в процессе исследования всякий раз, когда парадигма, из которой они вытекают, перестает служить эффективно. С этого момента ученые начинают менять свою тактику. Изменяется и природа исследуемых ими проблем. Однако до этого момента, пока парадигма успешно функционирует, профессиональное сообщество будет решать проблемы, которые его члены едва ли могли вообразить и, во всяком случае, никогда не могли бы решить, если бы не имели парадигмы. И по крайней мере часть этих достижений всегда остается в силе. <...>

Нормальная наука как решение головоломок

Возможно, что самая удивительная особенность проблем нормальной науки, с которой мы только что столкнулись, состоит в том, что они в очень малой степени ориентированы на крупные открытия, будь то открытие новых фактов или создание новой теории. <...>

Но если цель нормальной науки не в том, чтобы внести какие-либо крупные, значительные новшества, если тщетная попытка достигнуть ожидаемых результатов или приблизиться к ним является обычно неудачей ученого, то почему все-таки нормальная наука рассматривает и решает свои проблемы? Частично мы уже ответили на этот вопрос. Для ученого результаты научного исследования значительны уже по крайней мере потому, что они расширяют область и повышают точность применения парадигмы. <...>

Мы уже видели, однако, что, овладевая парадигмой, научное сообщество получает по крайней мере критерий для выбора проблем, которые могут считаться в принципе разрешимыми, пока эта парадигма принимается без доказательства. В значительной степени это только те проблемы, которые сообщество признает научными или заслуживающими внимания членов данного со-

общества. Другие проблемы, включая многие считавшиеся ранее стандартными, отбрасываются как метафизические, как относящиеся к компетенции другой дисциплины или иногда только потому, что они слишком сомнительны, чтобы тратить на них время. Парадигма в этом случае может даже изолировать сообщество от тех социально важных проблем, которые нельзя свести к типу головоломок, поскольку их нельзя представить в терминах концептуального и инструментального аппарата, предполагаемого парадигмой. <...> Одна из причин, в силу которой нормальная наука кажется прогрессирующей такими быстрыми темпами, заключается в том, что ученые концентрируют внимание на проблемах, решению которых им может помешать только недостаток собственной изобретательности.

<...> Существование такой жестко определенной сети предписаний — концептуальных, инструментальных и методологических — представляет основание для метафоры, уподобляющей нормальную науку решению головоломок. Поскольку эта сеть дает правила, которые указывают исследователю в области зрелой науки, что представляют собой мир и наука, изучающая его, постольку он может спокойно сосредоточить свои усилия на эзотерических проблемах, определяемых для него этими правилами и существующим знанием. От отдельного ученого требуется затем лишь решение оставшихся нерешенными головоломок. <...> Нормальная наука — это в высокой степени детерминированная деятельность, но вовсе нет необходимости в том, чтобы она была полностью детерминирована определенными правилами. Вот почему в начале настоящего очерка я предпочел ввести в качестве источника согласованности в традициях нормального исследования принцип общепринятой парадигмы, а не общепринятых правил, допущений и точек зрения. Правила, как я полагаю, вытекают из парадигм, но парадигмы сами могут управлять исследованием даже в отсутствие правил.

Аномалия и возникновение научных открытий

Нормальная наука, деятельность по решению головоломок, которую мы только что рассмотрели, представляет собой в высшей степени кумулятивное предприятие, необычайно успешное

в достижении своей цели, то есть в постоянном расширении пределов научного знания и в его уточнении. Во всех этих аспектах она весьма точно соответствует наиболее распространенному представлению о научной работе. Однако один из стандартных видов продукции научного предприятия здесь упущен. Нормальная наука не ставит своей целью нахождение нового факта или теории, и успех в нормальном научном исследовании состоит вовсе не в этом. Тем не менее новые явления, о существовании которых никто не подозревал, вновь и вновь открываются научными исследованиями, а радикально новые теории опять и опять изобретаются учеными. История даже наводит на мысль, что научное предприятие создало исключительно мощную технику для того, чтобы преподносить сюрпризы подобного рода. Если эту характеристику науки нужно согласовать с тем, что уже было сказано, тогда исследование, использующее парадигму, должно быть особенно эффективным стимулом для изменения той же парадигмы. Именно это и делается новыми фундаментальными фактами и теориями. Они создаются непреднамеренно в ходе игры по одному из правил, но их восприятие требует разработки другого набора правил. После того как они стали элементами научного знания, наука, по крайней мере в тех частных областях, которым принадлежат эти новшества, никогда не остается той же самой.

<...> Аномалия появляется только на фоне парадигмы. Чем более точна и развита парадигма, тем более чувствительным индикатором она выступает для обнаружения аномалии, что тем самым приводит к изменению в парадигме. В нормальной модели открытия даже сопротивление изменению приносит пользу. <...> Гарантируя, что парадигма не будет отброшена слишком легко, сопротивление в то же время гарантирует, что внимание ученых не может быть легко отвлечено и что к изменению парадигмы приведут только аномалии, пронизывающие научное знание до самой сердцевины. Тот факт, что важные научные новшества так часто предлагались в одно и то же время несколькими лабораториями, указывает на в значительной мере традиционную природу нормальной науки и на полноту, с которой эта традиционность последовательно подготавливает путь к собственному изменению.

Кризис и возникновение научных теорий

<...> Философы науки неоднократно показывали, что на одном и том же наборе данных всегда можно возвести более чем один теоретический конструкт. История науки свидетельствует, что, особенно на ранних стадиях развития новой парадигмы, не очень трудно создавать такие альтернативы. Но подобное изобретение альтернатив — это как раз то средство, к которому ученые, исключая периоды допарадигмальной стадии их научного развития и весьма специальных случаев в течение их последующей эволюции, прибегают редко. До тех пор пока средства, представляемые парадигмой, позволяют успешно решать проблемы, порождаемые ею, наука продвигается наиболее успешно и проникает на самый глубокий уровень явлений, уверенно используя эти средства. Причина этого ясна. Как и в производстве, в науке смена инструментов — крайняя мера, к которой прибегают лишь в случае действительной необходимости. Значение кризисов заключается именно в том, что они говорят о своевременности смены инструментов.

Реакция на кризис

Допустим теперь, что кризисы являются необходимой предпосылкой возникновения новых теорий, и посмотрим затем, как ученые реагируют на их существование. Частичный ответ, столь же очевидный, сколь и важный, можно получить, рассмотрев сначала то, чего ученые никогда не делают, сталкиваясь даже с сильными и продолжительными аномалиями. <...> достигнув однажды статуса парадигмы, научная теория объявляется недействительной только в том случае, если альтернативный вариант пригоден к тому, чтобы занять ее место. <...> Решение отказаться от парадигмы всегда одновременно есть решение принять другую парадигму, а приговор, приводящий к такому решению, включает как сопоставление обеих парадигм с природой, так и сравнение парадигм друг с другом.

<...> Любой кризис начинается с сомнения в парадигме и последующего расшатывания правил нормального исследования. В этом отношении исследование во время кризиса имеет очень

много сходного с исследованием в допарадигмальный период, за исключением того, что в первом случае затруднительных проблем несколько меньше и они более точно определены. Все кризисы заканчиваются одним из трех возможных исходов. Иногда нормальная наука в конце концов доказывает свою способность разрешить проблему, порождающую кризис, несмотря на отчаяние тех, кто рассматривал ее как конец существующей парадигмы. В других случаях не исправляют положения даже явно радикально новые подходы. Тогда ученые могут прийти к заключению, что при сложившемся в их области исследования положении вещей решения проблемы не предвидится. Проблема снабжается соответствующим ярлыком и оставляется в стороне в наследство будущему поколению в надежде на ее решение с помощью более совершенных методов. Наконец, возможен случай, который будет нас особенно интересовать, когда кризис разрешается с возникновением нового претендента на место парадигмы и последующей борьбой за его принятие. <...>

Переход от парадигмы в кризисный период к новой парадигме, от которой может родиться новая традиция нормальной науки, представляет собой процесс далеко не кумулятивный и не такой, который мог бы быть осуществлен посредством более четкой разработки или расширения старой парадигмы. Этот процесс скорее напоминает реконструкцию области на новых основаниях, реконструкцию, которая изменяет некоторые наиболее элементарные теоретические обобщения в данной области, а также многие методы и приложения парадигмы. В течение переходного периода наблюдается большое, но никогда не полное совпадение проблем, которые могут быть решены и с помощью старой парадигмы, и с помощью новой. Однако тем не менее имеется разительное отличие в способах решения. К тому времени, когда переход заканчивается, ученый-профессионал уже изменит свою точку зрения на область исследования, ее методы и цели.

<...> В результате переход к новой парадигме является научной революцией <...>. Столкнувшись с аномалией или кризисом, ученые занимают различные позиции по отношению к существующим парадигмам, а соответственно этому изменяется и природа их исследования. Увеличение конкурирующих вариантов, готов-

ность опробовать что-либо еще, выражение явного недовольства, обращение за помощью к философии и обсуждение фундаментальных положений — все это симптомы перехода от нормального исследования к экстраординарному. <...>

Природа и необходимость научных революций

<...> Что такое научные революции и какова их функция в развитии науки? <...> научные революции рассматриваются здесь как такие некумулятивные эпизоды развития науки, во время которых старая парадигма замещается целиком или частично новой парадигмой, несовместимой со старой. Однако этим сказано не все, и существенный момент того, что еще следует сказать, содержится в следующем вопросе. Почему изменение парадигмы должно быть названо революцией? Если учитывать широкое, существенное различие между политическим и научным развитием, какой параллелизм может оправдать метафору, которая находит революцию и в том и в другом?

Один аспект аналогии должен быть уже очевиден. Политические революции начинаются с роста сознания (часто ограничиваемого некоторой частью политического сообщества), что существующие институты перестали адекватно реагировать на проблемы, поставленные средой, которую они же отчасти создали. Научные революции во многом точно так же начинаются с возрастания сознания, опять-таки часто ограниченного узким подразделением научного сообщества, что существующая парадигма перестала адекватно функционировать при исследовании того аспекта природы, к которому сама эта парадигма раньше проложила путь. И в политическом и в научном развитии осознание нарушения функции, которое может привести к кризису, составляет предпосылку революции. <...> Научные революции <...> должны рассматриваться как действительно революционные преобразования только по отношению к той отрасли, чью парадигму они затрагивают. <...>

Этот генетический аспект аналогии между политическим и научным развитием не подлежит никакому сомнению. Однако аналогия имеет второй, более глубокий аспект, от которого зависит значение первого. <...>

<...> Подобно выбору между конкурирующими политическими институтами, выбор между конкурирующими парадигмами оказывается выбором между несовместимыми моделями жизни сообщества. Вследствие того что выбор носит такой характер, он не детерминирован и не может быть детерминирован просто ценностными характеристиками процедур нормальной науки. Последние зависят частично от отдельно взятой парадигмы, а эта парадигма и является как раз объектом разногласий. Когда парадигмы, как это и должно быть, попадают в русло споров о выборе парадигмы, вопрос об их значении по необходимости попадает в замкнутый круг: каждая группа использует свою собственную парадигму для аргументации в защиту этой же парадигмы.

Этот логический круг сам по себе, конечно, еще не делает аргументы ошибочными или даже неэффективными. <...> природа циклического аргумента, как бы привлекателен он ни был, такова, что он обращается не к логике, а к убеждению. <...> Как в политических революциях, так и в выборе парадигмы нет инстанции более высокой, чем согласие соответствующего сообщества. <...>

<...> Примем, таким образом, теперь без доказательства, что различия между следующими друг за другом парадигмами необходимы и принципиальны. <...> Следующие друг за другом парадигмы по-разному характеризуют элементы универсума и поведение этих элементов. <...> Но парадигмы отличаются более чем содержанием, ибо они направлены не только на природу, но выражают также и особенности науки, которая создала их. Они являются источником методов, проблемных ситуаций и стандартов решения, принятых неким развитым научным сообществом в данное время. В результате восприятие новой парадигмы часто вынуждает к переопределению основ соответствующей науки. Некоторые старые проблемы могут быть переданы в ведение другой науки или объявлены совершенно «ненаучными». Другие проблемы, которые были прежде несущественными или тривиальными, могут с помощью новой парадигмы сами стать прототипами значительных научных достижений. И поскольку меняются проблемы, постольку обычно изменяется и стандарт, который отличает действительное научное решение от чисто метафизических спекуляций, игры слов или математических за-

бав. Традиция нормальной науки, которая возникает после научной революции, не только несовместима, но часто фактически и несоизмерима с традицией, существовавшей до нее.

<...> парадигмы дают ученым не только план деятельности, но также указывают и некоторые направления, существенные для реализации плана. Осваивая парадигму, ученый овладевает сразу теорией, методами и стандартами, которые обычно самым теснейшим образом переплетаются между собой. Поэтому, когда парадигма изменяется, обычно происходят значительные изменения в критериях, определяющих правильность как выбора проблем, так и предлагаемых решений.

Революции как изменение взгляда на мир

Рассматривая результаты прошлых исследований с позиций современной историографии, историк науки может поддаться искушению и сказать, что, когда парадигмы меняются, вместе с ними меняется сам мир. Увлекаемые новой парадигмой ученые получают новые средства исследования и изучают новые области. Но важнее всего то, что в период революций ученые видят новое и получают иные результаты даже в тех случаях, когда используют обычные инструменты в областях, которые они исследовали до этого. Это выглядит так, как если бы профессиональное сообщество было перенесено в один момент на другую планету, где многие объекты им незнакомы, да и знакомые объекты видны в ином свете. Конечно, в действительности все не так: нет никакого переселения в географическом смысле; вне стен лаборатории повседневная жизнь идет своим чередом. Тем не менее изменение в парадигме вынуждает ученых видеть мир их исследовательских проблем в ином свете. Поскольку они видят этот мир не иначе как через призму своих воззрений и дел, постольку у нас может возникнуть желание сказать, что после революции ученые имеют дело с иным миром.

<...> во время революции, когда начинает изменяться нормальная научная традиция, ученый должен научиться заново воспринимать окружающий мир — в некоторых хорошо известных ситуациях он должен научиться видеть новый гештальт. Только после этого мир его исследования будет казаться в отдельных слу-

чаях несовместимым с миром, в котором он «жил» до сих пор. Это составляет вторую причину, в силу которой школы, исповедующие различные парадигмы, всегда действуют как бы наперекор друг другу. <...>

Неразличимость революций

Мы должны рассмотреть еще вопрос о том, как заканчиваются научные революции. Однако прежде, чем перейти к этому, необходимо укрепить уверенность в их существовании и понимании их природы. <...> Я предполагаю, что есть в высшей степени веские основания, в силу которых революции оказываются почти невидимыми. И ученый и дилетант заимствуют множество своих представлений о творческой научной деятельности из авторитетного источника, который систематически маскирует (отчасти в силу важных функциональных оснований) существование и значение научных революций. <....>

Говоря об источнике авторитета, я имею в виду главным образом учебники по различным областям знания, а также популярные и философские работы, основывающиеся на них. <...> Цель учебников заключается в обучении словарю и синтаксису современного научного языка. Популярная литература стремится описать те же самые приложения посредством языка, более близкого к языку повседневной жизни. А философия науки, в особенности в мире, говорящем на английском языке, анализирует логическую структуру того же самого законченного знания. <...> Все три вида информации описывают установившиеся достижения прошлых революций и таким образом раскрывают основу современной традиции нормальной науки. Для выполнения своей функции они не нуждаются в достоверных сведениях о том способе, которым эти основания были впервые найдены и затем приняты учеными-профессионалами. Поэтому по крайней мере учебники отличаются особенностями, которые будут постоянно дезориентировать читателей.

<...> возрастание доверия к учебникам или к тем книгам, которые их заменяют, было постоянным фактором, сопутствующим появлению первой парадигмы в любой сфере науки. <...> преимущество зрелой науки, которое она получает благодаря таким

учебникам, значительно отличает модель ее развития от модели развития других областей культуры. Предположим как само собой разумеющееся, что знания о науке и любителя и специалиста основываются — как ни в одной другой области — на учебниках и некоторых других видах литературы, примыкающих к ним. Однако учебники, будучи педагогическим средством для увековечения нормальной науки, должны переписываться целиком или частично всякий раз, когда язык, структура проблем или стандарты нормальной науки изменяются после каждой научной революции. И как только эта процедура перекраивания учебников завершается, она неизбежно маскирует не только роль, но даже существование революций, благодаря которым они увидели свет. Если человек сам не испытал в своей жизни революционного изменения научного знания, то его историческое понимание, будь он ученым или непрофессиональным читателем учебной литературы, распространяется только на итог самой последней революции, разразившейся в данной научной дисциплине.

<...> та историческая традиция, которая извлекается из учебников и к которой таким образом приобщаются ученые, фактически никогда не существовала. По причинам, которые и очевидны, и в значительной степени определяются самим назначением учебников, последние (а также большое число старых работ по истории науки) отсылают только к той части работ ученых прошлого, которую можно легко воспринять как вклад в постановку и решение проблем, соответствующих принятой в данном учебнике парадигме. Частью вследствие отбора материала, а частью вследствие его искажения ученые прошлого безоговорочно изображаются как ученые, работавшие над тем же самым кругом постоянных проблем и с тем же самым набором канонов, за которыми последняя революция в научной теории и методе закрепила прерогативы научности. Не удивительно, что учебники и историческая традиция, которую они содержат, должны переписываться заново после каждой научной революции. И не удивительно, что как только они переписываются, наука в новом изложении каждый раз приобретает в значительной степени внешние признаки кумулятивности.

Конечно, ученые не составляют единственной группы, которая стремится рассматривать предшествующее развитие своей

дисциплины как линейно направленное к ее нынешним высотам. Искушение переписать историю ретроспективно всегда было повсеместным и непреодолимым. Но ученые более подвержены искушению переиначивать историю, частично потому, что результаты научного исследования не обнаруживают никакой очевидной зависимости от исторического контекста рассматриваемого вопроса, а частью потому, что, исключая период кризиса и революции, позиция ученого кажется незыблемой. <...>

В результате появляется настойчивая тенденция представить историю науки в линейном и кумулятивном виде — тенденция, которая оказывает влияние на взгляды ученых даже и в тех случаях, когда они оглядываются назад на свои собственные исследования. <...>

Учебники же, в которых дается перегруппировка видимого материала, рисуют развитие науки в виде такого процесса, который, если бы он существовал, сделал бы все революции бессмысленными. Поскольку они рассчитаны на быстрое ознакомление студента с тем, что современное научное сообщество считает знанием, учебники истолковывают различные эксперименты, понятия, законы и теории существующей нормальной науки как отдельные и следующие друг за другом настолько непрерывно, насколько возможно. С точки зрения педагогики подобная техника изложения безупречна. Но такое изложение в соединении с духом полной неисторичности, пронизывающим науку, и с систематически повторяющимися ошибками в истолковании исторических фактов, обсуждавшихся выше, неотвратимо приводит к формированию сильного впечатления, будто наука достигает своего нынешнего уровня благодаря ряду отдельных открытий и изобретений, которые — когда они собраны вместе — образуют систему современного конкретного знания. В самом начале становления науки, как представляют учебники, ученые стремятся к тем целям, которые воплощены в нынешних парадигмах. Один за другим в процессе, часто сравниваемом с возведением здания из кирпича, ученые присоединяют новые факты, понятия, законы или теории к массиву информации, содержащейся в современных учебниках.

Однако научное знание развивается не по этому пути. Многие головоломки современной нормальной науки не существо-

вали до тех пор, пока не произошла последняя научная революция. Очень немногие из них могут быть прослежены назад к историческим истокам науки, внутри которой они существуют в настоящее время. Более ранние поколения исследовали свои собственные проблемы своими собственными средствами и в соответствии со своими канонами решений. Но изменились не просто проблемы. Скорее можно сказать, что вся сеть фактов и теорий, которые парадигма учебника приводит в соответствие с природой, претерпевает замену. <...>

Разрешение революций

<...> Что представляет собой процесс, посредством которого новый претендент на статус парадигмы заменяет своего предшественника? Любое новое истолкование природы, будь то открытие или теория, возникает сначала в голове одного или нескольких индивидов. Это как раз те, которые первыми учатся видеть науку и мир по-другому, и их способность осуществить переход к новому видению облегчается двумя обстоятельствами, которые не разделяются большинством других членов профессиональной группы. Постоянно их внимание усиленно сосредоточивается на проблемах, вызывающих кризис; кроме того, обычно они являются учеными настолько молодыми или новичками в области, охваченной кризисом, что сложившаяся практика исследований связывает их с воззрениями на мир и правилами, которые определены старой парадигмой, менее сильно, чем большинство современников.

<...> В той мере, в какой исследователь занят нормальной наукой, он решает головоломки, а не занимается проверкой парадигм. <...> Скорее он похож на шахматиста, который, когда задача поставлена, а доска (фактически или мысленно) перед ним, пытается подобрать различные альтернативные ходы в поисках решения. Эти пробные попытки, предпринимаются ли они шахматистом или ученым, являются сами по себе испытаниями различных возможностей решения, но отнюдь не правилами игры. Они бывают возможны только до тех пор, пока сама парадигма принимается без доказательства. Поэтому проверка парадигмы, которая предпринимается лишь после настойчивых попыток ре-

шить заслуживающую внимания головоломку, означает, что налицо начало кризиса. И даже после этого проверка осуществляется только тогда, когда предчувствие кризиса порождает альтернативу, претендующую на замену парадигмы. В науках операция проверки никогда не заключается, как это бывает при решении головоломок, просто в сравнении отдельной парадигмы с природой. Вместо этого проверка является составной частью конкурентной борьбы между двумя соперничающими парадигмами за то, чтобы завоевать расположение научного сообщества.

<...> Странники конкурирующих парадигм всегда преследуют, по крайней мере отчасти, разные цели. Ни одна спорящая сторона не будет соглашаться со всеми неэмпирическими допущениями, которые другая сторона считает необходимыми для того, чтобы доказать свою правоту. <...> Хотя каждая может надеяться приобщить другую к своему способу видения науки и ее проблем, ни одна не может рассчитывать на доказательство своей правоты. Конкуренция между парадигмами не является видом борьбы, которая может быть разрешена с помощью доводов.

<...> Поскольку новые парадигмы рождаются из старых, они обычно вбирают в себя большую часть словаря и приемов, как концептуальных, так и экспериментальных, которыми традиционная парадигма ранее пользовалась. Но они редко используют эти заимствованные элементы полностью традиционным способом. В рамках новой парадигмы старые термины, понятия и эксперименты оказываются в новых отношениях друг с другом. Неизбежным результатом является то, что мы должны назвать (хотя термин не вполне правилен) недопониманием между двумя конкурирующими школами. <...>

В некотором смысле <...> защитники конкурирующих парадигм осуществляют свои исследования в разных мирах. <...> Работая в различных мирах, две группы ученых видят вещи по-разному, хотя и наблюдают за ними с одной позиции и смотрят в одном и том же направлении. В то же время нельзя сказать, что они могут видеть то, что им хочется. Обе группы смотрят на мир, и то, на что они смотрят, не изменяется. Но в некоторых областях они видят различные вещи, и видят их в различных отношениях друг к другу. Вот почему закон, который одной группой уче-

ных даже не может быть обнаружен, оказывается иногда интуитивно ясным для другой. По этой же причине, прежде чем они смогут надеяться на полную коммуникацию между собой, та или другая группа должна испытать метаморфозу, которую мы выше называли сменой парадигмы. Именно потому, что это есть переход между несовместимыми структурами, переход между конкурирующими парадигмами не может быть осуществлен постепенно, шаг за шагом посредством логики и нейтрального опыта. Подобно переключению гештальта, он должен произойти сразу (хотя не обязательно в один прием) или не произойти вообще.

<...> Хотя требуется иногда время жизни целого поколения, чтобы осуществить какое-либо изменение, снова и снова повторяются факты обращения научных сообществ к новым парадигмам. Кроме того, эти обращения к новым парадигмам и отказ от старых происходят не вопреки тому, что ученым свойственно все человеческое, а именно по этой причине. Хотя некоторые ученые, особенно немолодые и более опытные, могут сопротивляться сколь угодно долго, большинство ученых так или иначе переходит к новой парадигме. Обращения в новую веру будут продолжаться до тех пор, пока не останется в живых ни одного защитника старой парадигмы и пока вся профессиональная группа не будет руководствоваться единой, но теперь уже иной парадигмой. <...>

Прогресс, который несут революции

<...> В течение всего допарадигмального периода, когда имеется разнообразие конкурирующих школ, наличие прогресса (исключая прогресс внутри самих школ) очень трудно обнаружить. Этот этап <...> представляет собой период, в течение которого отдельные исследователи работают как ученые, но результаты их деятельности ничего не добавляют к научному знанию, как мы его себе представляем. Более того, в течение периодов революции, когда фундаментальные принципы области исследования еще раз становятся предметом обсуждения, неоднократно высказываются сомнения относительно какой-либо возможности непрерывного прогресса, если только будет признана та или иная из противоборствующих парадигм. <...> только в течение перио-

дов нормальной науки прогресс представляется очевидной и гарантированной тенденцией. Однако в течение этих периодов научное сообщество и не может рассматривать плоды своей работы под каким-либо иным углом зрения.

<...> Процесс развития, описанный в данном очерке, представляет собой процесс эволюции от примитивных начал, процесс, последовательные стадии которого характеризуются всевозрастающей детализацией и более совершенным пониманием природы. Но ничто из того, что было или будет сказано, не делает этот процесс эволюции направленным к чему-либо. Несомненно, этот пробел обеспокоит многих читателей. Мы слишком привыкли рассматривать науку как предприятие, которое постоянно приближается все ближе и ближе к некоторой цели, заранее установленной природой.

Но необходима ли подобная цель? Можем ли мы не объяснять существование науки, ее успех исходя из эволюции от какого-либо данного момента в состоянии знаний сообщества? Действительно ли мы должны считать, что существует некоторое полное, объективное, истинное представление о природе и что надлежащей мерой научного достижения является степень, с какой оно приближает нас к этой цели? Если мы научимся замечать «эволюцию к тому, что мы надеемся узнать», «эволюцией от того, что мы знаем», тогда множество раздражающих нас проблем могут исчезнуть. <...>

Р.М. Фрумкина

ЕСТЬ ЛИ У СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ СВОЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ?

(Язык и наука конца XX века. М., 1995)

1. Вводные замечания

<...> новая лингвистика рождалась в спорах о способах конструирования предмета лингвистики и метаязыке лингвистического описания. Поколение, начавшее работать в лингвистике в 50-е годы, принимало в этих спорах активное участие. С тех пор

минуло 40 лет. Мы можем констатировать, что за это время в лингвистике произошла практически полная смена парадигмы. Изменились способы конструирования предмета лингвистического исследования. Кардинально изменился сам подход к выбору общих принципов и методов исследования, не говоря уже о частных моделях. Появилось несколько конкурирующих метаязыков лингвистического описания. При этом мнения ученых относительно сравнительной эффективности этих метаязыков резко разошлись.

<...> именно смена парадигмы делает особо актуальной разработку общих и частных проблем эпистемологии лингвистики.

Мне представляется, что в современной лингвистике собственная эпистемология пребывает в зачаточном состоянии, а внутринаучная рефлексия развита недостаточно. Это не кажется мне случайным. <...>

В силу специфики своего объекта современная лингвистика — в отличие, например, от лингвистики конца прошлого века, имеет много *предметов*. Так, предмет типологических штудий и предмет, которым занят исследователь проблем представления знаний на естественном языке, имеют между собой мало общего. Объект, который конструирует для себя исследователь лингвистики текста, практически не пересекается с тем, который сконструирован морфологом.

Неудивительно, что современная лингвистика в целом не может быть зачислена ни «по ведомству» естественных, ни по ведомству гуманитарных наук. Относя ее к «наукам о человеке», мы по умолчанию предполагаем, что имеется в виду другое содержание, чем если бы, например, говорили о медицине или антропологии.

В то же время нас всех объединяет понимание лингвистики как науки о знаковых системах, т.е. части общей семиотики.

Но ни из одного из этих утверждений мы почему-то не делаем заключений методологического характера. <...>

2. Частная эпистемология как «осознанная необходимость»

Итак, мне представляется, что «новая» лингвистика пока не имеет собственной эпистемологии. Впрочем, с другими гумани-

тарными науками дело обстоит не лучше: эпистемология гуманитарных дисциплин вообще очень мало развита. <...>

В отличие от общей эпистемологии частная эпистемология не занимается общефилософскими вопросами о природе познания, о верифицируемости или фальсифицируемости теории, о том, какое место в познании занимают априорные категории и какое — чувственный опыт.

Ее задачи более скромны. А именно, для некоторой конкретной науки частная эпистемология решает вопросы следующего типа:

1. Как выделить (сконструировать) объекты, которыми данная наука оперирует;
2. Какие методы познания выделенных объектов считаются допустимыми, а какие — нет;
3. Какие методы проверки правильности результатов и, соответственно, убеждения читателя в своей правоте ученый вправе использовать, а какие относятся к запрещенным приемам;
4. Как систематизировать основные понятия данной науки, чтобы обеспечить возможность взаимопонимания в пределах данной научной парадигмы;
5. Какие задачи в пределах данной науки следует считать действительно задачами, подлежащими решению;
6. Как транслировать результаты в научный социум.

Разумеется, этот перечень лишь обрисовывает круг проблем; для большей ясности приведем конкретные примеры по каждому пункту. <...>

(1) В непосредственном опыте нам дан лишь нерасчлененный речевой поток. Как выделить звук речи? Как выделить слово? <...>

(2) Для психолингвистики: правильно проведенный эксперимент — естественный способ познания объекта.

(3) В лингвистике: правильность утверждений проверяется путем поиска достаточно веских противоречащих примеров. В психолингвистике: если эксперимент может быть воспроизведен с теми же результатами, то сделанные выводы, скорее всего, правильны.

В лингвистике и в исторической науке: ссылка на сакральные тексты не может рассматриваться как довод в пользу истинности какого-либо научного утверждения.

(4) В лингвистике: различия между Московской и Ленинградской фонологическими школами были следствием разных представлений об уровневой структуре языка. Иными словами, расхождения основывались на недостаточно эксплицитной систематизации представлений об отношениях между фонемным и морфемным уровнями. <...>

(5) <...> современная лингвистика не считает проблему происхождения языка научной проблемой. <...>

(6) Научные результаты подлежат трансляции в социум по определенным правилам. Для точных наук — это доказательство, для экспериментальных — эксперимент и правдоподобные рассуждения, для гуманитарии — также правдоподобные рассуждения, хотя следующие несколько иным правилам. <...> Результаты должно излагать так, чтобы их можно было проверить. <...>

Неразработанность частной эпистемологии в лингвистике до поры до времени не ощущалась как некий минус, как помеха. Это не кажется мне случайным. Чтобы почувствовать потребность в постановке и решении эпистемологических проблем, надо усомниться в очевидностях. Чтобы очевидности перестали быть таковыми, надо систематически размышлять о предмете своей науки, т.е. заниматься методологической рефлексией. <...>

Одна из причин отказа от внутринаучной рефлексии является, видимо, общей для парадигматически оформленных наук. Я имею в виду характерную для нормализованной науки *закрывать список разрешенных к постановке проблем*. Соответственно и все известные методы становятся непререкаемыми, откуда возникает их ригидность.

В общем, это и значит, что парадигма оформилась. Жизнь в науке тем не менее продолжается, а значит, готовая парадигма так или иначе в какой-то момент начнет расшатываться. <...>

3. Эпистемологическая проблематика и отношения между лингвистикой, психологией и философией

<...> Одно из типичных проявлений расшатывания парадигмы — это выход науки за пределы уже освоенных территорий. Обнаруживается как бы «новая реальность». Для ее описания

нужен, чаще всего, новый инструментарий. Таким инструментарием становится прежде всего новый язык описания.

<...> появляется новый метаязык описания, позволяющий включить в рассмотрение новые объекты и фиксировать получаемые при этом результаты. Далее, весьма постепенно, появляются новые методы.

5. Вера и метод, или еще раз о правилах игры в бисер

<...> вне зависимости от источника нашего знания, работая в современной науке, мы обязаны *зафиксировать, оформить* наши знания согласно определенным образцам, а не произвольным способом. <...> в научном изложении (если только мы не занимаемся такой специфической наукой, как теология) мы теряем право ссылаться на догматы и сакральные тексты с целью подтверждения истинности нашего знания.

Замечание. Для науки, в течение длительного времени подвергавшейся прессу тоталитарной идеологии, данный тезис особенно значим. Пусть отпала обязательность формальных ссылок на тексты идеологов марксизма. Осталась значительно более опасная общая тенденция к авторитаризму и догматичности мышления. По понятным причинам подобная тенденция особенно опасна именно для наук гуманитарного цикла — наук, где нет строгих методов доказательства и эксперимента.

В лингвистических сочинениях фраза «как сказал *N* (утверждал, упомянул, полагал, заметил)» нередко приравнивается к «как показал *N*». Если *N*, т.е. субъект высказывания, на данный период является своего рода «культовой фигурой», то принадлежащие ему высказывания меняют модус и приравниваются к сакральным текстам. Однако цитата не может претендовать на аргумент в споре. Она лишь найденный кем-то до меня способ формулировки, — возможно, заведомо более удачный, чем тот, на который сам я способен. Но от этого цитата не превращается в аргумент.

Я решительно не вижу большой разницы в том, чьи тезисы в принципе отныне не принято подвергать сомнению — Бахтина или Фуко, Пиаже или Выготского. <...>

Е.С. Кубрякова

**ЭВОЛЮЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
(ОПЫТ ПАРАДИГМАЛЬНОГО АНАЛИЗА)**

(Язык и наука конца XX века. М., 1995)

І. Задачи настоящей работы

<...> Для того, чтобы <...> аргументировать мнение о том, что современную ситуацию в лингвистике отличает не только разнообразие взглядов и не только действительное множество представленных здесь концепций, гипотез и теорий, но и некое внутреннее единство, мы обращаемся к понятию научной парадигмы знания, введенному уже более трех десятилетий тому назад Т. Куном и получившему с тех пор самые разные интерпретации. <...>

Характеризуя облик современной лингвистики — теоретической лингвистики в конце XX века, — предстоит ответить на вопросы исключительной сложности. В их число входят и вопросы о том, в каком направлении развивается лингвистика и какие она ставит перед собой задачи, и вопросы о том, как вписывается она сама в науку на исходе XX века, и наконец, о том, какие наиболее яркие тенденции присущи ей сегодня и какие научные школы ее представляют. Одной из самых сложных проблем, возникающих в связи с поставленной задачей, оказывается также проблема внутреннего единства или же, напротив, раздробленности лингвистики, т.е. вопрос о том, можно или нельзя усматривать за явным разнообразием существующих ныне школ и течений, за множеством разных концепций о языке, нечто принципиально единое, и в каких терминах может быть описано это положение дел.

В работах историографического плана оценка современного состояния лингвистики выступает в достаточно противоречивом виде. Признавая существование разных теорий языка и разных направлений, развивающих эти теории, историографы делают из этого противоположные выводы. В то время как одни ученые пессимистически оценивают сложившееся состояние дел и, подчеркивая раздробленность современной лингвистики, полагают,

что она вступила в фазу стагнации <...>, другие ученые оценивают наличие альтернативных взглядов на язык как явление положительное, а постоянную смену мнений — как ее постоянный признак. <...> Естественно, что если бы речь шла исключительно о разногласиях в оценочном плане, т.е. о том, хорошо или плохо существование различных подходов к описанию языка, можно было бы просто присоединиться к той или иной точке зрения и привести дополнительные аргументы в защиту одной из них. Но ведь главное заключается, по всей видимости, отнюдь не в этом. Гораздо важнее определить адекватность, эффективность и полезность самых представленных теорий, факт их конгруэнтности друг другу, взаимодополнительности или же, напротив, несовместимости, взаимоисключительности. <...> Вопросом первостепенной важности становится тогда вопрос о том, так ли уж велики на самом деле исходные допущения отдельных теорий и не наблюдается ли в действительности некое глубинное сходство в понимании языка и закономерностей его организации. <...>

<...> нам кажется необходимым вернуться еще раз к самому понятию парадигмы научного знания и четко сформулировать, что имеется в виду при употреблении этого термина в лингвистике. <...>

II. О понятии парадигмы научного знания

<...> Введенное в начале 60-х гг. Т. Куном понятие парадигмы было связано с его стремлением подчеркнуть важность коренной ломки бытующих в науке и устаревающих представлений, продемонстрировать условия и причины подобных изменений, происходящих в виде научной революции и связанных в конечном счете с резким непризнанием прежнего набора знаний и решений — прежней научной парадигмы. Изучая структуру научных революций, Т. Кун как бы отказался от идеи простого одномоментного скачка в системе взглядов и подошел к анализу сложных факторов, приводящих к научной революции, как сменяющейся плавное и постепенное накопление данных, а главное, преобразующей исходные допущения науки. <...>

В фокусе внимания Т. Куна находились закономерности развития естественных наук <...>. Однако очень многими учеными

монография Куна была воспринята как общеметодологическая <...>.

<...> понятие парадигмы чисто интуитивно представляется вполне разумным и что его можно использовать для демонстрации развития научных идей в лингвистике, хотя, несомненно, и в модифицированном виде и что, наконец, полностью отвергать его кажется нецелесообразным.

<...> в лингвистике всегда наряду с доминирующим, господствующим направлением существовали и другие, более или менее противопоставленные друг другу школы. Такое положение дел не означает <...>, что лингвистика не достигла статуса зрелой науки, и, что, следовательно, понятие парадигмы не может отразить своеобразие эволюции лингвистических идей и более приемлем здесь термин «течение». В принципе, однако, признание одновременного существования нескольких течений и школ не означает, что они не могут иметь общих точек соприкосновения и, таким образом, по Куну, развиваться в пределах одной и той же парадигмы <...>.

В итоге понятие парадигмы знания представляется нам удобным способом выделить некие концептуальные единые моменты за внешним разнообразием подходов, средством обнаружить сходство «на глубине», прочертить основные линии развития науки в рассматриваемый период и выделить главные тенденции в ее поступательном движении. Это понятие диктует необходимость определить ключевые концепты определенных эпох и отличить эволюционные периоды от революционных, охарактеризовать природу новаторских идей. Ведь одно только кумулятивное понимание роста науки никак не может объяснить появления «фундаментальных гипотез, вступающих в противоречие со сложившимися в науке понятиями, представлениями и даже целыми системами знания и приводящих к научным революциям». Понятие парадигмы обязует также рассмотреть более конкретно причины наступающей ревизии концепций. <...>

Методологически мы считаем существенным также, что возникновение новой парадигмы знания связано с формированием иного, «третьего мира», т.е. мира объективного знания, данного каждому члену научного сообщества. Ведь принятие постулатов

определенной парадигмы и следование ее предписаниям означает для отдельно взятого ученого возможность согласиться с целым рядом теоретических допущений об объекте и его свойствах без особых доказательств, т.е. принимая их на веру. <...> Используя мысли Г.Г. Гадамера, мы считаем необходимым выделить в понятии парадигмы звено «предпосылочного знания», систему ее исходных допущений. В связи с этим кажется важным подчеркнуть и другое — именно лингвисту, использование термина «парадигма» для которого вполне естественно, понятно и стремление в ситуации его широкого использования придать этому термину более определенный и конкретный характер. В частности, концептуальное основание у этого термина сводится не столько к понятию образца, сколько к понятию особого объединения единиц, существующего за счет наличия у каждой парадигмы определенного числа позиций (слотов) и семантической этикетки каждой позиции. Выполняя это требование, мы и предлагаем вполне в духе куновских идей охарактеризовать понятие парадигмы не только в довольно расплывчатом общем виде, но и представить более конкретно ее составляющие — ее главные «позиции», образующие ее компоненты.

Рассмотрев существующие определения парадигмы <...>, Д.И. Руденко пишет: «Парадигма, определяемая в расширительном смысле, трактуется... как доминирующий исследовательский подход к языку, познавательная перспектива, методологическая ориентация, широкое научное течение (модель), даже научный “климат мнения”». Но чтобы быть всем этим, парадигма должна удовлетворять более строгим требованиям: эти требования относятся прежде всего к ее собственной архитектонике. Чтобы отвечать представлению об упорядоченном объединении составляющих, понятие парадигмы должно, на наш взгляд, включать три следующих звена:

- установочно-предпосылочное,
- предметно-познавательное,
- процедурное, или «техническое».

Напомним, что и Т. Кун, считая возможным замену понятия парадигмы на понятие дисциплинарной матрицы, имплицировал этим самым наличие у них определенных «клеток», или же

компонентов, частей. Охарактеризуем теперь эти составляющие более подробно.

В определении установок лингвистического исследования могут наблюдаться расхождения в: а) признании (+/–) связи лингвистики с другими науками (т.е. другими словами, ее рассмотрения в качестве автономной / неавтономной) науки; б) в случае признания определенной связи — выборе той «высокой» науки, под эгидой которой она должна изучаться <...>; в) ограничении (+/–) сферы интересов лингвистики внешней или внутренней лингвистикой, а следовательно, установки на такое изучение языковых единиц, при котором приветствуется или же запрещается выход в контекстные условия употребления единиц или же вовлечение в лингвистический анализ интенций говорящего / слушающего.

С определением установок лингвистического исследования тесно связано и понимание уже имеющихся сведений о языке, т.е. осознанное следование определенным предпосылкам анализа, которые нередко выступают в виде системы предпосылочного знания или же системы исходных допущений. <...> Каждый ученый живет и работает в определенной общественной и культурной среде, он зависит от законов своего времени и, что не менее важно, от параметра «пространства» <...>. В сочетании с установками предпосылочные части парадигмы дают отчетливое представление о целях и задачах теоретической лингвистики для данного научного сообщества, и уже на этом основании можно судить об общей ориентации парадигмы на описание языка или объяснение, на статистические или же динамические свойства изучаемых объектов и т.д. В силу сказанного ясно, что установочно-предпосылочная часть научной парадигмы органично связана с таким следующим звеном парадигмы, как ее предметно-познавательная часть.

Это звено парадигмы определяется более конкретно тем, что считается непосредственной областью лингвистического анализа, — единицы или правила, функции или отношения зависимости, особые категории или параметры языковых систем и т.п. В эту часть парадигмы мы также включаем сведения о круге вовлекаемых в анализ языков, а также о преимущественно синх-

ронном или диахроническом подходе к языковым явлениям, а возможно, и сведения о принимаемом направлении анализа — от формы к содержанию или же, напротив, от заданного содержания — к выражающим его формам. <...>

«Техническое», или же процедурное, оперативное звено парадигмы можно было бы назвать также областью выбираемых методик и конкретных процедур анализа; в нее мы включаем используемые в данной парадигме знания и приемы и способы постижения данных, излюбленные модели, отношение к формализации этих данных, формы их записи и т.д.; о важности этого звена парадигмы можно судить уже по тому, что многие школы получали свое название по развивавшимся здесь приемам анализа — ср. школы дистрибутивного анализа, анализа по непосредственным составляющим, трансформационное направление.

<...> Важной чертой в концепции научной парадигмы является, несомненно, и то, что с этим подходом связывается возможность констатировать в науке не только «большие» и «малые» научные революции, но, по-видимому, «большие» и «малые» научные парадигмы.

Заключая настоящий раздел, мы бы хотели в этой связи завершить его некоторыми соображениями о том, как можно классифицировать научные парадигмы знания. Из того, что мы утверждали о трехчастной структуризации парадигмы, ясно следует, что и принципы классификации могут зависеть прежде всего от того, какую из рассматриваемых частей — целеполагающую, предметную или процедурную — следует считать наиболее существенной для характеристики всей парадигмы в целом. Очевидно и то, что опыт предыдущих классификаций научных парадигм <...> указывает на ориентацию на какой-либо один из аспектов ее бытия: например, на лидера или создателя соответствующего направления или же на ключевое для этого направление понятие. <...>

В историографических работах мы считаем самым целесообразным признавать доминирующую роль первой, установочной части парадигмы, что в значительной мере совпадает и с тем, на познание каких свойств языка направлена данная парадигма, и с

тем, какие объяснения этим свойствам считаются наиболее убедительными (генетические, функциональные, когнитивные и т.п.). Историю языкознания двух последних веков можно тогда условно представить как смену сравнительно-исторической парадигмы знания структуральной и далее — генеративной. Параллельно этим «большим» парадигмам внутри них можно было бы выделять и «малые» <...>.

IV. Заключение: отличительные парадигмальные черты современной лингвистики

<...> Выше мы уже высказали предположение о том, что при всем внешнем разнообразии представлений о языке современной лингвистике все же свойственно следование определенной системе общих установок. Таких принципиальных установок мы выделяем четыре, это:

- экспансионизм,
- антропоцентризм,
- функционализм, или, скорее, неофункционализм, <...>
- экспланаторность.

Теперь наша задача заключается в том, чтобы охарактеризовать смысл и конкретное содержание каждой из этих отличительных черт.

В представление о каждой научной дисциплине входит прежде всего определение области и предмета ее исследования, однако границы дисциплины не всегда очерчиваются этим указанием достаточно конкретно. Неслучайно Ф. де Соссюр, перечисляя главные задачи лингвистики как особой науки, подчеркивал необходимость установить ее границы, и для всех соссюрианских направлений было показательно связать эти границы с исследованием языка «в самом себе и для себя». Сегодня положение дел кардинально изменилось, и лингвистику, напротив, никак нельзя считать дисциплиной с четко установленными границами, — она выявляет явную тенденцию к расширению своих пределов. Эту тенденцию именуют экспансионизмом.

Понятие **э к с п а н с и о н и з м а** как определенного периода в становлении научной дисциплины — в противовес редукционизму — было впервые выдвинуто на XIV Международном линг-

вистическом конгрессе в Берлине в 1987 г. применительно к лингвистике текста. <...> Редукционистскими <...> назвали такие периоды в развитии дисциплины, когда господствует стремление ограничить пределы анализа объекта, экспансионистскими, наоборот, такие, когда ракурсы исследования определенного объекта считаются либо не вполне ясными, либо — в силу сложности объекта — постоянно меняющимися и распространяющимися. Тенденции развития науки связаны в этом последнем случае с поисками новых подходов к изучаемому объекту, причем отнюдь не возбраняется путь проб и ошибок. В такие периоды происходит экспансия науки, достигаемая нередко ценой размывания ее границ. <...>

Очевидно, что понятие экспансионизма может быть отнесено сегодня не только к лингвистике текста, но и многим другим лингвистическим субдисциплинам, а также — к самой теоретической лингвистике. Проявления экспансионизма мы усматриваем и в возникновении новых «сдвоенных» наук (ср. психолингвистику и социолингвистику, социо- и психосемантику, семантику синтаксиса и пр.), и в упрочении традиционных связей лингвистики с философией и логикой (благодаря чему на их границах вычлняются новые школы — ср., например, школу логического анализа языка или лингвистические исследования философов-аналитиков), и в возникновении новых дисциплин (ср. инженерную и компьютерную лингвистику), и в формировании новых областей знания внутри самой лингвистики (ср. лингвистику текста, трансфрастику, теорию речевых актов и т.п.). Нельзя, наконец, не отметить расширение объектов исследования и внутри уже сложившихся «уровневых» лингвистических дисциплин. Все это вместе, действительно, напоминает некую «расширяющуюся вселенную», исследование каждого звена которой усложняется и претерпевает значительные изменения именно в сторону их расширения. <...>

Экспансионизм лингвистики обнаруживается, на наш взгляд, в почти повсеместном признании того факта, что для адекватного познания языка необходимы выходы не только в разные области гуманитарного знания, но и в разные сферы естественных наук. <...>

Экспансионизм тесно связан, наконец, с такой мощной тенденцией в современном статусе большой науки, как укрупнение ее отдельных наук. Одно из ее проявлений — интеграционные процессы, которые ведут к выделению междисциплинарных программ исследования (здесь прекрасным примером может служить создание когнитивной науки, служащей объединению целого ряда дисциплин, занимающихся исследованием феномена информации и ее обработки). <...>

Трудно было бы утверждать, что экспансионизм связан с каким-либо одним из представленных сегодня течений: он знаменует естественный ход событий и типичен, по всей видимости, для современного состояния науки в целом. <...> сама тенденция экспансионизма характеризует и сегодня бытие большинства лингвистических направлений. <...>

Экспансионизм в таком его понимании теснейшим образом связан и с другими отличительными чертами современной лингвистики — антропоцентризмом, функционализмом и эксплаторностью, поскольку обращение к другим наукам и данным из других наук определяется в первую очередь стремлением найти языковым феноменам то или иное объяснение. Такие объяснения устройству языка пытаются найти в первую очередь в существенных характеристиках его носителя — человека.

Господство принципов антропоцентризма роднит лингвистику со многими другими областями знания, ибо интерес к человеку, как центру вселенной, и человеческим потребностям, как определяющим разные типы человеческой деятельности, знаменует переориентацию, наблюдаемую во многих фундаментальных науках: в физике это признание позиции наблюдателя, в литературоведении — обращение к образам автора и читателя в их разных ипостасях, в мегаэкологии — внимание ко всем проблемам окружающей среды и к достижению известной гармонии во взаимодействии человека с природой и т.д. Антропоцентризм как особый принцип исследования заключается в том, что научные объекты изучаются прежде всего по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям в развитии человеческой личности и ее усовершенствования. Он обнаруживается в том, что человек становится

ся точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, что он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективу и конечные цели. Он знаменует, иными словами, тенденцию поставить человека во главу угла во всех теоретических предпосылках научного исследования и обуславливает его специфический ракурс.

<...> В лингвистике антропоцентрический принцип связан с попыткой рассмотреть языковые явления в диаде «язык и человек», но из-за возможных различий в подходе он фактически принимает в разных школах современности нетождественные формы. <...>

В многотомном издании Лаборатории теоретического языкознания Института языкознания РАН были не только намечены главные линии изучения человеческого фактора в языке, но и сформулированы две глобальные проблемы такого исследования. Одна из них формулировалась как круг вопросов о том, какое воздействие оказывает сложившийся естественный язык на поведение и мышление человека и что дает в этом отношении существование у человека определенной картины мира. Другая же формулировалась как круг вопросов о том, как человек воздействует на используемый им язык, какова мера его возможного влияния на него, какие участки языковых систем открыты для его лингвокреативной деятельности и вообще зависят от «человеческого фактора» (дейксис, модальность, экспрессивные аспекты языка, словообразование и т.п.). Заслуживает быть специально отмеченной и постановка вопроса о сути языковой личности и природе его творческой деятельности в языке в известных работах Б.А. Серебrenникова и особенно Ю.Н. Караулова.

<...> ф у н к ц и о н а л и з м. Этой черте, с одной стороны, более сложно дать общее определение, но, с другой, она кажется достаточно ясной на интуитивном уровне <...> у функционализма более глубокие корни. Их можно связать с деятельностью Пражского лингвистического кружка и с целым рядом грамматических концепций отечественных языковедов. Эта линия развития, несомненно, демонстрирует наибольшую преемственность <...>.

<...> широкое понимание функционализма позволяет трактовать его как такой подход в науке, когда центральной ее проблемой становится исследование функций изучаемого объекта,

вопрос о его назначении, особенностях его природы в свете выполняемых им задач, его приспособленность к их выполнению и т.д. Общим постулатом функциональной лингвистики является положение о том, что язык представляет собой инструмент, орудие, средство, наконец, механизм для осуществления определенных целей и реализации человеком определенных намерений — как в сфере познания действительности и ее описания, так и в актах общения, социальной интеракции, взаимодействия с помощью языка. Разные школы функционализма возникают в силу того, что среди разнообразных и многообразных функций языка одна или несколько объявляются самыми главными; обычно это либо коммуникативная, либо когнитивная функция языка, но нередко — и та и другая, к которой добавляют также экспрессивно-эмоциональную, поэтическую.

Думается, что функциональный подход ведет в конечном счете к признанию главенствующей роли для всей лингвистики категории значения. Распространение семантически и прагматически ориентированных исследований можно поэтому связать напрямую с утверждением функционализма как центрального принципа в исследовании языка.

<...> С. Дик связывает функциональный подход с новыми представлениями о природе человеческого языка и противопоставляет его формальной парадигме знания, упрекая последнюю за отказ изучать прагматические и дискурсивно-мотивированные факторы в использовании языка; он подчеркивает, что современную лингвистику характеризует отказ от чисто формального подхода к языку.

<...> Функционализм, — как и антропоцентризм, — оказываются <...> двумя такими важнейшими допущениями о природе и организации языка, которые помогают понять, с какими функциональными, биологическими, психологическими и социальными ограничениями должна столкнуться коммуникативная система как в своем происхождении, так и в своем реальном использовании. Понятно поэтому, как органично связаны функциональный и антропологический принципы с такой характеристикой современной науки, как **э к с п л а н а т о р н о с т ь**.

Называя эту черту, возможно, и не очень удачным термином (но «объяснительность» не кажется нам более подходящим тер-

мином), мы лишь хотим выделить в качестве тенденции современной лингвистики стремление найти и внутренней организации языка, и его отдельным модулям, и архитектонике текстов, и реальному осуществлению дискурса, и порождению и пониманию речи и т.п. то или иное объяснение.

<...> Разумеется, само понятие экспликации, объяснения в науке имеет в ней давнюю традицию, да и без истолкования причинно-следственных отношений в науке делать нечего. Однако, развивалось это понятие на материале естественных наук, а в лингвистике установка на объяснение, а не только на описание, да и постепенное преодоление противопоставления описания и объяснения, заставляет увидеть в этих фактах становление новой исследовательской программы и преобразования ее конечных целей. Лингвистика была и будет наукой эмпирической, она не может существовать без исходной базы данных, но суть соотношения эмпиризма и рационализма в прогрессе науки заключается в известном компромиссе между ними. Для лингвистики 60—70-гг. этот вопрос оборачивался не сокращением удельного веса описаний по сравнению с теоретизированием, а прежде всего выдвижением дедуктивных методов анализа языка в противовес индуктивным. Стремление ввести объяснительный момент в анализ языка заставляло строить гипотезы о его устройстве, о его глубинных, т.е. непосредственно не наблюдаемых структурах, выдвигать некие предположения, чтобы их можно было проверить и верифицировать, некие догадки о строении языка. <...>

Представляется, что постановка вопросов об объяснении в лингвистике имеет два разных аспекта: один, более очевидный, связан с серией вопросов о том, что именно (какие утверждения) могут считаться объяснением для того или иного языкового явления и какие типы объяснений здесь должны преобладать (структурные, генетические, функциональные и т.п.). Другой аспект касается гораздо более сложной и релевантной для всей лингвистики проблемы — проблемы ее собственных целей и задач, проблемы определения конечного результата лингвистической исследовательской деятельности и ее ориентации, направленности.

<...> В такой ситуации оказывается самым важным, на наш взгляд, очертить предмет лингвистики с определенными ограни-

чениями. В качестве подобных ограничений и должны выступать ясные ответы на вопросы о целях современной лингвистики и прежде всего вопрос о том, для чего в конечном счете осуществляется исследование языка и что оно само может объяснить: ментальную, духовную, когнитивную деятельность человека или же деятельность коммуникативную, социальную, общественную или, наконец, и то и другое. Лингвистика как зрелая наука может и должна объяснить изучаемый ею объект — язык, — но не только «в самом себе и для себя», а для более глубокого понимания и объяснения человека и того мира, в котором он обитает. Это и создает предпосылки для изучения языка по его роли и для познания (когнитивное направление в исследовании языка), и для коммуникации и осуществления речевой деятельности (коммуникативная лингвистика и теория речевых актов), и для обеспечения нормальной жизнедеятельности всего общества в целом (культурологическое направление исследований) и т.п.

Если «в любом объяснении есть две части, различающиеся по своим функциям» — экспланандум и эксплананс, т.е. объясняемый объект и то, что его объясняет, тогда для адекватной характеристики языка как экспланандума необходимо обращение к феноменам сознания, мышления, общества, культуры (как экспланансам) и, наоборот, для объяснения этих последних феноменов необходимо обращение к языку. Достижения лингвистики сделают возможным использовать эти сведения в качестве эксплананса для других наук. А для того, чтобы добиться этого, нужны челночные операции, взаимообогащение и взаимодействие всех заинтересованных наук, исследования на их стыках. Принцип экспланаторности обретет тогда более конкретное содержание, ибо взаимопроникновение наук позволит выявить и обнаружить разные типы объяснений и придать каждому из них (когнитивным, функциональным, биологическим и пр. объяснениям) рациональное содержание. <...>

Рассмотрев выше разделяемую многими лингвистами систему установок, предпосылок анализа, общих задач и т.д., мы в известном смысле описали также и те требования, которым сегодня должно удовлетворять лингвистическое исследование. И хотя бы в этом отношении позиции многих разных школ и многих

отдельных ученых представляются достаточно близкими. Известная общность исходной, или предпосылочной, системы взглядов, таким образом, налицо.

Интерпретировать сложившуюся ситуации можно тем не менее двояко или даже трояко. Можно полагать, что к концу 80-х гг. благодаря установлению рассмотренных выше общетеоретических положений в исследовании языка преобладают интеграционные тенденции и что на наших глазах формируется новая конструктивная парадигма научного знания, синтезирующая подходы, развивавшиеся до настоящего времени как самостоятельные подходы с разной ориентацией. Можно вместе с тем полагать и другое: несмотря на фактически наблюдаемые процессы интеграции и сближения позиций разных школ каждая из них продолжает свой собственный путь развития, демонстрируя разные предметные области исследования и по существу являя собой отдельную (малую) парадигму научного знания. В таком случае статус современной лингвистики следовало бы охарактеризовать как полипарадигмальную.

<...> на наших глазах все же происходит становление новой, неофункциональной, или конструктивной (постгенеративной), парадигмы знания <...>, определяющей чертой которой оказывается удачный синтез когнитивного и коммуникативного подходов к явлениям языка.

✓ **Задание.** Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Является ли лингвистика наукой?»

Дополнительная литература

- *Касевич В.Б.* Является ли лингвистика наукой? (по поводу статьи Жильбера Лазара) // Материалы XXIX Межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов (Санкт-Петербург, 13—18 марта 2000 г.). Выпуск 14. Секция общего языкознания. Часть 1. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2000. С. 16—22.
- *Фрумкина Р.М.* «Теории среднего уровня» в современной лингвистике // Вопросы языкознания. 1996. № 2.
- *Фрумкина Р.М.* Когнитивная лингвистика, или «психолингвистика наоборот»? // Язык и речевая деятельность. Т. 2. СПб., 1999.

Тема 2

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ



Вопросы, выносимые на обсуждение

- 1. Функциональная грамматика: общая характеристика, основные постулаты**
 - Каковы общие цели и задачи функциональных исследований в лингвистике? В чем заключается принципиальное отличие функциональной грамматики от грамматик традиционного типа?
 - На каких постулатах строится определение функциональной грамматики, предлагаемое А.В. Бондарко? Какова методика функционального исследования этого типа?
 - Обозначьте основные типы функционально-грамматических описаний, предлагаемых в мировой лингвистике.
- 2. Варианты функциональных описаний грамматики русского языка, разрабатываемые в отечественной лингвистике**
 - В чем заключается специфика функционально-грамматического описания, основанного на понятии функционально-семантического поля (ФСП)? Какой смысл вкладывается в понятие «функционально-семантическое поле» (сопоставьте с понятием «семантическое поле»)?
 - В каком соотношении в концепции А.В. Бондарко находятся такие понятия, как «функция» и «значение», с одной стороны, и «система» и «среда», с другой стороны?
 - Какую трактовку получает понятие «синтаксическая функция» в концепции Г.А. Золотовой? Как обосновывается автором необходимость функционального подхода к описанию синтаксических явлений?

- В каком соотношении, по мнению Г.А. Золотовой, находятся такие понятия, как «функция», «значение» и «форма»? Какие типы синтаксических единиц выделяются автором в результате анализа возможных вариантов этого соотношения?



Материал для обсуждения

В.Б. Касевич

СЕМАНТИКА. СИНТАКСИС. МОРФОЛОГИЯ

(М., 1988)

Заключение

<...> **2.** Язык, равно как и все в языке, следует рассматривать с функциональной точки зрения. Функционализм, хотя и понимаемый по-разному в существующих на сегодняшний день направлениях <...>, выдвигается в современной лингвистике на лидирующие позиции. Не пытаясь дать определение понятию функции в языке и речевой деятельности <...>, ограничимся следующим. Функциональный подход предполагает ответы на вопросы «зачем?» и «как?»: «зачем, для чего, для получения какого результата существует данный элемент, конструкция, система?» и «как они выполняют задачу, для реализации которой существуют, какие свойства при этом проявляют?». Уже обезьяны в опытах совершенно одинаково оперируют объектами, материально абсолютно несходными, если последние способны служить, например, отвертками <...> — именно потому, что важна функция, а не материал, форма и т.д. Акцент, который в структурной лингвистике делался на положении в системе, фактически ставил в центр внимания аспект, скорее производный: само место в системе обусловлено необходимым результатом, на достижение которого нацелен данный элемент. Аналогично и понятие правила, которое признавалось центральным в генеративной, а позднее в реляционной грамматике, естественнее всего рассматривать как программу функционирования тех или иных элементов, структур в процессах реализации их предназначения.

Можно утверждать, что функционализм как таковой — не одна из существующих школ, это, скорее, необходимое магист-

ральное направление лингвистики, способное интегрировать все позитивные аспекты, которые усматриваются в ряде существующих теоретических подходов.

3. Достаточно принято считать, что свойства знака с точки зрения синтактики и прагматики составляют столь же неотъемлемую его принадлежность, сколь означающее и означаемое. Если означающее и означаемое — структурные характеристики, обусловленные функцией, то синтактика и прагматика — непосредственно функциональные характеристики: в них отражены соответственно внутренние и внешние потенции знаков с точки зрения использования последних.

Каждая языковая единица обладает определенным синтаксическим и прагматическим потенциалом. Его поверхностное выражение — дистрибуция, участие в тех или иных контекстах. Наличие «веера» функций, присущих языковым единицам всех уровней, ведет к гибкости языковой системы. Единица каждого уровня релятивизирована относительно контекста единиц более высокого уровня, именно и только в соответствующем окружении она получает определенность — вплоть до текста, окружением (контекстом) для которого служит внеязыковая ситуация. Ступенчатое «вкладывание» единиц в контексты уровней возрастающей сложности снимает, таким образом, неопределенность, размытость, по природе своей свойственную любой языковой единице.

4. Все элементы языка образуют систему словарей, связанных сложными сетями отношений. Отношения, опять-таки, детерминированы функциями языковых единиц. Анализ разноуровневых элементов языка выявляет релевантность принципа триплетного кодирования для устройства словарей: наряду с двумя полярными типами (служебные морфемы и знаменательные, аффиксы и служебные слова, слова и словосочетания, предикативные и непредикативные конструкции) существуют промежуточные зоны, единицы которых обладают смешанными признаками по отношению к полярным (полуслужебные морфемы, квазиаффиксы, квазислова, синтаксические «обороты»); промежуточная зона может включать и целый ряд подтипов возрастающей / убывающей близости по отношению к одному из полюсов.

Признание своего рода континуальности в классификационных связях языковых единиц по-особому ставит и вопрос о соотношении лексического и грамматического. Необходимость взаимной «настроенности» грамматики и словаря, взаимодействующих в речевой деятельности, очевидна, но не вполне ясно, возможна ли и, если да, насколько синонимия лексических и грамматических средств выражения в пределах данного языка. <...>

А.В. Бондарко

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА

(Л., 1984)

Предмет и задачи функциональной грамматики Общая характеристика

В каждой грамматике в той или иной мере представлен функциональный аспект. Что же дает основание говорить о функциональной грамматике как об особом типе грамматического описания? Какова специфика грамматики этого типа?

Специфика функциональной грамматики может быть выявлена лишь на основе *принципа единства системно-структурного (системно-категориального) и функционального аспектов грамматики как целого*. Первый аспект — это система грамматических единиц, классов и категорий (а также связанных с ними лексико-грамматических и словообразовательных явлений). Речь идет о потенциале средств (вместе с их значениями), находящихся в распоряжении говорящих на данном языке, об определенном механизме, лежащем в основе функционирования грамматических и связанных с ними элементов, об устройстве этого механизма, его структуре. Второй аспект — это система закономерностей и правил функционирования грамматических единиц во взаимодействии с элементами разных языковых уровней, участвующих в выражении смысла высказывания. Этот аспект связывает систему языка и систему речи, парадигматику и синтагматику, статику и динамику. Он имеет непосредственный выход в конкрет-

ную ситуацию речи, в процесс коммуникации. Оба аспекта, как уже говорилось, образуют неразрывное единство. Грамматический строй как устройство, система элементов, характеризующаяся определенной структурой, как потенциал средств с их значениями ориентирован на функционирование и проявляется в реальном процессе функционирования элементов языка в речи. С другой стороны, система функционирования детерминируется системой функционирующих единиц и представляемых ими классов и категорий.

Принцип единства системно-структурного (системно-категориального) и функционального аспектов грамматики определяет место функциональной грамматики в общей системе грамматики как науки. Функциональная грамматика представляет собой не отрицание грамматики, строящейся на основе описания системы грамматических единиц, классов и категорий, и не абсолютно новую и обособленную научную дисциплину, *а специальное развитие функционального аспекта грамматики как целого*. Задачей функциональной грамматики как одного из типов и направлений грамматики в широком смысле является *разработка динамического аспекта функционирования грамматических единиц во взаимодействии с элементами разных уровней языка*, участвующими в выражении смысла высказывания. При этом она не погрывает с системно-структурным (системно-категориальным) аспектом грамматического строя языка. Напротив, необходимым и чрезвычайно важным компонентом функциональной грамматики является описание системы тех средств данного языка, которые используются в речи. Специфика функциональной грамматики заключается в том, что это описание строится не по отдельным уровням и аспектам грамматической системы (морфологии, словообразования, синтаксиса простого и сложного предложения), а на основе опоры на функционально-семантические единства данного языка, объединяющие элементы разных уровней, взаимодействующие на семантической основе. В том варианте функциональной грамматики, который рассматривается в этой работе, системно-структурный (системно-категориальный) аспект грамматического описания реализован в форме анализа структуры ФСП [функционально-семантического

поля] <...>. Таким образом, система языковых средств рассматривается на основе семантического принципа их группировки. Именно на этой объективно существующей основе группировки языковых средств, используемых в речи, базируется характерная для функциональной грамматики возможность описания не только по принципу «от формы к значению» («от средств к функциям»), но и по принципу «от значения к форме» («от функции к средствам»).

Системно-структурный аспект описания, применительно к грамматике рассматриваемого типа, отличается сильной, подчеркнутой функциональной ориентацией: описываются группировки разноуровневых языковых средств по тому принципу, который определяется закономерностями функционирования языковых единиц в речи, где господствующим началом являются потребности передачи смысла, для этого используются средства разных уровней, организованные на семантической основе.

При исследовании и описании динамического аспекта функционирования языковых единиц, участвующих в выражении смысла высказывания, возможны разные подходы. Давняя традиция стоит за исследованиями употребления грамматических единиц (форм и конструкций) с использованием таких понятий, как «частное значение грамматической формы», «функция грамматической формы». Необходимо рассмотреть возможность использования и таких понятий и терминов, которые были бы направлены на анализ семантических функций на уровне высказывания, с учетом всех взаимодействующих формальных средств. В разрабатываемом нами варианте функциональной грамматики для этой цели предназначается понятие «категориальная ситуация», связанное с вычленением в общей ситуации, передаваемой высказыванием, того или иного аспекта, соответствующего определенному функционально-семантическому полю.

Итак, функциональная грамматика может быть определена как грамматика, 1) ориентированная на изучение и описание закономерностей функционирования грамматических единиц во взаимодействии с элементами разных языковых уровней, участвующими в передаче смысла высказывания; 2) предполагающая возможность анализа не только в направлении от формы к значению (от средств

к функциям), но и в направлении от значения к форме (от функций к средствам). Грамматика данного типа должна включать (в той или иной форме) а) анализ системы языковых средств, участвующих в реализации изучаемых функций; б) анализ семантических функций, реализуемых в высказывании, в речи. В разрабатываемом нами варианте функциональной грамматики этим целям служат два компонента: а) описание структуры ФСП в составе системы полей данного языка (полевое структурирование); б) описание типовых категориальных ситуаций (аспектуальных, каузальных, кондициональных и т.п.), базирующихся на определенном ФСП и репрезентирующих элементы его содержания и выражения в высказывании.

В понятии функциональной грамматики основным и наиболее существенным является акцент на изучении функций языковых средств, закономерностей и правил их функционирования в высказывании, взаимодействия элементов разных уровней и аспектов системы языка в речи. Что же касается направленности грамматического анализа, то для характеристики понятия «функциональная грамматика» важно прежде всего признание принципиальной возможности анализа в направлении от значения к форме (от функций к средствам). Эта возможность характерна именно для функциональной, но не для формальной (структурной) грамматики. Вместе с тем данный признак не является для функциональной грамматики постоянным и обязательным. Грамматическое описание может быть основано на анализе лишь в направлении от формы к значению (от средства к функциям) — и тем не менее оно будет функциональным, если его характеризует специальная ориентация на изучение закономерностей функционирования грамматических единиц в речи.

Описание соотношения «средство — функция» с наибольшей полнотой осуществляется при синтезе подходов со стороны средств и со стороны функций.

Целесообразность двустороннего подхода к описанию функций языковых средств обусловлена прежде всего принципом «асимметрического дуализма языкового знака» (по С.О. Карцевскому), предполагающим отсутствие изоморфизма между единицами плана выражения и плана содержания (смысла), т.е. воз-

возможность соответствия одной единицы плана выражения нескольким единицам плана содержания (смысла) и наоборот — одной единицы плана содержания нескольким единицам плана выражения. Отсюда вытекает необходимость учета, с одной стороны, многообразия языковых значений, что возможно лишь при анализе, идущем со стороны средств, а с другой — многообразия языковых средств, что возможно лишь при анализе со стороны функций. Следует учесть, что направление от функций к средствам соответствует *точке зрения говорящего*, а направление от средств к функциям — *точке зрения слушающего*. Отсюда вытекает необходимость синтеза аспектов грамматики для слушающего (пассивной) и для говорящего (активной).

Функциональная грамматика включается в общую функциональную модель языка <...>. Как часть функциональной лингвистики по своим теоретическим основаниям и методам анализа она связана с функциональным подходом в современной теории научного познания <...>. На данную область грамматических исследований распространяется общая проблематика поведения (функционирования) системы, типов ее взаимодействия с другими, лежащими вне ее объектами, т.е. со средой, общие тенденции взаимосвязи функционального и системно-структурного подходов.

<...> Функциональная грамматика не относится к описанию универсально-логического типа. В центре функционально-грамматического исследования (в нашем его понимании) находятся закономерности и типы функционирования грамматических единиц во взаимодействии с единицами других уровней и аспектов языка, а в этих закономерностях языки разных типов обнаруживают, насколько можно судить по имеющимся исследованиям, существенное своеобразие. Основным предметом анализа являются не универсальные понятия, а собственно языковые семантические функции, заключающие в себе как универсальные, так и неуниверсальные элементы. Закономерности функционирования грамматических единиц включаются <...> в понятие грамматического строя языка, представляя собой его динамический, деятельностный аспект. Все, что традиционно рассматривалось как отличия грамматического строя языков разных типов, отно-

сится и к рассматриваемому аспекту строя языка. Даже сходные по своей структуре формы и категории родственных языков могут обнаруживать существенные различия именно с точки зрения правил функционирования.

<...> Итак, функциональная грамматика не представляет собой универсальной схемы описания, накладываемой на все языки. Хотя в принципах функционально-грамматического описания есть общие направления и тенденции, все же конкретные реализации таких описаний должны исходить из специфики строя и типа данного языка.

Типы функционально-грамматических описаний

<...> могут быть выделены следующие типы функционально-грамматических описаний: а) описания по принципу «от формы к значению», «от средств к функциям»; б) описания по основному принципу «от значения к форме», «от функций к средствам»; в) описания, основанные на объединении указанных принципов на разных этапах анализа. Остановимся на каждом из этих типов.

Функционально-грамматические описания, основанные на принципе «от формы к значению», «от средств к функциям»

<...> Резких границ между функциональной грамматикой рассматриваемого типа и формально-структурной грамматикой с явно выраженными функциональными аспектами нет. Однако специфика функциональной грамматики все же выявляется достаточно отчетливо, если специальным предметом исследования и описания является функционирование грамматических единиц, если именно функции грамматических средств и других языковых элементов, взаимодействующих с ними, подвергаются специальному анализу, если особое внимание уделяется контексту и речевой ситуации в их взаимодействии со значением грамматических единиц, если анализ не ограничивается изучением грамматических категорий в системе языка, а имеет явно выраженную ориентацию на высказывание и на речь в целом и ее конкретные условия в процессе коммуникации. <...>

Функционально-грамматические описания, основанные преимущественно на принципе «от значения к форме», «от функций к средствам»

<...> Грамматические исследования рассматриваемого типа <...> позволяют интегрировать в единой системе те разнородные языковые средства, которые в грамматике, базирующейся на форме, рассматриваются в разных частях грамматического описания — морфологии, словообразовании, синтаксисе. <...> анализ, идущий от семантического содержания и направленный на поиск разнообразных средств его выражения, позволяет выявить особо сложные средства (комбинированные, грамматико-лексические, грамматико-контекстуальные, косвенные, опосредованные, некатегориальные, «скрытые» в сложных закономерностях взаимодействия грамматики и лексики, грамматики и контекста, морфологии и синтаксиса и т.п.). Многие из подобных средств выражения семантического содержания остаются невыявленными при обычном направлении описания, исходящих из известных, явных грамматических форм. <...>

Фактически рассматриваемое направление анализа не может быть независимым от формы. Так или иначе формальная сторона учитывается. Это проявляется в самом отборе смыслов, подлежащих анализу в грамматике, а отнесенность к грамматике определяется не только характером самих значений, но и средствами их выражения. Те семантические категории, которые являются исходным пунктом описания, должны включать не только лексические, описательные, но и грамматические средства, должны находить выражение в грамматическом строе языка (наряду с лексическим, контекстуальным выражением и т.п.) — иначе описание, основанное на принципе «от значения к форме», не будет представлять собой грамматику.

«В чистом виде» направление описания «от значения к форме» выступает лишь до тех пор, пока анализ сводится к систематизации формальных средств, относящихся к данной семантической области. Как только исследование и описание выходит за эти рамки, <...> становится неизбежным обращение к значениям и оттенкам значений конкретных языковых средств, а эти оттенки и значения могут быть выявлены лишь в результате изуче-

ния функционирования языковых единиц. Этот этап анализа связан уже с принципом «от формы к значению», «от средств к функциям».

<...> Итак, для того чтобы раскрыть систему языковых значений внутри рассматриваемой исходной семантической области, необходимо <...> обратиться к формам (формальным средствам) данного языка, изучить их значение и употребление. Это означает выход за пределы анализа лишь в направлении от значения к форме и обращение к противоположному направлению — от формы к значению. Таким образом, так или иначе выявляется необходимость синтеза подходов от значения и от формы.

Функционально-грамматические описания, основанные на синтезе направлений анализа, исходящих от форм (средств) и от значений (функций)

<...> необходимо выделить и включить в единую систему два этапа анализа: 1) этап выделения определенной семантической категории, существующей в данном языке, на основе грамматической формы, при направлении анализа от формы к значению; 2) этап выявления разнообразных средств выражения данной семантической категории в данном языке, при направлении анализа от значения к форме (от семантики к средствам ее выражения). Взаимные связи и чередования рассматриваемых направлений анализа этим не исчерпываются. Когда уже выявлены средства выражения определенной семантической категории, необходим следующий этап: 3) анализ функционирования основных (для выражения данной семантики) форм для определения выражаемых ими значений (при разграничении и соотнесении того, что выражается самой формой, и того, что исходит от контекста); на этой основе (по принципу «от формы к значению») выявляется система <...> семантического варьирования внутри данной семантической категории. <...>

В постоянном чередовании рассматриваемых направлений анализа на разных его этапах <...>, в использовании результатов подхода от формы к значению при подходе от значения к форме (и наоборот) и заключается синтез двух рассматриваемых подходов. <...>

Разновидность функциональной грамматики, базирующаяся на понятии функционально-семантического поля

Данная разновидность функциональной грамматики представляет собой один из возможных типов грамматического описания, основанного на синтезе направлений анализа от формы и от значения.

То направление функциональной грамматики, которое представлено в этой работе, может быть определено как грамматика функционально-семантических полей и категориальный ситуаций. <...>

Функционально-семантическое поле (ФСП) — это система разноуровневых средств данного языка (морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических, а также комбинированных — лексико-синтаксических и т.п.), объединенных на основе общности и взаимодействия их семантических функций. <...>

Термин ФСП выдвигает на первый план идею группировки (упорядоченного множества) взаимодействующих на семантико-функциональной основе языковых средств и их системно-структурной организации. Вместе с тем существует параллельный термин «функционально-семантическая категория», подчеркивающий семантико-категориальный аспект того же предмета исследования.

Понятия ФСП связано с моделированием системы разноуровневых, структурно-разнородных языковых средств. <...>

ФСП как модель связывается с условным представлением о некотором пространстве, в котором намечается конфигурация центральных и периферийных компонентов поля, выделяются зоны пересечения с другими полями (под пересечениями имеются в виду отражения в данной модели взаимодействия семантических элементов разных полей <...>).

<...> для структуры поля характерно соотношение центра, образуемого оптимальной концентрацией всех совмещающихся в данном явлении признаков, и периферии, состоящей из образований с некомплектным числом этих признаков, при возможном изменении их интенсивности. <...>

ФСП представляет собой двустороннее (содержательно-формальное) единство, охватывающее конкретные средства данного

языка со всеми особенностями их формы и содержания. Вместе с тем в основе каждого ФСП лежит определенная семантическая категория, представляющая собой тот семантический инвариант, который объединяет разнородные языковые средства и обуславливает их взаимодействие. План содержания ФСП представляет собой многоуровневую систему языковой семантической субкатегоризации (вариативности). <...> Каждый семантический вариант в рамках данного ФСП связан с определенными средствами формального выражения.

Специфика функционально-грамматического исследования, основанного на понятии ФСП, заключается в том, что это понятие отражает *языковое* функционально-семантическое единство. Компоненты ФСП — это языковые категории, классы и единицы с их языковыми значениями, связанными с конкретными средствами формального выражения в данном языке. Связи между компонентами, их взаимодействие — это также конкретные языковые явления. <...> Когда исследователь ставит перед собой задачу определить структуру ФСП, установить его центральные и периферийные компоненты, связи между ними, пересечения с другими полями, то он имеет дело не с абстрактной схемой семантических признаков и т.п., а с некоторой совокупностью двусторонних средств данного языка. Исследователь стремится определить, есть ли в данной области разнородных языковых средств системность и в чем она проявляется. На основе конкретно-языковых признаков изучаемых единиц, классов и категорий в их взаимных связях строится гипотетическая модель данного функционально-семантического единства, которая затем проверяется и уточняется в ходе исследования конкретных высказываний на данном языке. Изучение репрезентаций элементов данного поля в высказываниях является своего рода экспериментом, который либо подтверждает, либо изменяет, корректирует, уточняет построенную модель данного ФСП.

Самый процесс выделения того или иного ФСП в данном языке имеет конкретно-языковые основания. За основу берется система языковых средств с взаимосвязанными функциями. Среди этих средств основным, центральным не обязательно является грамматическая категория: таким средством (комплексом

средств) может быть определенная синтаксическая конструкция, группировка лексико-грамматических разрядов и т.п. Затем ставится вопрос: есть ли другие средства в данном языке, которые взаимодействуют с данным средством на основе общности (хотя и не тождественности) семантических функций. Далее определяется полный состав таких средств, очерчиваются границы данного функционально-семантического единства, определяется структура поля.

Исследование ФСП включает тот тип анализа, который можно назвать моделированием структуры поля, или «полевым структурированием». Это понятие предполагает определение

- а) состава компонентов ФСП в данном языке на основе общего для них инвариантного семантического признака;
- б) состава центральных и периферийных компонентов поля (на основании определенных критериев);
- в) связей между компонентами ФСП;
- г) структурного типа данного поля;
- д) связей между данным полем и другими ФСП (места данного поля в системе ФСП).

Важнейшим элементом исследования ФСП, имеющим отношение к моделированию структуры поля, но выходящим за пределы этого понятия, является анализ семантики поля <...>.

Анализ семантики поля сопряжен с анализом формы, т.е. системы средств формального выражения семантических признаков, выделяемых в составе данного поля. При этом особого внимания заслуживает взаимодействие морфологических, синтаксических, словообразовательных и лексических средств. Вопрос «как это выражено?» становится особенно актуальным на том этапе анализа, который связан с изучением наиболее сложных комбинированных средств выражения изучаемой семантики. <...>

Тот вариант грамматического описания, о котором идет речь, не предполагает членения функциональной грамматики на функциональную морфологию и функциональный синтаксис. Принцип систематизации описываемого языкового материала здесь совсем иной: выделяются определенные группировки ФСП в системе данного языка и отдельные поля в пределах этих груп-

пировок; на этой основе определяется структура описания — последовательность разделов, посвященных каждой из выделяемых группировок ФСП (а также более частных разделов, посвященных описанию отдельных полей). <...>

О понятии «функция» и «функционирование»

В понятии «функция» применительно к языковым единицам (в частности, грамматическим формам и синтаксическим конструкциям) могут быть выделены два аспекта: *потенциальный* и *целевой*. Последний соответствует широко распространенному пониманию функции как цели (назначения, предназначения) того или иного языкового средства. Первый (потенциальный) аспект требует особых пояснений.

В самом общем виде *потенциальный аспект заключается в способности данной единицы к реализации определенных целей*. По существу это вытекает из самого понятия цели (назначения, предназначения): достигнутая цель предполагает у соответствующих средств определенную потенцию, способность служить данной цели. В таком истолковании потенциальный аспект понятия функции, как и целевой, постоянно отражается в практике лингвистических (в частности грамматических) исследований и описаний. С одной стороны, отмечается, что форма или конструкция может употребляться для выражения тех или иных значений, а с другой — при анализе конкретных высказываний констатируется реализация определенных назначений (предназначений) языковых форм. Данное общее понимание потенциального аспекта функций (как и аспекта целевого) находит отражение и в некоторых дефинициях понятия функция. <...>

Указанное общее понимание потенциальной стороны функций языковых единиц, само по себе важное и необходимое, должно быть дополнено *более специальной интерпретацией потенциального аспекта*. Речь идет о понимании *функции языковой единицы как потенциала ее функционирования*. Имеется в виду «свернутый» потенциал, т.е. комплекс основных правил функционирования (поведения), входящих в функциональную характеристику данной единицы. Например, потенциал функционирования форм настоящего-будущего совершенного (типа *напишу*) в русском

языке включает способность этих форм к свободному функционированию при обозначении единичных конкретных фактов в будущем времени (*Я всем напишу об этом* и т.п.) и лишь к ограниченному функционированию в плане узуального или потенциального настоящего (*Иногда, бывает, напишет; Никак не напишу* и т.п.).

<...> Понятие потенциала функционирования значительно шире, чем понятие семантического потенциала. Во-первых, оно включает не только определенный комплекс функций-потенций, но и (в «свернутом виде») комплекс основных правил функционирования, связанных с данной единицей и входящих в ее характеристику. Во-вторых, понятие «потенциал функционирования» охватывает не только семантические, но и структурные функции (ср., например, функции согласования, структурные функции средств связи в сложном предложении и т.п.).

Данная трактовка потенциального аспекта функций подчеркивает связь понятий *функций* и *функционирования*. Оказываются связанными друг с другом потенциальная способность к определенному поведению, само это поведение и его результаты (цели). В интерпретации функции как потенциала функционирования языковой единицы подчеркивается динамическая, деятельностная сторона понятия функции.

Поясним, почему речь идет о «свернутом» потенциале функционирования. Понятие функционирования в полном его объеме <...> включает целый ряд процессов (таких, как внутреннее программирование формирующегося высказывания, выбор тех или иных средств из ряда возможных и т.д.). О потенциале «в свернутом виде» речь идет потому, что имеется в виду не функционирование в полном его объеме, а комплекс основных тенденций, закономерностей и правил функционирования, входящих в характеристику потенциалов данной единицы и существенных для общей системы функций в данной подсистеме языковых единиц. Иначе говоря, речь идет о своего рода «формуле функционирования», включающей его системно релевантные признаки.

Если попытаться объединить в одном определении потенциальный аспект функции (как в более общем, так и в указанном более специальном понимании) и аспект целевой, то это опре-

деление могло бы быть таким: *функция языковой единицы — это ее способность к выполнению определенного назначения, потенциал функционирования (в «свернутом виде»), и вместе с тем реализация этой способности, т.е. результат, цель функционирования.* Разумеется, формулировки могут варьироваться, важно лишь, чтобы в определении понятия функции нашли отражение оба аспекта — потенциальный и целевой, причем потенциальный аспект был бы представлен не только как общая способность к определенному назначению, но и как потенциал функционирования данной единицы.

Говоря об указанных аспектах функций языковых единиц, мы имеем в виду не разные объекты, а разные стороны одного и того же изучаемого объекта — функции. Различие между ними имеет относительный, а не абсолютный характер. Понятие функционирования предполагает постоянное преобразование функций как потенциалов в функции, как достигаемые в процессе общения цели. При всем том, однако, различия между указанными аспектами понятия функции весьма отчетливы, если иметь в виду, с одной стороны, функциональный потенциал единицы *в системе языка*, а с другой — реализацию этого потенциала *в речи*.

В понятии «потенциал функционирования» важно подчеркнуть обуславливающий, каузирующий фактор по отношению к самому процессу функционирования языковой единицы и в конечном счете — по отношению к реализуемым целям. Таким образом, выстраивается цепочка: 1) функция (комплекс функций) как потенциал функционирования данной единицы; 2) обусловленные этим потенциалом закономерности и правила функционирования; 3) функция как достигнутая цель (результат) функционирования. Обуславливающее отношение функции-потенции к процессу функционирования языковой единицы подчеркивает относительную самостоятельность потенциального аспекта понятия функции как аспекта *потенциально-каузирующего*.

<...> В потенциале функционирования языковой единицы заложены причины и интенции, ведущие к определенным закономерностям функционирования и его следствиям. Важно подчеркнуть, что регулярное участие в передаче смысла высказыва-

ния — это такое следствие функционирования, которое способствует сохранению существования данной единицы в рамках определенной частной системы (подсистемы) и в конечном счете в системе языка в целом. Заметим, что в понятии «сохранение существования», с нашей точки зрения, заложены и потенциальные возможности исторического развития как данной функции, так и связанной с нею структуры.

<...> Для разработки понятия функции в грамматике существенна связь с более широкой проблематикой *функций языка*. <...> Каждая конкретная функция той или иной единицы, включенная в более широкую систему функций языка и речи, в своем проявлении зависит от этой системы. <...>

Предмет функциональной грамматики охватывает функции грамматических единиц и категорий, а также взаимодействующих с ними лексико-грамматических средств в обоих рассмотренных выше аспектах, как в целевом, так и потенциальном. Потенциальный аспект связан прежде всего с грамматическим описанием в направлении от формы к значению (от средств к функциям). Исходя из определенной формы, исследователь может выявить потенциал ее функций, связанный с нею спектр возможных для данной формы типов функционирования. Что же касается целевого аспекта функций, то он может изучаться и описываться как в направлении от формы к значению (от средств к функциям), так и в противоположном направлении — от значения к форме (от функций к средствам). Рассматривая функции как реализованные цели функционирования взаимодействующих языковых средств, исследователь может выявить весь состав средств, участвующих в реализации данной функции. Вместе с тем при исследовании функций в их целевом аспекте естественно на определенном этапе анализа вновь использовать направление от средств к функциям.

Функции грамматических единиц (форм и конструкций) необходимо отличать от значений. Значение представляет собой знаковое содержание формы, ее системно значимое внутреннее свойство (сама форма, как известно, выделяется прежде всего на основе категориального значения); значения грамматических форм относятся к содержательной стороне языка и включаются в поня-

тие языкового строя. Что же касается *функции*, то ее реализация в речи может представлять собой *цель употребления того или иного средства или комплекса средств, выходящую за пределы языка.* Ср., например, такие функции форм настоящего времени, как настоящее сценическое, изобразительное, настоящее изложения, репортажа, номинации и т.п. Во всех этих случаях глагольная форма употребляется для выражения настоящего времени, что отражает ее категориальное значение. Однако употребление данной формы для передачи действий в сценических ремарках, для изложения содержания произведения и т.п. — это такие функции грамматической формы, которые представляют собой внеязыковые цели ее употребления. Каждый раз мы констатируем, для чего употребляется данная форма, имея при этом в виду не только ее внутреннее содержание, ее значение, но прежде всего ее предназначение в конкретных условиях коммуникации. Подобные функции связаны с определенной сферой, условиями общения, жанром, целенаправленностью речевого акта и т.п.

Поясним некоторые стороны высказанного выше тезиса.

Значение формы охватывается понятием «язык». *Функция же связывает значения и внеязыковые цели общения.* Функции (семантические) коренятся в значениях, но отличаются ярко выраженной обращенностью к внеязыковым целям — к смыслам, которые нужно передать и воспринять в процессе коммуникации.

Значение языковых единиц относится прежде всего к системно-категориальному аспекту языка, т.е. к системе его единиц, классов и категорий, заключающих в себе отражение и языковую семантическую интерпретацию категорий мышления. Значение выражается в речи, но здесь оно уже не выступает «в чистом виде», как значение одной лишь данной единицы, а всегда отражает взаимодействие разных единиц друг с другом, а также с контекстом и с ситуацией. Понятие значения, реализованного в речи, по существу смыкается с понятием функции (семантической). *Функция также связана с языковой системой, но прежде всего с ее динамическим аспектом,* т.е. с закономерностями и правилами функционирования элементов системы языка. Отсюда — *выход к речи,* где функции раскрываются и реализуются как достигнутые цели.

Категориальное значение формы не включает того, что исходит от контекста и речевой ситуации. Результаты взаимодействия категориальных значений с контекстом, лексическим значением слов и с речевой ситуацией связаны с понятием «частного значения грамматической формы». Но это понятие по существу очень близко к понятию функции. Специфика функций как раз и заключается в том, что как потенции и результаты функционирования они предполагают взаимодействие формы и ее окружения (разного рода). <...>

Значения языковых единиц (в частности категориальные значения грамматических форм и синтаксических конструкций) представляют собой в каждом языке относительно замкнутую систему с ограниченным числом элементов. Функции же (если иметь в виду не только первичные, центральные функции, но и вторичные, периферийные, а также если учитывать широко развитую вариативность речевых функций, связанных с внеязыковыми условиями и целями коммуникации) представляют собой систему незамкнутую и значительно более широкую, с ярко выраженной неопределенностью границ на периферии. Заметим в данной связи, что вопрос о соотношении значений и функций входит в более широкую проблематику, связанную с осмыслением того, как язык с ограниченным количеством языковых единиц (и их значений) оказывается способным реализовать в речи бесконечное многообразие конкретных целей общения. <...>

В отличие от значения, функция может не отражать непосредственно мыслительное, смысловое содержание, представляя собой такое назначение, которое относится к области структуры языкового механизма (такова, например, функция согласования). С выражением значений непосредственно связаны семантические, но не структурные функции.

Структурные функции заключаются в передаче внутриязыковой информации о системно-структурной организации языковых элементов. Эта информация не включает в себе мыслительного содержания, не входит в передаваемый и воспринимаемый в речи смысл и не соотносится с внеязыковой действительностью. Так, принадлежность слова *сад* к мужскому роду, *книга* — к женскому и *перо* — к среднему сама по себе не является средством

выражения какого-либо смыслового содержания. Однако показатели рода нельзя считать вообще бессодержательными <...>

Структурные функции лишь косвенно связаны с мыслительным содержанием, поскольку они направлены на его системно-структурную организацию. <...>

Структурные функции, так же как и семантические, должны быть включены в сферу функциональной грамматики. Специфика их описания в данном типе грамматики заключается в том, что описание может быть построено в направлении не только от средства к функции, но и от функции к средствам. Тем самым разнообразные структурные функции в области морфологии, словообразования и синтаксиса окажутся не разрозненными, а объединенными в единую систему. Описание структурных функций выходит за пределы характеристики системы ФСП; ему должен быть посвящен особый раздел функциональной грамматики.

Существуют, как известно, *стилистические функции*, связанные с языковым способом представления значений, но не сводимые к значениям. Это лишний раз свидетельствует о несовпадении понятий значения и функции.

Понятия значения и функции могут перекрещиваться. В особенности это относится к потенциальному аспекту функций. *Функция в ее потенциальном аспекте более тесно связана с понятием «значения», чем функция как цель (назначения).* Реализованная цель употребления формы всегда включена в более широкие цели высказывания, тесно связанные с внеязыковыми условиями коммуникации. Что же касается функции как потенциала функционирования, то этот аспект коренится в категориальном значении формы в системе языка. Однако и данный аспект понятия «функция» не совпадает с понятием «значение». Потенциал функционирования формы (в частности, ее семантический потенциал) не равен ее категориальному значению: последнее представляет собой ядро, доминанту семантического потенциала, но далеко не все его элементы <...>.

<...> в функциональной грамматике особую значимость приобретают те стороны структуры (системно-структурной организации), которые выходят за пределы внутренней структуры грамматических категорий и единиц и касаются строения более широ-

ких семантико-функциональных единств — ФСП, включающих как грамматические единицы (в части случаев и категории), так и взаимодействующие с ними элементы.

Основанием для объединения структурно разнородных языковых средств в составе данного поля является общность их семантических функций. Здесь находит одно из своих проявлений общее доминирующее, обуславливающее положение функции по отношению к структуре (что не исключает возможности воздействия структуры на функцию).

Функционирование языковых единиц — это процесс актуализации и взаимодействия в речи единиц, классов и категорий той языковой системы, которой владеет каждый член данного языкового коллектива.

Живой процесс функционирования осуществляется в речи, однако *правила и типы функционирования языковых единиц относятся к системе и норме языка, к языковому строю* (представляя собой его активный, динамический компонент). Именно эти правила и типы находятся в центре функционально-грамматического описания. Конкретные факты речи при этом выступают как репрезентации и частные реализации описываемых типов, тенденций, правил и закономерностей.

Понятие «функционирование языковых единиц» включает: 1) отбор говорящим (пишущим) средств, необходимых для передачи смысла высказывания, что предполагает возможность выбора того средства, которое в наибольшей степени соответствует замыслу говорящего; 2) взаимодействие структур и функций единиц, относящихся к разным аспектам и уровням системы языка; 3) преобразование функций-потенций в функции, выступающие как достигаемые цели.

Необходимо подчеркнуть присущий рассматриваемому понятию признак динамики. Функционирование — это всегда преобразование: преобразование языка в речь, преобразование функций как потенциалов и потенциальных целей в функции как реализуемые и реализованные цели коммуникации, преобразование функций с точки зрения говорящего, *для говорящего* — в функции *для слушающего*, воспринимаемые слушающим.

В рассматриваемом понятии могут быть выделены три стороны: а) *системно-языковая (внутренне-лингвистическая)* сторона, охватывающая преобразование элементов системы языка в элементы системы речи; б) *психолингвистическая* сторона, связанная с процессами программирования высказывания, с динамикой речи и ее восприятия; в) *социолингвистическая* сторона, охватывающая все факторы социальной обусловленности реализации языковых функций. <...>

Сфера функционирования языковых единиц — это *высказывание и целостный текст*. Именно здесь функции языковых единиц (как цели, назначения) реализуются в полной мере. <...>

Минимальным единством, в пределах которого осуществляется функционирование языковых единиц в речи, является *высказывание*, равное речевой репрезентации предложения <...>. Именно высказывание является той основной речевой единицей, которая, на наш взгляд, должна быть предметом анализа в функциональной грамматике. Высказывание представляет собой *микросреду* для функционирования языковых единиц <...>. *Макросреду* представляет целостный текст.

В высказывании функции и средства низших уровней интегрируются на основе их взаимодействия. Функцией (целью) всего высказывания является передача его смысла. По отношению к этой цели функции отдельных единиц оказываются частными элементами (в известном смысле средствами), подчиненными тому содержательному целому, в составе которого они выступают. <...>

Межкатегориальное взаимодействие функций

Функции грамматических единиц существуют в форме постоянного и регулярного межкатегориального взаимодействия. Рассмотрим некоторые аспекты этого явления на материале взаимосвязей ГК глагола.

До сих пор ГК обычно рассматривались отдельно, а их взаимосвязи представляли собой, как правило, периферию грамматического описания. Между тем ГК существуют именно в их взаимных связях. Одним из важных направлений функционально-грамматического исследования является специальный анализ

комплекса категорий той или иной части речи, анализ категориального взаимодействия. Такие группировки при явно выраженных многосторонних и разноаспектных связях (как это имеет место в глаголе) становятся особого рода системой, имеющей свою структуру, элементами которой являются отдельные ГК и связи между ними.

Предпосылка взаимных связей ГК — их совместная данность в слове. <...>

При реализации функций ГК, представленных в данной словоформе, возможны *два типа соотношения функций*: 1) *функции контактируют, взаимодействуют*; 2) *реализуются параллельно и независимо друг от друга*. <...> При сопряженности ГК, например вида и времени или времени и наклонения, обнаруживается их взаимозависимость. При «синтезировании» же один и тот же формант связан с рядом ГК, независимых друг от друга. <...>

Взаимодействие функций, связанное с пересечением их содержания, является внутренним сущностным свойством функций языковых единиц. Сами понятия функции и функционирования применительно к грамматике рассматриваемого типа включают фактор функционального взаимодействия. В какой бы форме оно не фиксировалось, межкатегориальное взаимодействие функций представляет собой один из центральных объектов функционально-грамматического исследования и описания.

Взаимодействие системы и среды

Одним из существенных элементов, охватываемых понятием «функционирование» (применительно к языковым единицам), является взаимодействие ГК как систем с окружающей их средой. Соотношение системы и среды рассматривается нами в том смысле, который вкладывается в эти понятия общей теорией системных исследований. Согласно этой теории, система как множество элементов с отношениями и связями между ними, образующими определенную целостность, противостоит среде, во взаимодействии с которой система проявляет и создает все свои свойства. Система функционирует в среде, взаимодействуя с ней. <...>

Говоря о языковых единицах как системах, мы имеем в виду целостные объекты (лексемы, грамматические формы, синтак-

сические конструкции), представляющие собой упорядоченные множества содержательных элементов (с соотношениями и связями между ними, т.е. с определенной структурой плана содержания), соотнесенные с множеством элементов формального выражения (таким образом, речь идет о двусторонних — содержательно-формальных — единицах). Аналогичный характер имеют ГК, а также разного рода языковые классы и группировки как более сложные системы.

Среда по отношению к той или иной языковой единице, категории или группировке как исходной системе — это множество языковых (а также внеязыковых) элементов, играющих по отношению к исходной системе роль окружения, во взаимодействии с которым эта система выполняет свою функцию.

Система и среда (применительно к языковым явлениям) — это не самодовлеющие понятия. Они подчинены функции. Взаимодействие системы и среды направлено на реализацию функции как цели (назначения) языковых средств. Отдельная изолированная частная система (единица, категория, группировка) не может обеспечить реализацию функций, выполняемых в процессе языковой коммуникации, прежде всего функции передачи смысла высказывания. Для этого необходимо взаимодействие множества частных систем с их средой.

По отношению к языковым единицам и категориям (исходным системам) можно выделить два типа среды: 1) *парадигматический* (системно-языковой) — окружение данной единицы (категории) в парадигматической системе языка; 2) *синтагматический* (контекстуальный, речевой) — окружение данной единицы в речи, т.е. контекст и речевая ситуация. Обращение к понятию среды позволяет интегрировать под единым углом зрения эти два типа окружений, обычно изучаемых раздельно.

<...> понятие среды применительно к языковым фактам должно рассматриваться с учетом различия между системой языка и системой речи, между планом парадигматики в системе языка и взаимодействием парадигматики и синтагматики в речи.

<...> Понятие среды предполагает возможность и необходимость многоаспектной дифференциации. В частности, следует различать понятия *микро-* и *макросреды*. Первое из этих понятий

включает те элементы окружений (как парадигматических, так и синтагматических) той или иной частной языковой системы, которые непосредственно взаимодействуют с ней, второе же охватывает более широкие и отдаленные области языковых и речевых явлений, затрагиваемых данной системой или опосредованно воздействующих на нее. Так, по отношению к категории времени в русском языке в микросреду входят категории вида и наклонения (и шире — элементы полей аспектуальности и объективной модальности), а также средства выражения временной соотнесенности, охватываемые полем таксиса. Что же касается макросреды, то в данном случае к ней относятся элементы таких полей, как залоговость, определенность / неопределенность, локативность. Поля количественности и качественности могут находиться как в ближайшем, так и в отдаленном отношении к категории времени. Здесь, как и в других случаях, проявляется неопределенность и подвижность границ между микро- и макросредой.

<...> Взаимодействие системы грамматических единиц, классов и категорий с их лексико-грамматическим и лексическим окружением расширяет рамки грамматики. В сферу функциональной грамматики, направленной на изучение функционирования грамматических единиц, вовлекается все то, что взаимодействует с собственно грамматическими системами в области лексики и контекста. Поэтому функциональная грамматика включает описание всех взаимодействующих с грамматическими единицами явлений, относящихся к области функциональной лексикологии. Жестких границ здесь нет. Функциональная грамматика при широком истолковании ее предмета фактически перерастает в *функциональное изучение строя языка в целом*.

Итак, грамматические единицы, классы и категории как системы должны изучаться вместе с той средой, которая их окружает и с которой они взаимодействуют. В теории функциональной грамматики отсюда вытекает постановка вопроса о той единице в строе языка и о соответствующей единице анализа, которая включала бы как изучаемые грамматические формы и категории, так и их среду. Такой единицей в области функциональной грамматики, на наш взгляд, являются ФСП. Взаимодействие системы и среды (в обоих ее аспектах — как парадигматическом, так и

синтагматическом) представляет собой важнейший интегративный фактор формирования ФСП.

В понятии ФСП перекрещиваются линии, идущие, с одной стороны, от понятия «функция», а с другой — от соотношения системы и среды. Первая линия связи: поле строится на общности функций; эта общность преодолевает тенденцию к разъединению языковых средств, различных по своей структуре и уровневой принадлежности; от функционального взаимодействия структурно разнородных средств в речи исходит абстракция, ведущая к понятию ФСП, проецируемому на парадигматическую систему языка.

Вторая линия связей (от соотношения «система — среда» к ФСП) тесно связана с первой: именно взаимодействие системы и среды создает условия для реализации функций, охватываемых данным полем. Грамматические системы (одна или несколько), выступающие в роли центра взаимодействия и интегрирующие лексико-грамматические и лексические элементы среды, вместе с этой средой образуют те единства, которые мы называем ФСП.

<...> Обращение к понятию «среда» имеет принципиально важное значение для *объяснения* языковых систем. Ни одна частная система в языке не может быть объяснена достаточным образом, если она рассматривается сама по себе, изолированно, если анализ обращен лишь к внутрисистемным отношениям. Исследование приобретает необходимую объяснительную силу лишь в том случае, когда изучение внутрисистемных отношений дополняется анализом отношений между системой и средой. <...>

Г.А. Золотова

ОЧЕРК ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНТАКСИСА РУССКОГО ЯЗЫКА

(М., 1973)

Введение

<...> Синтаксис — это раздел грамматики, ведающий построением речи. Если иметь в виду синтаксический строй языка, то

это объективно существующая система синтаксических средств и правил их использования, находящаяся в распоряжении говорящего коллектива. Если иметь в виду синтаксическую науку, то это воплотившиеся в различных теориях усилия человеческой мысли, с переменным успехом поступательно приближающейся к адекватному постижению этой системы.

В отличие от других «уровней» или «ярусов» языка <...> синтаксис непосредственно соотносится с процессом мышления и процессом коммуникации: единицы других уровней языковой системы участвуют в формировании мысли и коммуникативном ее выражении только через синтаксис. В этом специфика синтаксиса как реального явления и как научного объекта. Этим определяется его роль как «организационного центра грамматики».

Этим же определяется необходимость единого функционального критерия для всех синтаксических средств, единиц, конструкций: предстоит определить, какова роль каждого (каждой) из них в построении связной речи, в процессе коммуникации, «что — для чего?» Следуя таким путем, можно, по-видимому, достигнуть адекватности объекта и метода изучения, к которой, естественно, стремится всякая наука. Стремление найти методы, наиболее соответствующие объекту изучения, должно служить и более глубокому постижению специфики объекта, отличного от объектов других областей языкознания.

Именно понятие функции представляется тем звеном в синтаксической теории, внимание к которому помогло бы этому стремлению осуществиться.

Важность для синтаксиса понятия функции отмечается многими современными учеными. Так, А. Мартине считает функции центральной проблемой синтаксиса. Представляются чрезвычайно плодотворными идеи Мартине о необходимости «расположить все факты языка в соответствии с ролью и важностью каждого из них в языковом хозяйстве» («вместо того, чтобы пытаться доказывать вескость своих собственных структуральных теорий за счет языка»), о необходимости строить грамматическую классификацию «на основе комбинаторной потенции (*latitude combinatoire*) знаков в цепи».

Понятие функции, глоссематиками (Ельмслев, Тогебю и др.) привнесенное в лингвистику с математическим значением отно-

шения, становится понятием, вытекающим из сущности языка, выражающим роль того или иного языкового элемента в коммуникативном акте соответственно тому принципу функциональности, который в свое время был выдвинут И.А. Бодуэном де Куртенэ.

Наибольшая заслуга в разработке понятия функции принадлежит Пражской лингвистической школе, для которой функционализм — основа научной методологии.

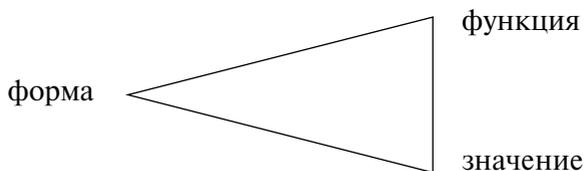
Исходя из признания языка орудием коммуникации, Пражская школа различает степени коммуникативной значимости единиц разных уровней языка. Собственно коммуникативную функцию выполняют синтаксические единицы, элементы других уровней приобретают коммуникативную значимость лишь через единицы синтаксического уровня.

Понятие функции, пишет Ф. Данеш, в работах которого четко выражены современные методологические принципы Пражской школы, заключает в себе и цель и средство (если нечто служит как средство для цели F, то мы говорим, что это нечто имеет функцию f). Поскольку речь идет о свойстве, функция всегда предполагает явление-носитель («функция чего?»). Именно в этом надо видеть сущность функциональной лингвистики, а вовсе не в том, что она предпочитает подход «от функции к средству»: при функциональном методе в одинаковой мере можно отправляться от явления («средства») к его функции. Глобальная внешняя функция языка — служить для производства высказываний, но различные частные лингвистические средства выполняют эту функцию разными путями. Только единицы высшего уровня структурной иерархии (предложение) функционируют непосредственно как высказывания, тогда как средства низших уровней действуют только опосредованно: любой уровень в отношении низшего уровня выступает как сфера его функций, тогда как в отношении следующего, высшего уровня он выступает как сфера его средств.

К телеологическому (целевому) пониманию функции, разработанному Пражской школой, по существу близко и семиотическое понимание функции, исходящее из знаковой теории. Дихотомические формулы «средство — цель» (форма — функция) и

«означающее — означаемое» (форма — значение) имеют общий первый компонент, однако и вторые компоненты оказываются не противопоставленными друг другу, поскольку под функцией разумеется выражение внеязыкового содержания, т.е. то же значение.

Между тем именно применительно к синтаксису обнаруживается небесспорность иерархического понимания отношений «средство — функция». Помимо внешней, обращенной вне языка, функции выражения отношений реальной действительности, у синтаксических средств должны быть собственно языковые, синтаксические, строительные, комбинаторные функции. С другой стороны, эти функции не могут выполняться средствами морфологии, у синтаксиса должны быть свои собственные строительные, строевые единицы. При таком подходе функция и значение разграничиваются, и теоретическая проблематика синтаксического исследования схематически может быть представлена в виде некоторого треугольника:



Предстоит уточнить понятия, составляющие вершины треугольника, и выяснить характер взаимоотношений между ними.

3. Исходя из общей коммуникативной функции синтаксиса, определим функцию синтаксических единиц как роль их в построении коммуникативной единицы — предложения. Функция, таким образом, выражает отношение синтаксической единицы к коммуникативной единице.

Качественно различные способы участия в процессе коммуникации, в построении связной речи и, соответственно, различные типы отношения к коммуникативной единице составят основание для классификации синтаксических единиц.

Синтаксическая единица может быть равна коммуникативной единице. Служить выразителем коммуникативного акта —

основная функция простого предложения. Вместе с тем предложение может составлять конструктивную часть коммуникативной единицы, если оно служит элементом организации сложного предложения или даже простого в тех случаях, когда целое предложение замещает слово (форму слова) в другом предложении, ср., например:

- (1) Блажен, *кто верует* (Грибоедов).
- (2) Кого *люблю*, не дождусь (Русская песня).
- (3) Задумал я узнать, *прекрасна ли земля* (Лермонтов).
- (4) *Куда ни оглянусь*, повсюду рожь густая (Майков).
- (5) Мы ускорили шаги, *чтобы ночь не застала нас в лесу* (Чехов).
- (6) Глаза у судьбы — *пара жестянок мерцает в помойной яме* (Маяковский).
- (7) Сани здесь — *подобной дряни не видал я на веку* (П. Вяземский).
- (8) И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: *«Мальчик, воды»* (Л. Андреев).
- (9) Варенька поет ему *«Вьют ветры»* (Чехов).
- (10) То, как мы вместе ходили когда-то на каток и как ветер доносил до нее слова *«я люблю вас, Наденька»*, не забыто (Чехов).

Наблюдая простое предложение в его строевых, комбинаторных функциях, замечаем, что его положение в разных случаях различно. Примеры (1), (6—8) представляют случаи, когда простое предложение, выделенное курсивом, служит одним из предикативных центров того предложения, которое в целом выполняет роль коммуникативной единицы (ср.: *Звучало отрывистое приказание, Блажен верующий, Сани дрянные*); в примерах (2—3), (9) простое предложение выступает как обязательный распространитель, или, точнее, восполнитель определенного слова неполной, релятивной семантики (ср. *не дождусь любимого, поет песню*); в примерах (4—5), (10) простое предложение не является необходимым структурно, но распространяет целое нужным для говорящего смыслом.

Если опустим подчеркнутую часть целого, выраженную простым предложением, то в примерах (1), (6—8) структура комму-

никативной единицы разрушается, в примерах (2—3), (9) остается незаконченным, «повисает в воздухе» смысл релятивных глаголов, в примерах (4—5), (10) оставшееся, главное предложение не несет структурного ущерба, но обедняется или нарушается общее содержание целой коммуникативной единицы. Очевидно, что во всех трех случаях строевые функции простых предложений различны: различно назначение их в построении целой единицы, различны степень обязательности, структурной и смысловой. Комплекс этих различительных признаков и заключается в понятии синтаксической функции.

Если предложение функционирует как основная синтаксическая единица на коммуникативной ступени синтаксиса, то на докоммуникативной ступени, на ступени строительного синтаксического материала за первичную, минимальную единицу синтаксиса принимаем синтаксическую форму слова <...>. Синтаксические единицы докоммуникативной ступени обнаруживают аналогичные строевые возможности в отношении к коммуникативной единице.

Одни из них, будучи предикативно соотнесенными с действительностью, способны образовать предложения, следовательно, функционировать как коммуникативные единицы (личные формы глагола, имя в именительном падеже: — *Спишь?* — *Не сплю. Весна. Заречь*; имена в некоторых падежных и предложно-падежных формах также употребляются как своеобразные номинативные предложения: *На площади, седьмого ноября*. Те же синтаксические формы слова могут служить и конструктивными частями предложения, одним из его предикативных центров, и распространителями: *Что ты спишь, мужичок? Весна идет. Сбор на площади. Пылают знамена на площади Красной. Перед зимой не знают, Что мир перед зимой* (С. Кирсанов).

Другие синтаксические формы слов, не способные самостоятельно выступать в качестве коммуникативных единиц, функционируют как конструктивные части предложения или распространители его конструктивных частей (причастия и деепричастия, прилагательные, некоторые падежные и предложно-падежные формы имени): *Колокольчик однозвучен; Колокольчик однозвучный утомительно гремит; Дремля смолкнул мой ящик* (Пушкин); *Душе*

не до сна (Блок); *С хлебом трудно* (В. Инбер); *У тебя и сын и сад* (А. Вознесенский).

Синтаксические формы третьей разновидности выступают лишь как распространители слова, без которого они не могут войти в предложение, следовательно, их синтаксическое функционирование характеризуется неспособностью выступать ни как самостоятельная коммуникативная единица, ни как ее конструктивная часть. Так, имя в винительном падеже, управляемое переходным глаголом, имя в творительном, управляемое глаголами семантической группы «руководства», имя в родительном, управляемое глаголами с «отложительной» и «достигательной» семантикой, войдут в любое предложение, независимо от его типа, лишь вслед за «своим» глаголом, как восполнители его релятивной семантики, а не как самостоятельно конструирующие предложение части. Например: *Белка песенки поет, Золотой орех грызет* (Пушкин). *Орех* и *песенки*, имена в винительном падеже, не могут стать конструктивными частями предложения без управляющих ими глаголов, но остаются распространителями этих глаголов в любой их форме и при любой их роли в предложении (*Пой песенки; Поющая песенки белка грызет орех; Грызя орех, поет песенки; Петь песенки нетрудное дело; Ей нравится петь песенки* и т.п.).

Если вспомнить, что первоначальное значение древнегреческого слова ‘синтаксис’ — ‘военный строй’, может быть, будет уместным провести, хотя и отдаленную, аналогию с функциями единиц, составляющих этот строй: всадник участвовал в его составе на коне, но самостоятельно действовал и без коня, конь нес всадника, но самостоятельно не действовал, конь вез повозку, но повозка не могла войти в строй без коня.

Однако важно увидеть не только качественное различие в функциях синтаксических единиц, но и определенный параллелизм их функций на коммуникативной и докоммуникативной ступенях синтаксиса. Отношение синтаксических единиц обеих ступеней к коммуникативной единице позволяет установить три основных типа синтаксических функций:

I — синтаксические единицы функционируют самостоятельно;

II — синтаксические единицы функционируют как конструктивная часть (компонент) коммуникативной единицы;

III — синтаксические единицы функционируют как зависимый компонент конструктивного компонента.

Для предложения I функция является первичной и основной, II и III — вторичны, употребление предложения в позиции, замещающей слово, — окказионально. Употребление предложения в той или иной функции не зависит от его структурного типа, если не считать некоторых ограничений, связанных с построением сложного предложения.

Что же касается строевых элементов, синтаксических форм слов, то в целом они представляют все три функции, но каждый тип отличается от других набором своих функций, первичных и вторичных, т.е. синтаксической функцией и определяется принадлежность синтаксических форм к тому или иному типу, их типология. <...>

Таким образом, единая целенаправленность деления, в каждой ступени которого находит частичное выражение общая коммуникативная функция синтаксиса, обнаруживает известную изофункциональность, параллелизм функций между классами разных структур: предложений и первичных строевых элементов.

Эта изофункциональность позволяет представить сложную и вместе с тем гибкую, подвижную структуру синтаксиса современного русского языка в его внутреннем единстве.

Предлагаемое понимание синтаксической функции не только отличает развиваемую здесь синтаксическую концепцию от других известных автору, но и представляется необходимым условием анализа языковых явлений на синтаксическом уровне. Сказанное объясняет заглавие книги и должно предостеречь читателя от неверного восприятия заглавия в духе более привычных противопоставлений функционального — формального, функционального, актуального, динамического — структурному, статическому и т.п.

Известный факт неоднозначности и перегруженности термина «функция», как, впрочем, и многих других терминов в современной лингвистике, не уменьшает роли самого понятия функции для синтаксической теории и не снимает задачи дальнейшей его разработки.

4. Взаимоотношения между функцией и значением в синтаксисе — это, по существу, проблема взаимоотношений синтаксиса и семантики, всем ходом развития мировой лингвистики выдвинутая сейчас в число наиболее актуальных проблем.

Всеобщий интерес к значению в современном языкознании, сменивший попытки «устранения семантики» некоторыми лингвистическими направлениями и давший уже значительные результаты (см. работы Ю.Д. Апресяна, А.К. Жолковского, И.А. Мельчука, Д.Н. Шмелева, В.Г. Гака, Т.Б. Алисовой, У. Вайнрайха, Л. Вайсгербера, Ф. Данеша, Ч. Филлмора, А. Вежбицкой и др.), требует от синтаксической теории решения ряда острых вопросов.

На теперешнем этапе уже не надо доказывать законность прав семантики на внимание исследователей синтаксиса. Признание связей языка и внеязыковой действительности объединяет лингвистов разных направлений. Если синтаксические средства языка служат формированию и выражению мысли, а в речи — мысли находят отражение и обобщение явления и отношения объективной действительности, то семантическая структура предложения, представляющая языковыми средствами тот или иной тип категориальных связей действительности, подлежит ведению языкознания, а не логики. Семантическая структура предложения оказывается такой же языковой реальностью, как и грамматическая структура.

На очереди — выяснение характера взаимоотношений между грамматической и семантической структурой, выявление тех языковых средств, в которых это взаимоотношение осуществляется, наконец, определение тех языковых единиц, в которых семантическая структура предложения находит свое воплощение.

Поиски в этом направлении требуют, естественно, проверки и уточнения некоторых традиционных синтаксических понятий, тем более, что в существующих синтаксических концепциях целый ряд вопросов признается нерешенными или спорными.

Для того, чтобы подступить к поставленным задачам, представляется необходимым прежде всего обратиться к понятию **формы**.

Что считать в синтаксисе формой, средством, структурой, носителем функции и значения? Дискутируя проблемы функции

и значения, обычно исходят из предположения, что форма, структура — величина известная. Понятие формы, структуры в существующих представлениях занимает прочное место в оппозиции «формальное, структурное, грамматическое — семантическое, лексическое, неграмматическое».

В принятых способах записи синтаксической формы символически обозначается принадлежность ее к классу частей речи и одна из морфологических форм, присущих данному классу, — т.е. собственно морфологическая информация. Если записывается структура предложения, то добавляются стрелки или другие знаки, указывающие на иерархию связей между элементами, например: $N_1 \rightarrow VF \rightarrow N_4$.

Предполагается, что такого типа формула выражает наиболее абстрактный, собственно грамматический «уровень» структуры предложения. Между тем имеется достаточно оснований сомневаться в адекватности формулы синтаксическим реалиям.

Любая синтаксическая структура характеризуется не только наличием связей между элементами, но и характером связей. Сама идея формулы предполагает, что обобщенные в ней структуры безразличны к лексическому наполнению, что характер связей между ее элементами в различных манифестациях данной структуры остается неизменным. В действительности это не так. Сравним предложения, которые могут быть подведены под названную формулу:

- (1) *Отец читает газету,*
- (2) *Отца отличает строгость.*

Нельзя не заметить собственно структурных различий между ними: в примере (1) так называемые главные члены образуют структурный и смысловой минимум предложения (*Отец читает*), в примере (2) не образуют (**Строгость отличает*), структурная роль так называемого дополнения в вин. падеже в (1) и (2) различна; в (1) глагол выполняет роль самостоятельного, знаменательного компонента, в (2) — глагол выполняет вспомогательную роль; в примере (1) схеме соответствует нормальный, нейтральный порядок слов, в (2) — инверсированный. Очевидно, что морфологических показателей для представления синтаксической структуры недостаточно.

Структурные различия между предложениями (1) и (2) сопоставимы с семантическими различиями: в (1) предикативно сопряжены название субъекта (агента) и его действия, переходящего на объект, во (2) предикативно сопряжены название предмета (лица) и его признака. Значению компонентов предложений соответствует значение категориальных подклассов частей речи, способных участвовать в данных предложениях: категорий имен со значением лица, предмета, признака, категорий глагола со значением конкретного действия или вспомогательным значением отношения. Следовательно, отбор лексического (точнее — семантического, категориально-обобщенного) материала для той или иной структуры небезразличен. Более того, категориальными значениями слов *отец* и *строгость* предопределяются разные структурные возможности образуемых ими форм: *отец* может быть агентом, субъектом состояния, *строгость* не может, *строгость* выполняет роль компонента со значением свойства, качества лица, может определяться с точки зрения степени; формам слова *отец* это не свойственно. Значит, формы каждого из этих слов (и соответственно — подклассов, которые они представляют) войдут в разные синтагматические связи и парадигматические ряды. Отбор языковых средств влияет и на собственно организацию. Разница между рассмотренными предложениями в порядке слов также обусловлена разницей в значении: для формы винительного объекта характерна постпозиция, для формы винительного характеризуемого субъекта — препозиция.

Таким образом, между семантикой предложения и его структурой обнаруживаются причинно-следственные связи. <...>

Проблема полноценности синтаксического описания связывается при этом, несмотря на различие подходов, с вопросом о членах предложения. На нем необходимо остановиться и потому, что для многих авторов соотносительность формы и функции претворяется в соотносительность частей речи и членов предложения, а иногда и в соотносительность морфологии и синтаксиса вообще.

Плодотворность теории членов предложения, основанной скорее на логико-морфологических признаках, чем на собственно синтаксических, давно подвергалась сомнению. Дело в том, что традиционные амплуа членов предложения не отражают их

действительной роли в построении предложения. Выше это было показано на примере *Отца отличает строгость*. Если структуру этого предложения представить в терминах «членов предложения» (подлежащее — сказуемое — прямое дополнение), мы получим по существу ту же морфологическую информацию, что и из формулы $N_1 \rightarrow VF \rightarrow N_4$, потому что морфологическими признаками, а не конструктивной функцией компонентов обусловлено распределение ролей: «члены предложения» оказываются вторым названием тех же морфологических явлений. Но в синтаксическом построении высказываемой мысли конструктивная роль принадлежит названию характеризуемого лица и названию присуждаемого ему данным высказыванием признака, а не подлежащему и сказуемому.

Можно привести примеры многих русских предложений, вообще не содержащих «главных членов» — ни личного глагола-сказуемого, ни имени в номинативе — подлежащего, но тем не менее являющихся полноценными, независимыми от контекста единицами коммуникации, не окказиональными, но представляющими определенные модели: *В доме ни души; Воды — по колено; Ему не до уроков; Ей за тридцать; У каждого по яблоку, С бумагой туго; У него ни кола, ни двора* и т.д.

В каждом из этих предложений сопряжены предикативной связью два взаимообусловленных компонента, содержащих значения носителя признака и предиктируемого признака, значения не логические, а выраженные определенными словоформами. Только морфологическая предвзятость мешает нам признать в них двусоставные предложения с наличными, а не подразумеваемыми главными членами. Реальная действительность языка не укладывается в традиционную теорию. А если это так, то критерии выделения главных членов предложения, действительных организаторов предикативного минимума предложения, нуждаются в пересмотре или уточнении.

Очевидно, что только сочетание морфологических показателей с семантическими показателями может приблизить нас к пониманию собственно синтаксической структуры. Поэтому представляются весьма перспективными поиски соотносительности в предложении грамматических признаков с семантическими.

До сих пор, однако, грамматическая и семантическая структуры рассматриваются как два параллельных уровня, как два разных этажа. <...>

Как бы ни оправдывать методическими соображениями расчленение объекта изучения, нельзя не видеть, что в реальном предложении нет двух структур, нет двух синтаксисов. Остается опасение, что раздвоение синтаксической структуры закрепляет противопоставление морфологии и логики, морфологии и семантики. Между тем задачей синтаксического исследования языка представляются поиски тех связей между формой и содержанием, тех средств выражения содержания, тех значений форм и способов выражения значений, неразрывное единство которых осуществляется в синтаксическом построении.

Если мы признаем, что имя в винительном падеже, N_4 , может обозначать характеризуемый предмет (лицо), носитель признака в той структуре предложения, где отвлеченное, со значением качества, имя в именительном падеже, N_1 , предикативно сопрягается с ним посредством вспомогательного глагола *отличает (характеризует)*, то все эти уточнения мы должны ввести в запись синтаксической структуры <...>

Воля исследователя — конструировать объекты любого «уровня», но отрыв от синтаксических реалий языка ограничивает возможности восприятия изучаемых явлений во всей полноте присущих им признаков и не способствует преодолению теоретических трудностей. Очевидно, учитывая необходимые семантические показатели, мы достигаем той степени грамматической абстракции, с которой и целесообразно рассматривать объекты синтаксического исследования. Признавая, что синтаксические средства языка призваны служить потребностям смысла, нельзя не видеть неотделимое участие семантики в единицах всех ступеней синтаксиса. В отношении синтаксиса можно утверждать, что семантическое не только не противостоит грамматическому, но составляет его неотъемлемый компонент.

5. За первичные элементы принимаются, как сказано выше, синтаксические формы слова.

Вопрос о первичной единице синтаксиса не относится к числу решенных однозначно. Речь идет о тех единицах, из которых

формируются и на которые соответственно членятся предложения, о единицах, которые были бы носителями элементарных смыслов и вместе с тем — дифференциальных синтаксических признаков. Это последнее условие — различия в собственно синтаксических функциональных свойствах — должно быть тем критерием, которым и здесь определится необходимая степень абстракции.

Ни слово, ни часть речи этому условию не отвечают: разные формы той или иной части речи очевидно различаются синтаксическими возможностями, достаточно сопоставить личные и неличные — инфинитивные, причастные, деепричастные — формы одного ли глагольного слова или всей категории глагола.

Именно форма слова как строительная единица синтаксиса получает в последнее время признание лингвистов. Дискуссионным и в этом случае остается вопрос о степени грамматического обобщения, иначе говоря, о допустимости семантических показателей при морфологической форме слова. Если действующей в синтаксисе единицей считать, положим, падежную форму имени, например N_5 , «тв. п.», «в отвлечении от ее лексического наполнения» — это значит принять следующие условия:

- 1) данной форме соответствует определенная синтаксическая функция или определенный набор синтаксических функций, противопоставленных функциям другой формы;
- 2) эта синтаксическая функция или одинаковый набор функций характеризует каждое, без семантических различий, слово, выступающее в данной форме.

Однако подобные условия не отвечают языковым фактам. Ни одна падежная форма не характеризуется единственной синтаксической функцией, а одинаковые наборы функций не принадлежат любому слову в данной падежной форме. Кроме того, в пределах одного падежа возможны противопоставления разных функций, а равнозначные функции могут выполняться словами в разных падежных формах.

Из самой языковой действительности вытекает необходимость считаться с двумя фактами: разнофункциональностью одной падежной формы и избирательностью функций по отношению к разным группам слов, принявшим данную падежную фор-

му. Объяснить эти явления можно лишь в том случае, если искать, во-первых, принципы группировки слов и, во-вторых, соответствия между группами — носителями функций и функциями. Обнаруживается, что существительные в одной морфологической форме при разном семантическом содержании отличаются различной сочетаемостью, различными синтаксическими свойствами.

Синтаксические потенции «собственно формы», в морфологическом смысле, оказываются иллюзорным понятием, реально можно говорить только о синтаксических свойствах семантических классов слов, облеченных в ту или иную морфологическую форму. <...>

Сравним формы имен в дательном падеже с предлогом *по*: а) *по скатерти, по балкону*; б) *по рассеянности, по закону*.

Морфологическая общность не скрывает ни того, что формы (а) и (б) различны по значению, ни того, что это формы разных семантических категорий слов. Формой (а), обозначающей путь движения, располагает ряд существительных со значением конкретного предмета, обладающего пространственной протяженностью (например, *по тропе, по полу, по полю, по столу, по плечу*, но не: *по точке, по искре, по теплу, по жадности* и т.п.). Формой (б) со значением причины — основания располагает ограниченный ряд отвлеченных имен (например, *по болезни, по невнимательности, по недосмотру, по ошибке*, но не: *по простуде, по вежливости, по опозданию* и т.д.; *по закону, по приказу, по решению, по желанию*, но не: *по запрещению, по обсуждению* и т.п.). Сочетания *ехать по проселку* и *ехать по приказу* аналогичны с точки зрения морфологической, но различны с точки зрения синтаксической, поскольку включают в свой состав разные синтаксические формы имени. Формы имени в дательном падеже с предлогом *по* не только различаются по общему своему значению (пути движения и причины — основания действия), но само это значение вытекает из того, что та и другая формы образуются разными семантическими группами существительных, представляющими одна — категорию конкретных имен, другая — категорию отвлеченных имен. Существительные той группы, которая образует одну из синтаксических форм «по + дат. п.», не могут стать на

место существительных, образующих другую синтаксическую форму.

<...> Сочетание *пишу перу* невозможно, очевидно, потому, что синтаксической формы типа *перу* со значением адресата нет: в создании такой формы участвуют существительные, называющие лицо или предмет как коллективное лицо (*писать матери, писать семье*). <...>

Собственно говоря, у понятий «морфологическая форма слова» и «синтаксическая форма слова» только одна совпадающая грань — флексия того или иного падежа в том или ином слове. Во всем остальном эти категории формируются различным комплексом признаков и лежат в разных плоскостях. На уровне синтаксиса единое понятие падежа распадается. <...>

6. Синтаксическая система русского языка в самом общем виде представляется следующим образом. На докоммуникативной ступени синтаксис располагает определенным ассортиментом средств обозначения элементарных смыслов (синтаксических форм слова), при этом каждая из синтаксических форм обладает определенными функциональными, комбинаторными (синтагматическими) свойствами и находится в определенных смысловых и функциональных парадигматических рядах, обеспечивающих говорящему возможность выбора. <...>

Г.А. Золотова

КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ РУССКОГО СИНТАКСИСА

(М., 1982)

Соотношение лексики, морфологии и синтаксиса в категории частей речи и в системе русского языка

1. Разрабатываемая современной лингвистикой уровневая стратификация языковой системы представляет интерес как абстрагирующий конструкт. Вместе с тем разделение языковых явлений «по уровням» схематически упрощает действительную картину, оставляя за пределами статической схемы динамику «меж-

уровневых» взаимодействий, осмысление которых открывает некоторые возможности систематизации синтаксических явлений.

Идея взаимодействия лексики и грамматики — одна из наиболее плодотворных идей в русской лингвистической традиции, для нынешнего поколения лингвистов связанная прежде всего с именем В.В. Виноградова, крупнейшего филолога нашего времени.

Современные научные представления позволяют увидеть стержневую роль этого взаимодействия в строе языка. Линии связи лексики, морфологии и синтаксиса фокусируются в понятии частей речи, в которых получают языковое выражение основные общественно осознанные категории явлений и отношений объективной действительности и — соответственно — категории человеческого мышления: предмета (предметности, субстанции), действия (процесса), качества (признака), количества и т.д.

Известно, что лексико-грамматические категории частей речи выделяются по совокупности признаков: семантических, морфологических (включая словообразовательные), синтаксических. Так, например, характеризуя имя существительное как часть речи, мы говорим о его категориальном значении предметности, о присущих ему морфологических категориях рода, числа, падежа, о типичных его словообразовательных моделях, о синтаксической функции. Последний признак раскрывается обычно менее определенно и менее информативно, чем другие. В Академической грамматике 1952 г., например, о существительном говорится, что оно выступает прежде всего в качестве подлежащего или дополнения, употребляется в составе именного сказуемого, а также может быть определением или обстоятельством — иначе говоря, существительное может употребляться в любой синтаксической функции (не перифраза ли это морфологического признака, наличия падежной парадигмы?).

В Грамматике-70 (§ 759) в числе признаков частей речи называется «тождественность синтаксических функций». Если сопоставить этот признак со способностью существительного употребляться в «любой функции», то остается непонятным, что чему тождественно. Вряд ли справедливо приписывать тождественность каких бы то ни было функций существительным как целому классу.

Если обратиться к материалу, то можно увидеть, что разные группы существительных по-разному проявляют себя в синтаксисе, и это зависит прежде всего от их значения.

Так, имена лиц (*студент, пахарь, каменщик, мать, друг, бегун, директор* и т.п.) преимущественно будут встречаться в позиции агенса, действующего субъекта или субъекта — носителя состояния, признака.

Имена предметов (*камень, книга, глина, цветы, нож, хлеб*) чаще всего будут и называть те предметы, которые становятся объектами человеческой деятельности. Если имя неодушевленного предмета в именительном падеже оказывается в позиции подлежащего, оно не обозначает деятеля, потому что предмет лишен способности действовать; в такой позиции имя предмета выступает как имя носителя признака (*Камень — мокрый; Книга — в кожаном переплете; Цветы душисты; Нож — охотничий*). В предложениях, где с этими именами сопрягается глагол-сказуемое, тоже нет сообщения о действии: глагол сообщает либо о наличии, существовании предмета (*Солнце светит; Ручей журчит; Трава зеленеет*), либо о предназначенном функционировании предмета (*Часы идут; Станок работает; Телефон звонит*; если *Часы не идут; Телефон не звонит* — значит, предмет неисправен или выключен, не функционирует).

Имя предмета в именительном падеже может обозначать орудие — каузатор действия (*Камень разбил окно; Нож пропорол ему куртку* — ср. с творительным орудийным: *Окно разбили камнем; Куртка пропорота ножом*). Предложения *Камень разбил окно — Мальчик разбил окно (Бульдозер разравнивает дорогу — Рабочие разравнивают дорогу)* не представляют идентичной структуры, хотя способны и к похожим синонимическим преобразованиям: *Окно разбито камнем — Окно разбито мальчиком; Дорога разравнивается бульдозером — Дорога разравнивается рабочими*. Различия в составе компонентов этих предложений — имя субъекта и имя орудия — обнаруживаются как в синтагматическом ряду (ср.: *Мальчик разбил окно камнем; Рабочие разравнивают дорогу бульдозером* — при невозможности иного соотношения именительного — творительного), так и в парадигматическом (творительный орудийный синонимичен другим — отличным стилистически — спосо-

бам оформления орудийного компонента: *при помощи, с помощью, посредством бульдозера, мяча*).

Имена отвлеченного значения (*движение, строительство; реальность, волнение, крутизна, лень, доброта*) не могут обозначать деятеля, субъекта: называемые ими понятия не могут действовать, они сами обозначают действия, состояния, признаки. Чтобы синтаксически реализовать свои значения, эти слова должны сочетаться в тех или иных моделях либо с названием субъекта — носителя признака, состояния (*Он — в волнении; Он — сама доброта*, или *Его отличает доброта; Он отличается добротой; Его главное качество — доброта*), либо, в значении причины, каузирующей другое состояние, действие, качество, — с названием каузируемого явления (*красный от волнения, забыл от волнения, подозрителен от ревности, убил из ревности, не сделал из-за лени, равнодушный от лени* и т.п.).

Если отвлеченное имя в именительном падеже оказывается в позиции подлежащего, оно не становится названием деятеля: оно может быть каузаторм другим явлением (*Движение укрепляет сердце; Ревность рождает подозрительность; Лень мешает ему думать*). Действие, состояние, качество могут получать количественную, по степени интенсивности, характеристику (*Движение ускоряется; Ревность возрастает; Строительство становится интенсивнее; Волнение утихло*), фазисно-модальную характеристику (*Движение прекратилось; Движение должно прекратиться; Строительство закончено; Строительство необходимо; Началось волнение*) либо оценочную характеристику (*Движение — отличное; Ревность вредна; Строительство ведется образцово*).

Нельзя не провести параллель с признаками действий, состояний, качеств, выраженных другими частями речи. Ср. выражение каузативных отношений: *Двигаясь, мы укрепляем сердце; Ревнивый становится подозрительным; Ревнуя, он стал подозрительным; Добрый, он уступил; Он ленится думать* и т.д.; количественных отношений: *Он движется быстрее; Он ревнует сильнее; Мы строим интенсивнее; Он почти не волнуется*; модально-фазисных отношений: *Прекратили двигаться; Должны кончить строить; Могут разволноваться*; оценочных отношений: *Двигутся отлично; Строите образцово; Ревновать — вредно* и т.п.

Вряд ли целесообразно, поддаваясь чисто морфологическому видению явлений, находить, как это иногда делают, в предложении, например, *Охота на тигров требует большого мужества*, в слове *охота* — предмет — производитель действия, а в слове *требует* — производимое им действие, распространяющееся на предмет *мужество*. *Охота* остается названием действия, *мужество* — названием качества, глагол *требует* в подобной конструкции не обозначает действия, а выражает модально-условное отношение между действием и качеством. Ср. синонимические конструкции: *Для охоты на тигров необходимо мужество*; *Чтобы охотиться на тигров, надо быть мужественным*; *Если хочешь охотиться на тигров, ты должен быть мужественным*; *Только мужественный человек может охотиться на тигров* и под., где сохраняются одноименные, но разнооформленные компоненты: действие, качество (лица), вербализуются значение лица (*ты, человек*), имплицитно присутствующее в первом примере как носитель качества *мужество* и как субъект действия *охота*, и вербализуются модально-условные отношения между действием и качеством.

Не перечисляя всех возможных синтаксических позиций для тех или иных разрядов слов, отметим:

- 1) Синтаксические потенции слов разных разрядов реализуются в различных семантико-синтаксических конструкциях, что не позволяет говорить о единых синтаксических функциях всего класса существительных.
- 2) С точки зрения синтаксического функционирования существительных два имеющих в языке основания для классификации слов, взаимодействующие и пересекающиеся:
 - а) классификация по частям речи, общеграмматическая: существительные, прилагательные, глаголы, наречия и т.д.;
 - б) классификация категориально-семантическая: названия предмета (*белок, дым, певец, мыло, умывальник*), свойства (*белый, белизна, дымный, дымность, мыльность, мылкий*), действия (*белить, мыть, мылить, петь, побелка, намыливание, мытье, пение*), названия признака признака (*набело, добела, певуче, дымно*) и более частные: названия лица, орудия, отрезков времени, явлений природы и т.д.

Принадлежность слова к классам категориально-семантическим определяет его семантико-синтаксическое назначение, ролевые позиции, которое оно, облеченное в соответствующие грамматические формы, способно занять в тех или иных моделях предложения. Принадлежность слова к частям речи определяет морфологические формы, в которых получают выражение семантико-синтаксические отношения между словами в данном языке. В конечном счете различия в синтаксических потенциях слов предопределяются свойствами той категории предметов, явлений или признаков, которую они представляют в языке. <...>

- ✓ **Задание.** Сравнив две представленные грамматические концепции, определите, что является основанием для их сближения? Чем определяется своеобразие каждой из разрабатываемых грамматик?

Дополнительная литература

- *Бондарко А.В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. М., 1998 [или предыдущее издание].
- *Бондарко А.В.* Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.
- *Золотова Г.А.* Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. 2-е изд., испр. М., 2001 [или предыдущее издание].
- *Кибрик А.А., Плунгян В.А.* Функционализм // Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления / Под ред. А.А. Кибрика и др. 2-е изд., испр. и доп. М., 2002 [предыдущее издание — 1997 г.].
- *Кубрякова Е.С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века. М., 1995.
- *Тестелец Я.Г.* Введение в общий синтаксис. М., 2001 (Гл. «Функциональная синтаксическая типология»).
- *Лайонз Дж.* Лингвистическая семантика. Введение. М., 2003.

Тема 3

ДИСКУРСИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

- ✓ **Задание 1.** Сравните различные подходы к определению понятия «дискурс», разрабатываемые в мировой и отечественной лингвистике.

Попробуйте определить возможные направления дискурсивных исследований, учитывая различия в толковании термина *дискурс*:

- Какие изменения претерпела трактовка понятия «дискурс» за время своего существования?
- Какие проблемы являются наиболее актуальными на данном этапе развития дискурсивных исследований в отечественной и мировой лингвистике?

I. «Дискурс — многозначный термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных. Важнейшие из них: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность — письменная или устная» [Т.М. Николаева, 1978];

II. «...дискурс, в широком смысле слова, является сложным единством языковой формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события или коммуникативного акта. Преимущество такого понимания состоит в том, что дискурс, нарушая ситуативные или лингвистические подходы к его определению, не ограничивается рамками конкретного языкового высказывания, то есть рамками текста или самого диалога. Анализ разговора с особой очевидностью подтверждает это: говорящий и слушающий, их личностные и социальные характе-

ристики, другие аспекты социальной ситуации, несомненно, относятся к данному событию. <...>

В письменных или печатных типах дискурса такая интеракционная природа этого явления менее заметна: писатель, текст, читатель находятся не в таком тесном взаимодействии в пределах единой ситуации, локализованной в пространстве и времени, но даже и в этом случае следовало бы проанализировать тексты с точки зрения динамической природы их производства, понимания и выполняемого с их помощью действия. <...> при определении значения дискурса, нужно учитывать знания, общедоступные для участников коммуникации, знание языка, знание мира, другие установки и представления» [Т.А. ван Дейк, 1989];

III. «...дискурс — это сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста» [Ю.Н. Караулов, В.В. Петров, 1989];

IV. «Discourse — дискурс, произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения или независимой части предложения. Часто, но не всегда, концентрируется вокруг некоторого опорного концепта; создает общий контекст, описывающий действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., определяясь не столько последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего дискурс и его интерпретатора миром, который “строится” по ходу развертывания дискурса, — это точка зрения “этнографии речи”, ср. предлагаемый гештальтистский подход к дискурсу. <...> Элементы дискурса: излагаемые события, их участники, перформативная информация и “не-события”, т.е. а) обстоятельства, сопровождающие события; б) фон, поясняющий события; в) оценка участников событий; г) информация, соотносящая дискурс с событиями» [В.З. Демьянков, 1982];

V. «Дискурс. Речевое произведение, рассматриваемое во всей полноте своего выражения (словесно-интонационного и паралингвистического) и устремления, с учетом всех внеязыковых факторов (социальных, культурных, психологических), существенных для успешного речевого взаимодействия» [КСЛТ, 1995];

VI. «Дискурс — связный текст в совокупности с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс — это речь, “погруженная в жизнь”. Поэтому термин “дискурс”, в отличие от термина “текст”, не применяется к древним и другим текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно.

Дискурс включает паралингвистическое сопровождение речи (мимику, жесты), выполняющие следующие основные функции, диктуемые структурой дискурса: ритмическую (“автодирижирование”), референтную, связывающую слова с предметной областью приложения языка (дейктические жесты), семантическую (ср. мимику и жесты, сопутствующие некоторым значениям), эмоционально-оценочную, функцию воздействия на собеседника, т.е. иллюкативную силу (ср. жесты побуждения, убеждения). Дискурс изучается совместно с соответствующими “формами жизни” (ср. репортаж, интервью, экзаменационный диалог, инструктаж, светская беседа, признание и пр.).

Одной своей стороной дискурс обращен к прагматической ситуации, которая привлекается для определения связности дискурса, его коммуникативной адекватности, для выяснения его импликаций и пресуппозиций, для его интерпретации. Жизненный контекст дискурса моделируется в форме “фреймов” (типовых ситуаций) или “сценариев” (делающих акцент на развитии ситуации). <...> Другой своей стороной дискурс обращен к ментальным процессам участников коммуникации: этнографическим, психологическим и социокультурным правилам и стратегиям порождения и понимания речи в тех или других условиях, определяющих необходимый темп речи, степень ее связности, соотношение общего и конкретного, нового и известного, субъективного (нетривиального) и общепринятого, эксплицитного и имплицитного в содержании дискурса, меру его спонтанности, выбор средств для достижения нужной цели, фиксацию точки зрения говорящего и т.п.» [Н.Д. Арутюнова, ЛЭС 1991];

VII. «...термин *дискурс* получает множество применений. Он означает в частности:

1. эквивалент понятия “речь” в сосюрсовском смысле, т.е. любое конкретное высказывание;
2. единица, по размеру превосходящая фразу, высказывание в глобальном смысле; то, что является предметом исследования “грамматики текста”, которая изучает последовательность отдельных высказываний;
3. в рамках теорий высказывания или прагматики “дискурсом” называют воздействие высказывания на его получателя и его внесение в “высказывательную” ситуацию (что подразумевает субъекта высказывания, адресата, момент и определенное место высказывания);
4. при специализации значения 3 “дискурс” обозначает *беседу*, рассматриваемую как основной тип высказывания;
5. у Бенвениста “дискурсом” называется речь, присваиваемая говорящим, в противоположность “повествованию”, которое разворачивается без эксплицитного вмешательства субъекта высказывания;
6. иногда противопоставляются *язык* и *дискурс* как, с одной стороны, система мало дифференцированных виртуальных значимостей и, с другой, как диверсификация на поверхностном уровне, связанная с разнообразием употреблений, присущих языковым единицам. Различается, таким образом, исследование элемента “в языке” и его исследование “в речи” как “дискурсе”;
7. термин “дискурс” часто употребляется также для обозначения системы ограничений, которые накладываются на неограниченное число высказываний в силу определенной социальной или идеологической позиции. Так, когда речь идет о “феминистском дискурсе” или об “административном дискурсе”, рассматривается не отдельный частный корпус, а определенный тип высказывания, который предполагается вообще присущим феминисткам или администрации;
8. по традиции анализ дискурса определяет свой предмет исследования, разграничивая высказывание и дискурс.

Высказывание — это последовательность фраз, заключенных между двумя семантическими пробелами, двумя остановками в коммуникации; *дискурс* — это высказывание, рассматриваемое с точки зрения дискурсного механизма, который им управляет. Таким образом, взгляд на текст с позиции его структурирования “в языке” определяет данный текст как высказывание; лингвистическое исследование условий производства текста определяет его как “дискурс”. В силу этого дискурс для анализа дискурса отнюдь не является первичным и эмпирическим объектом: имеется в виду теоретический (конструированный) объект, который побуждает к размышлению об отношении между языком и идеологией. Понятие дискурса открывает трудный путь между чисто лингвистическим подходом, который основывается на признанном забвении истории, и подходом, который растворяет его в идеологии» [П. Серио, 2001];

VIII. «...дискурс — это “язык в языке”, но представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально существует не в виде своей “грамматики” и своего “лексикона”, как язык просто. Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, — в конечном счете — особый мир. В мире всякого дискурса действуют свои правила синонимических замен, свои правила истинности, свой этикет. Это — “возможный (альтернативный) мир” в полном смысле этого логико-философского термина. Каждый дискурс — это один из “возможных миров”. Само явление дискурса, его возможность, и есть доказательство тезиса “Язык — дом духа” и, в известной мере, тезиса “Язык — дом бытия”» [Ю.С. Степанов, 1998];

IX. «... дискурс может быть определен как такая форма использования языка в реальном (текущем) времени, которая отражает определенный тип социальной активности человека, создается в целях конструирования особого мира (или — его образа) с помощью его детального языкового описания и является в целом частью процесса коммуникации между людьми, характеризуемого, как и каждый акт коммуникации, условиями ее осуществления и, конечно же, ее целями. <...> тип дискурса детерминируется

типом той социальной активности человека, в рамках которой он осуществляется и с целями которой он согласуется <...>. Дискурс есть всегда детище своего времени, то есть стиль произведения дискурсивной деятельности, все его особенности определяются прежде всего состоянием общества и теми социальными ролями, которые в этом обществе может играть человек. <...>

Дискурсивная деятельность носит отчетливо выраженный специализированный характер, т.е. не может быть описанной вне указания на “сферу” ее проявления — бытовую, научную, профессиональную (со всеми ее разновидностями) и т.д. <...>

В дискурсе отражается и строится один из “возможных миров”, а для того, чтобы сделать это и объективировать намерение говорящего и его ментальность, используются *особые языковые средства*. Использование языка сказывается здесь в том, что решение всякого смыслового задания требует активизации вполне определенных черт языка, и из существующего альтернативного ряда средств, из имеющегося набора разных возможностей и приемов *выбираются* или *строятся* конкретные языковые формы. Можно говорить в этой связи о том, что разные типы дискурса требуют разной грамматики и разной лексики, и они их создают. По-видимому, в лингвистическом анализе дискурса демонстрация этого своеобразия и составляет главную его цель» [Е.С. Кубрякова].

Цитируемые источники

- Николаева Т.М. Краткий словарь терминов лингвистики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978.
- Дейк Т.А., ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
- Караулов Ю.Н., Петров В.В. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса // Т.А. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 5—11.
- Демьянков В.З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста. Вып. 2. Методы анализа текста // Всесоюзный центр переводов. Тетради новых терминов. 39. М., 1982.
- Васильева Н.В. и др. Краткий словарь лингвистических терминов. М., 1995. [КСЛТ]
- Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 136—137. [ЛЭС]

- *Серио П.* Анализ дискурса во Французской школе [Дискурс и интердискурс] // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001. С. 549—562.
- *Степанов Ю.С.* Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998.
- *Кубрякова Е.С.* Язык и знание. М., 2004. С. 519—532.

- ✓ **Задание 2.** Одним из возможных направлений дискурсивного анализа является исследование так называемого бытового диалога. Познакомьтесь с результатами анализа стереотипных городских диалогов, предложенными в статье *М.В. Китайгородской* и *Н.Н. Розановой*.

Каковы общие установки проводимых авторами исследований дискурса? Каковы их цели и задачи? Проанализируйте предлагаемые в указанном издании тексты диалогов из сферы «магазинной коммуникации» с точки зрения соотношения «глубинного содержания» и «поверхностной организации».

М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова

СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

(Русский язык конца XX столетия (1985—1995).
М., 1996)

Происходящие в последние годы радикальные политические и социально-экономические преобразования заметно повлияли на структуру и характер городской коммуникации. Существенные изменения наблюдаются в функционировании типичных жанров городской речи — стереотипов и микродиалогов. Возрождаются жанры городского фольклора (устная реклама, зазывы, острословицы и др.). Появились новые актуальные коммуникативные сферы — в частности, народные митинги. Как показывают проведенные исследования, для современного города характерно расширение сферы контактов между незнакомыми людьми.

Общими тенденциями в изменении **характера городской коммуникации** являются следующие:

- **усиление диалогизации** устного городского общения;
- **усиление личностного начала**;
- возрождение **карнавальной стихии** в жизни города.

Рассмотрим действие этих тенденций в разных сферах и жанрах современной московской городской речи. Материалом для исследования послужили магнитофонные записи устной речи, относящиеся к периоду 1990—1995 гг. <...>

Персонификация как мотив городских номинаций

Массовое обыденное сознание привычно (и не всегда объективно) соотносит те или иные явления общественной жизни с конкретными политическими лидерами. Персонификация некоторых социально-экономических процессов — один из частых мотивов городских микродиалогов. Ср. следующие примеры.

(Записано в мае 1991 г. в парфюмерном магазине. Покупательница А. покупает крем. П. — продавщица) А. Мне две «Магии» и два «Зодиака» // П. Только три в одни руки // А. Но мне нужно четыре // П. Это вы к Попову (в то время мэр Москвы) обращайтесь!

(Записано в ноябре 1992 г. В переполненном троллейбусе мужчина М. обращается к приятелю) М. Что-то они ходят плохо! Совсем транспорт не работает // Ну дожدهшься Лужков! (мэр Москвы)

Тенденция к персонификации связана с проявлением личностного фактора. В языке она воплощается в виде определенных номинативных моделей, когда в качестве мотивирующей базы выступает имя собственное, например: *(записано в октябре 1992 г. после очередного повышения цен на хлеб. Пожилой мужчина обращается к продавщице) Дай-ка мне вот эти булочки /гайдаровские // (Егор Гайдар был в это время премьер-министром).*

Актуальные для современной жизни явления мгновенно получают имя их «автора». Например, 5%-ный налог с продажи, введенный в 1991 году, назывался *президентским, горбачевским* налогом. Обмен денежных купюр получил отражение в разговорной речи в виде словосочетаний *навловская реформа, навловские деньги*.

Языковые процессы такого рода всегда были характерны для периодов социальных изменений. Социальные сдвиги как бы провоцируют, активизируют распространение данных номинативных моделей. Ср. например: *столыпинская реформа*, *столыпинские галстуки*, *керенки* (от Керенский), *хрущобы* (от Хрущев, ср. трущобы), *андроповка* (дешевая водка, продававшаяся при Андропове).

В этом явлении обнаруживается конкретный, неабстрагированный характер мышления человека, типичный для сферы неофициального обыденного общения. Подобные номинации основаны на принципе метонимии (хотя в реальной жизни смежность сопоставляемых явлений, конечно же, достаточно условна).

Устная реклама, зазывы, объявления

Усиление личностного начала, ориентация на активный диалог ярко проявляется в возрождающихся жанрах устной рекламы, зазыва. Заметно изменился также стиль московских объявлений. Вместо безадресных извещений типа «Меняю двухкомнатную квартиру на две однокомнатные» или «Продаются щенки афганской борзой» все чаще можно встретить объявления с использованием разных речевых форм обращения, привлечения внимания, зазывов. Например: «У Вас есть желание поработать за рубежом? Если да, то мы можем предоставить этот шанс!» или «Холодно? Тогда сделайте себе подарок и купите оренбургский пуховый платок! Только на этой неделе цены снижены на 15 процентов». Вместо так хорошо знакомых сурово-запрещающих объявлений типа «Руками не трогать!» появляются шуточные: «Потрогать — 10 рублей. Посмотреть — бесплатно». В обувной мастерской над служебным входом, где привычна табличка «Посторонним вход воспрещен», висит шуточное объявление: «Не входи — убьет!»

Неофициальная игровая стихия, ломающая барьеры «своего / чужого» пространства, врывается в традиционно монологические ситуации городского общения, например устные объявления в метро: (записано на ст. м. «Белорусская», где часто дежурит знакомый многим москвичам старейший работник метрополитена, шуточно прозванный местными жителями «Кашеиц») Товарищи!

Сейчас будет пущена машина // Держитесь за поручень! Полный вперед! Гвардейцы, вперед! (*пассажиры смеются*).

Речевая жизнь современной Москвы характеризуется возвращением многих старых забытых жанров — устной рекламы, зазывов, выкриков, остроловиц. Это связано с появлением частной, уличной торговли, вещевых рынков и т.п. Здесь можно наблюдать возрождение старых национальных форм зазывов, выкриков, рекламных остроловиц: Беляши! Беляши горячие!; Пицца! Пицца горячая! Все ко мне на завтрак и обед! Пицца горячая / вкусная!; Новый интересный гороскоп по именам! Можно купить / а можно просто посмотреть! Пожалуйста сударыня! Всего за три рубля!

В.О. Ключевский отмечал, что торговля московских купцов и в старые времена во многом носила характер игры. Игровая скоморошья стихия особенно чувствовалась в рекламных зазывах, описанных В.А. Гиляровским, Евг. Ивановым и другими исследователями московской старины. В скоморошских зазывах широко применялся прием рифмовки. Например, у того же Евг. Иванова находим замечательные образцы речи карточных шулеров: «Не жулики мы и не плуты, а карточные банкроты! Сами проиграем и других спутаем. Играем на петлю и ремешок и на три счастливые карты!»

Те же приемы языковой игры наблюдаем в речи современных «наперсточников», картежников и игроков в азартное лото. Ср. текст, записанный за «наперсточником» напротив военторга:

Это Саша / это Маша / а вот беременная Наташа // Я за нее плачу / за две пусто Я с вас получу!

Ср. также образец речи карточного шулера:

Для убеждения ваших глаз / показываю еще раз! Две красные проигрывают / черные выигрывают // Три движения / ваше зрение // Веселей играем / **карту** выбираем!

Еще пример шуточного зазыва:

Мы начинаем новую игру! Любимая игра Аллы Пугачевой и Раисы Горбачевой! Берем жетончики/ получаем червончики! Не отходим /а подходим! Не стесняемся /а оформляемся. На кону семьдесят пять рублей / на покупку новых «Жигулей!»; Финское лото / не проигрывает никто! Ставишь шляпу / покупаешь пальто!;

Граждане налетчики / лихие пулеметчики! Налетайте / покупайте! Если вы думаете что это обман / полезайте к себе в карман/ доставайте червончики/ покупайте жетончики!

Установка на игру, шуточный диалог с покупателем ярко проявляется не только в устных зазывах и выкриках уличных торговцев, но и в письменных рекламных текстах, часто рифмованных. Ср. следующие примеры:

(*Записано в переходе метро у торговца новогодними свечками*) Любят все — и стар и млад — когда свечи под Новый год горят. Свечу поставьте в центр застолья и избежите бестолковья.

(*Самодельная реклама на киоске, торгующем различными товарами по уходу за домашними животными*) Не захочет киска деток после этих трех таблеток.

(*Надпись на лотке торговца книгами*) Скандальная книга! Скандальный писатель! Волосы дыбом встанут, читатель!

Стереотипы, микродиалоги

Особое место в структуре городской коммуникации принадлежит стереотипным ситуациям общения, которым соответствует жанр городского стереотипа.

Современное российское общество переживает период **ломки**, разрушения устоявшихся стереотипов, в том числе поведенческих, ментальных. Это приводит также к разрушению речевых стереотипов и возникновению новых.

Речевые стереотипы, подобно барометру, чутко реагируют на колебания социальной атмосферы общества. Такие материалы обладают социокультурной значимостью. Записи, фиксирующие «мелкий сор повседневной жизни», отражают языковое существование города.

Записи городских стереотипов и микродиалогов — это своего рода хроника нашего времени, а, например, стереотипы в ситуации покупки — это, можно сказать, «дневник инфляции». Стремительность происходящих социально-экономических изменений отражается в языке города. Так, в разговорах, относящихся к периоду до января 1992 года (т.е. до либерализации цен), было типично употребление слова *колбаса* в расширительном значении — «любые продукты питания». Ср. такой семейный диалог:

А. Ты куда? Б. Да в магазин / колбасы какой-нибудь купить // Или: Хватит вам о колбасе разговаривать! (т.е. говорить о еде, быте). К этому же времени острого товарного дефицита относится и частотный пример, когда на стереотипный вопрос о наличии товара в магазине *Что там есть?* следовал ответ *Там ничего нет*, который имел буквальный смысл («полное отсутствие товара», ср. также выражения *пустые прилавки, голые прилавки*). В настоящее время вернулось прежнее гиперболизированное значение («нет того товара, который меня интересует»).

Имеющиеся в литературе записи стереотипов и их описание отражают прежде всего стереотипные речевые формулы. Как представляется, необходимо последовательное описание стереотипа как текста, вписанного в контекст коммуникативного акта и отражающего определенную микроситуацию, т.е. важно исследовать жизнь клишированных реплик в структуре естественного диалога. Это позволит выявить модели микродиалогов, изучить закономерности сцепления реплик в рамках диалогического единства.

Некоторые исследователи отмечают, что жанры городских стереотипов и микродиалогов представляют собой тексты максимально стандартизованные, клишированные, не несущие на себе печать речевой индивидуальности говорящего. Следует отметить однако, что функционирование малых жанров городского общения связано с разными типами коммуникативных ситуаций. Одни ситуации почти не допускают отклонений от стереотипных моделей общения (например, «Транспорт», «Сберкасса» и др.), другие характеризуются возрастанием роли индивидуального, личностного начала.

В связи с этим заметим, что вопреки существующему мнению доля фатического общения в разных жанрах городской коммуникации (при контактах с незнакомыми людьми) достаточно велика. (Ср., например, такие ситуации, связанные с вынужденным ожиданием, как «Очередь», «Остановка городского транспорта».) При этом существует определенный набор типичных тем, не совпадающий с темами фатических бесед между близкими людьми.

Личностный параметр важно учитывать при описании ролевой структуры стереотипа, причем не только на уровне комму-

никативных ролей (говорящий — слушающий), но и на уровне ролей социальных. Характер исполняемых социальных ролей задает степень официальности общения. Например, типичная ситуация «Как пройти?» по-разному реализуется в микродиалоге при обращении к милиционеру или к прохожему. В первом случае официальность общения будет выше (ср. распространенное речевое клише, оценивающее статус милиционера — «он при исполнении»). Иное речевое поведение, более раскованное, допускается при общении с прохожим.

Для примера сравним два типичных городских микродиалога. В первом из них прохожий (А.) обращается к милиционеру (Б.) во втором — к прохожему же (В.).

Диалог первый:

А. Товарищ лейтенант!

Б. Я слушаю вас//

А. Как пройти к музею Пушкина?

Б. Прямо по Волхонке/ с левой стороны//

А. Спасибо//

Диалог второй:

А. Не скажете/ как к райсовету пройти?

В. Вот мимо этих домов прямо пойдете/ а потом налево//

А. И там увижу? Да?

В. Да/ да/ такое красное здание//

А. Ага/ спасибо//

Социально-личностная маркированность стереотипа может проявляться в его лексическом наполнении. Именно этот компонент языковых клише чутко реагирует на меняющиеся социальные условия. Кроме того, можно выделить стереотипы, которые характеризуют говорящего как носителя литературного языка или городского просторечия, а также могут содержать информацию о профессиональной принадлежности говорящего. Ср. примеры: *взвесьте* (лит.) — *свешайте* (прост.) — *завесьте* (проф. жарг.); *выбить чек* (лит.) — *пробить чек* (проф. жарг.); *сделать* — «устроить покупку по знакомству» (прост., жарг.); *выходить* (лит.) — *слезать, вылезать, слазить* (прост.) и др.

Для стереотипных речевых актов важно также их разграничение по коммуникативным типам реплик-стимулов — вопрос или

побуждение к действию <...>. Реплика часто задает характер коммуникативного взаимодействия. Оно может быть только вербальным или предполагать использование жесто-мимического канала. Например, ситуация первого типа («Сколько времени?») предполагает либо ответ, либо (что значительно реже) жестовую реакцию, заменяющую реплику диалога. Для ситуации второго типа характерна эллиптизация ответной реплики до нуля. Ср. например общение между водителем и пассажирами в маршрутном такси (**П.** — пассажир, **В.** — водитель):

П. (*открывает дверцу маршрутного такси*) До Гарибальди доедете?

В. (*молча кивает, что означает утвердительный ответ*)

П. (*садится, захлопывает дверцу*) Спасибо//

П. Вон у того дома остановите//

В. (*чуть тормозит, показывая, что он готов выполнить просьбу пассажира*)

П. Да нет/ у следующего//

В. (*останавливает машину у того дома, на который указал пассажир*)

П. Спасибо большое//

П. (*протягивая деньги водителю*) Это вам нужно отдавать?

В. (*кивком головы, указывает на коробочку, в которую пассажиры опускают плату за проезд*)

П. А! Вот сюда// Понятно//

При описании стереотипов одной из важных задач является описание интонационно-синтаксической структуры. Ядерная (инвариантная) часть стереотипного микродиалога имеет свою, достаточно четкую морфолого-синтаксическую и интонационно-ритмическую организацию, которые взаимосвязаны и тесно спаяны. Пример тому — общение на фоне городского шума. Опора на конкретную ситуацию и определенный клишированный интонационный рисунок фразы, сегментная часть которой может быть смазана (либо не расслышана слушающим, либо редуцирована говорящим), обеспечивают понимание стереотипа. Ср.: **А.** (*проходя по салону автобуса, обращается к стоящему впереди него пассажиру*) Р(азре)шите! — с восходящим мелодическим акцентом.

Типичной для реплики-стимула является ее синтаксическая и интонационная двучленность отражающая коммуникативное членение фразы на «топик» и «комментарий». Постоянная коммуникативная двучленность, выступающая как базисная модель, позволяет предположить, что именно в репликах-стереотипах наиболее ярко проявляется грамматикализирующая функция актуального членения в РР [разговорной речи].

Просодически эта коммуникативная двукомпонентность может быть реализована двояко. (1) Фраза членится на две самостоятельные синтагмы: *Молоко / есть у вас?; Килограмм огурчиков / взвесьте!* (2) Фраза представляет собой одну синтагму с двумя фразовыми акцентами, выделяющими коммуникативное ядро высказывания: *Кефир мне подайте!; Талончик не пробьете?; «Детский мир» далеко? Именительный темы, широко распространенный в устной непринужденной речи, представляет собой крайнее проявление этой двучленности. Ср.: Бронная / как пройти?; Время / не скажете?*

Реальная языковая жизнь города демонстрирует многочисленные **отступления от стереотипов речевого поведения**. Подобные факты несут определенную диагностирующую информацию о коммуникантах. Можно выделить разные виды отступлений от стереотипов. Наиболее важные из них следующие.

- Недостаточное владение навыками общения в городе (и как следствие — речевыми стереотипами), обусловленное экстралингвистическими характеристиками говорящего («приезжие» — жители сельской местности, других городов).
- Недостаточное владение нормами этикетно выдержанного речевого поведения (носитель литературного языка / носитель просторечия).
- Невладение стереотипами речевого поведения или нежелание им следовать. Нередко это приводит к включению текста другой роли. Ср. например, разговор продавщицы и покупателя: **А.** Девушка / а туфель черных нет у вас? **Б.** (*поправляет*) Не туфель / а туфель//.
- Отход от привычной тематики разговора в стереотипных ситуациях (ср. упреждающее «блокирование» подобных ситуаций в письменных объявлениях типа «Кассир справок не дает», «Размена нет» и т.п.).

- Сознательный отход от стереотипного общения, связанный с реализацией творческого начала, установки на шутку, игру. Приведем примеры. (1) Сберкасса. Обычно процедура расчета происходит в молчании или прерывается шаблонными репликами, типа «Вы за два месяца платите?», «Готовьте мелочь» и т.п. В данной ситуации кассирша, принимающая коммунальные платежи, шутливо обращается к посетителям: *Так / готовьте свои миллионы!* (2) В магазине продавщица в ответ на вопрос покупателя шутит. **А.** *Скажите / селедка у вас крупная?* **Б.** *Да вот как я (т.е. средняя).*
- Отход от нейтрального вежливого стереотипа, за которым стоит выбор инвективной стратегии речевого поведения. При этом формулы грубости также имеют клишированный характер. Чаще всего этот вид отступлений от стереотипа отмечался в сфере обслуживания при нарушении партнерами коммуникации ролевых отношений «продавец — покупатель». Известный в условиях рынка принцип «Клиент всегда прав» предполагает несимметричные ролевые отношения. Однако в реальной речевой практике можно было наблюдать в лучшем случае установление паритетных, а нередко и «перевернутых» ролевых отношений («Клиент всегда неправ»). Это отражается в целом наборе стереотипных диалогических реплик-реакций: «Не хотите — не берите!»; «Вас много, а я одна!»; «Выбирать на рынке будете!» и мн. др.

При **инвективном** поведении задействованы определенные речевые механизмы, связанные с различным отношением партнеров коммуникации к сфере «свое / чужое».

1. Резкое разграничение сферы «своего» и «чужого». На уровне речи это проявляется прежде всего в актуализации противопоставления местоимений 1-го и 2-го лица (я, мы — вы). Ср.: **А.** *Девушка / пакет можно?* **П.** *Мы пакетов не даем / чтоб вам подарки заворачивать! Пакеты только под виноград!*

Еще большая дистанцированность достигается тогда, когда о партнере коммуникации говорится в третьем лице. Нередко он предстает в немотивированно обобщенном виде (неоправданная генерализация адресата). Ср. характерные примеры, относящиеся ко времени товарного дефицита:

(В отделе гастронома продают чебуреки; одна из продавщиц считает деньги; в этот момент покупатель А. протягивает ей чек)

А. Девушка / вы не подадите мне чебурек / я только что брал//

П. Вы не видите? Я считаю! Вон туда обратитесь // Не отдел / а проходной двор! Вот прям шас все брошу / и побегу ему чебурек подавать!

(Кассирша оживленно разговаривает со своей знакомой, забыв об очереди; покупатель пытается напомнить о себе, постучав монеткой по тарелке для денег; кассирша К. возмущенно реагирует)

К. Вы не стучите! На работе по два часа болтают / а тут стучат!

Стратегия отчуждения от личной сферы партнера коммуникации может маркироваться как вербальными средствами (ср. стереотипную реплику «Это ваши проблемы»), так и невербально — с помощью интонации (просодия «отчуждения») или с использованием жесто-мимических средств (демонстративно безучастное, подчеркнуто безразличное поведение по отношению к собеседнику). Подобное поведение получает резко негативную оценку: *Ну надо же / еле говорит!; Прям как / неживая!; А. Прям не шевелится / Девушка нельзя ли побыстрей? Смотрите, какая очередь! Б. А ей-то что? Вы же стоите!*

Одной из форм речевой грубости является молчание в ответ на вопрос покупателя. Ср. например:

(Мужчина и женщина стоят перед прилавком; женщина обращается к продавщице)

Ж. Девушка / сколько стоит эта шапка?

П. *(молчит, не отвечает)*

Ж. *(обиженно, обращаясь к своему спутнику)* Трудно ответить // Боже мой! Как военная тайна! Я ее два раза спросила //

2. Нарушение адресантом установленной границы между «своим» и «чужим». Резко негативная реакция одного из партнеров коммуникации может быть связана с грубым вторжением собеседника в его личную сферу, неоправданным сближением «своего» и «чужого». Так, обращение на «ты» к незнакомому человеку на улице часто получает отрицательную оценку (*Почему вы мне тыкаете?; Я с вами коров не пас!; Мы с вами детей не крестили!* и т.п.).

Как инвективное нередко воспринимается речевое поведение, нарушающее принятые для данной ситуации ролевые отноше-

ния. Например, неправильный выбор «модальности» высказывания (приказ или замечание вместо просьбы), разрушающий паритетные ролевые отношения между партнерами коммуникации, способен вызвать грубую реакцию собеседника. Реплика-реакция может содержать запрет на вторжение адресанта в чужую сферу (*Не ваше дело!; Не вмешивайтесь!*), либо выражать возмущение (*Что вы лезете не в свое дело!; Какое вам дело?; Зачем вы вмешиваетесь?*), либо отсылать говорящего к другим адресатам, входящим в его личную сферу (*Детям своим замечания делайте!; Жену учите!*) и т.п. Ср. характерный диалог: (в мастерскую металлоремонта входит женщина **Ж.**, забыв закрыть за собой входную дверь; один из посетителей **М.** недовольно реагирует) **М.** Дверь-то нужно закрывать? **Ж.** А что это вы мне замечание делаете? *Попросили бы / и все //*.

В качестве примера приведем небольшой фрагмент из разговора в магазине. Показательно, что оба партнера коммуникации допускают грубость по отношению к собеседнику, но при этом способы реализации инвективной стратегии различны. Для **А.** характерно вторжение в сферу «чужого», что на речевом уровне выражается в использовании «ты»-обращения при общении с незнакомым человеком. Инвективная стратегия **Б.**, наоборот, связана с резким разграничением сферы «свое / чужое» и получает вербальное воплощение в использовании формы 3-го лица по отношению к **А.** (Запись сделана весной 1991 г. Разговор идет о «роли» КПСС в развале страны. **А.** считает, что во всем виноваты коммунисты, а **Б.** придерживается противоположного мнения.)

А. (*кричит*) «Партия наш рулевой!» «Партия наш рулевой!» Ты забыл!

Б. *Вы не тыкайте, пожалуйста // Тыкает еще!*

При восстановлении нормальной ролевой структуры ситуации неизбежно восстанавливается и этикетно выдержанное речевое поведение. Такие нормальные ролевые отношения наблюдаются чаще всего на рынке, зарождение подобных отношений происходит сейчас и в торговле (правда, не без отклонений в сторону привычной для нашего обихода грубости). Приведем два небольших примера:

(А. покупает яблочную кулебяку у продавца кооперативного магазина — П.)

П. Вам сколько?

А. Одну, пожалуйста //

П. (подает кулебяку) Пожалуйста//

А. Спасибо //

П. Кушайте на здоровье //

(На рынке женщина, торгующая цветами, зовет покупателя)

Ж. Молодой человек! Мы вас полчаса ждем здесь уже! Не хотите розы? Смотрите какие! Ро-о-зочка!

Многожанровые сферы городской коммуникации

Некоторые стереотипные ситуации должны описываться как особые коммуникативные сферы, представляющие собой жанровый континуум. К ним относятся прежде всего «Очередь» и «Рынок».

В «Очереди» наряду с обязательным жанром — стереотипами покупки, а также речевыми клише, типичными для данной ситуации («Кто последний?»; «Я отойду на минуточку» и т.п.) — могут присутствовать и более свободные жанры: разговоры, диалоги в очереди. Темы подобных разговоров достаточно типичны. Наиболее актуальны из них: о покупках («кто?», «что?», «где?», «когда?», «сколько стоит?»); обсуждение товара, имеющегося в магазине (*Картошка вся гнилая //*; *Яблоки хорошие //* и т.п.); уточнение того, кто за кем стоит в очереди (*В красном платке не за вами стояла?; За мной мужчина стоял/ он отошел //*); беспокойство, хватит ли товара на всех (*А. Торты кажется кончатся// Б. Да нет / там есть еще //* *А. Вот на нас все и закончится //*). Отметим однако, что последняя тема сейчас стала менее актуальной.

Приметой времени является частое включение в разговор между незнакомыми людьми тем, связанных с экономической и политической ситуацией. Но подобные разговоры, более характерные для митингов, в ситуации «Очередь» возникают не спонтанно, а путем тематического «зацепления». Интересен сам процесс включения политических тем в разговор.

Приведем пример, записанный в сентябре 1993 года. (В булочной стоит большая очередь в кассу):

А. (*пожилая женщина*) Ну вот что они столько народу собрали // Поставили бы двух-трех продавцов / пусть бы они деньги *брали* // А потом бы через кассу провели //

Б. (*возражает*) Так нельзя // По закону запрещено // Я сама видела в магазине / как директора за это оштрафовали // Нельзя по закону//

А. (*мгновенно реагирует*) По закону! Да разве у нас есть законы? Одно беззаконие! (*Далее начинается активное обсуждение политических проблем, в котором принимает участие сразу несколько человек*).

Таким образом, слово **закон** явилось **своего рода сигналом** для тематического переключения разговора.

Показателен еще один небольшой, но очень характерный с точки зрения отражения стереотипов массового обыденного сознания разговор в очереди (записан в декабре 1992 года):

М. (*мужчина лет 30*) Вот можно сказать дожили // И за хлебом очередь // Если дальше так пойдет / придется эту демократию придушить//

Ж. (*пожилая женщина*) Ее теперь ничем не уничтожишь // Раньше можно было / а теперь у нее деньги / войска //

М. Ну на самом деле это не демократия // В демократической стране люди свободные / а мы разве свободные? Это не демократическое правительство // Люди просто хотели коммунистов скинуть / вот и поторопились //

Ж. Ну а где же демократическое-то взять?

М. Настоящее правительство еще не пришло // Настоящее правительство / это такое / которое о простых людях думают/ свою страну любят // А эти все на Америку смотрят // Я ничего не говорю // Америка очень прекрасная страна // Но мы-то не Америка //

Ж. Да / у нас должно быть не *так* // Чтобы больше души было // Чтoб любовь была //

В последнее время коммуникативное пространство очереди сузилось. Однако можно наблюдать расширение пространства иной коммуникативной ситуации — «Рынок». Это связано с по-

явлением частной уличной торговли, мелкооптовых вещевых рынков и т.п.

Ситуация покупки на продовольственном (бывшем «колхозном») рынке отличается от ситуации покупки в магазине стереотипным вопросом о цене товара («почем?» вместо «сколько стоит?»), формами обращений («хозяин», «хозяйка», возможно обращение на «ты»), набором специфических стереотипных клише, отражающих переговоры о цене товара (А. *Мясо ваше почем?* Б. *Прошу восемь // Будете брать / уступлю //*).

В данной коммуникативной сфере каждый новый контакт (микрообращение, микроситуация) воспринимается как продолжение предыдущего микродиалога в рамках макроконтекста. Ср. например, вопрос о цене товара: *А у вас почем лук?* В этом случае «вписанность» в макроконтекст маркируется как вербально (с помощью частицы *а* и инверсивного порядка слов), так и просодически (акцентное выделение на местоимении *вас*, незавершенная мелодика «переспроса»). Возможна также только просодическая отмеченность: *Почем ваш лук?* (восходящий мелодический акцент на слове *почем*).

Рынок — это та коммуникативная сфера, где часто намеренно преодолевается барьер официальности, реализуется установка на контакт, диалог с конкретным партнером. Это стереотипная ситуация, предполагающая широкое проявление личностного начала. Она допускает иные, более раскованные модели поведения.

Приведем в качестве примера следующий диалог. «Почем творог?» — спрашивает одна из покупательниц. И, не дождавшись ответа от продавца, занятого с другим покупателем, слегка толкает локтем соседку, надеясь получить ответ от нее. «Двести пятьдесят», — отвечает та, шутливо толкая в ответ спросившую. Обе смеются.

Именно при общении на рынке ярко проявляется установка собеседников на шутку, игру, особенно в момент «переговоров» о цене товара:

А. (*покупатель*) Почем розы?

Б. (*продавец*) Три тыщи //

А. (молчит)

Б. Две с половиной //

А. (опять молчит)

Б. Две // Вы меня уговорили //

Выше мы уже говорили о том, что игровая стихия ярко проявляется в устной неофициальной рекламе. Приведем еще несколько образцов шуточных зазывов, записанных на рынках.

Мужчина торгует цветами: Без президентского налога! Без президентского налога / без наценки!

Женщина-распространитель лотерейных билетов: Пожалуйста! Машину / дачу и мужа в придачу!

Торговка пирожками: Горячие пирожки с мясом! Берите пирожки / через полчаса подорожает!

Подводя итог, можно отметить, что изучение языка города в периоды коренных социальных преобразований имеет особый научный интерес, т.к. в этой речевой сфере наглядно обнаруживают себя изменения в языковой ситуации в целом. Кроме того, записи устной речи — это хроника времени, неофициальный документ эпохи.

- ✓ **Задание 3.** Попробуйте реконструировать «облик говорящего» и «облик адресата» («оценочный облик» собеседника) на основе анализа лексической организации реплик диалога (возможно использование другого, самостоятельно подобранного, языкового материала).

РУССКАЯ РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ. ТЕКСТЫ

(М., 1978)

Разговор двух давно знакомых людей.

А. — научный работник, 40 лет, москвичка. **Б.** — филолог, 65 лет, коренной ленинградец (Дмитрий Андреевич). В диалог изредка вставляет реплики **В.** (Елена Васильевна, москвичка, близкая знакомая **А.**, научный работник, 30 лет). Для публикации выбран фрагмент из середины текста. Записано в Москве.

А. А вас вывозили / ле-етом куда-нибудь / так вот? (нрзбр).

Б. В Финляндию, в Куоккалу /.

- А. Да?
- Б. Интеллигенция в Куоккалу ездила //.
- А. Угу / на дачу?
- Б. На дачу / да / но там / общения с местным населением почти не было //.
- А. Не было // (нрзбр).
- Б. Ну я правда играл там / (пауза) так что счет финский я / до сих пор помню //.
- А. С мальчиками / да?
- Б. Да / с мальчиками / счет финский / какие-то игры...
- А. Угу / (пауза) интересно / да //.
- Б. Да э... занятный финский народ (был такой?) //.
- А. Ну как они были / крестьяне? Так сказать / по образу жизни / да?
- Б. Крестьяне // Крестьяне и... ме-елкие-мелкие буржуа / такие // Ну значит... торговцы / владельцы э... ларьков / потом... м... дачи сдавали / иногда имели по две по три дачи / чтобы сдавать.
- А. Ну да / доход такой / да?
- Б. Доход / да-а // Сдавали тогда не комнаты / а целиком дачи / поэтому дачи были небольшие /.
- А. Угу //.
- Б. Ну там комнат четыре / пять / с балконом обязательно //.
- А. Угу //.
- Б. Лодку имели /.
- А. Лодки тоже сдавали наверное / да?
- Б. Лодки / да / лодки сдавали / да / потом будки //.
- А. С веслами?
- Б. С ве-о-слами / с уключинами / все как следует //.
- А. Угу //.
- Б. Потом будки / для купания /.
- А. Для купания?
- Б. Да / на пляже вот так в два / в три ряда выстраивались будки //.
- А. Значит у каждого была своя? Или (нрзбр)?
- Б. Своя будка / там оставлялись игрушки / купальные костюмы / полотенца // это все оставлялось / и только уносился ключ / да! И шезлонг еще //.

- А. Очень удобно!
- Б. Шезлонг / угу //.
- А. Так что прекрасно...
- Б. На целый день приходили //.
- А. Угу //.
- Б. Я помню в детстве / наша будка оказалась рядом с Фаберже / с каким Фаберже / я не знаю / будка была / и вот / как сейчас помню / этот Фаберже пришел / мой отец с ним разговаривал / сидели в костюмах /.
- А. Угу //.
- Б. Не дай бог в купальных костюмах / нет / просто чуть не в крахмальных воротничках /.
- А. (смеется).
- Б. У меня еще сохранилась фотография моей матери / сидит на пляже / под зонтиком / кружевным зонтиком / белым / и в корсете //.
- А. (смеется). Потрясающе / да //.
- Б. Да (смеется).
- А. Ну все-таки купались они?
- Б. Купались / купались //.
- А. А тогда надевали купальные костюмы?
- Б. А-а! У моей матери был купальный костюм я как сейчас помню / это вроде капота было //.
- А. Да?
- Б. Да // (смеется). Он из такого // твердого материала / чтобы...
- А. Ничего не видно было / да?
- Б. Формы тела никак не были видны / да // (смеются).
- А. Да / не то что сейчас //.
- Б. Вроде капота / да //.
- А. Дмитрий Андреич / а я вспомнила / Вы не были этим летом на Рижском взморье?
- Б. Нет //.
- А. Нет?
- Б. Нет / а что?
- А. А я шла по берегу /.
- Б. Да /.
- А. И мне показалось что навстречу идете Вы // . Но / я не была

- уверена что это Вы/, поэтому я как-то не решилась поздороваться /.
- Б. Нет / мы собираемся в будущем году поехать в (нрзбр) в санаторий //.
- А. Вот / и у меня так и осталось такое полувпечатление /. Вы или не Вы /. Но я уже вот говорю / не решилась //. В общем я наверное шла как раз в неподобающем (смеется) наряде /. То есть что-нибудь вроде купальника / и поэтому (нрзбр).
- Б. У меня говорят голос похож бывает / встречают похожие голоса /.
- А. Нет / этот человек ничего не говорил / просто так навстречу //.
- Б. Ага /.
- А. (нрзбр).
- Б. Там очень хорошие прогулки /потому что твердый песок //.
- А. Там прекрасные вот /.
- Б. Твердый песок //.
- А. Вот / мы как раз были с Еленой Васильевной /.
- В. Угу //.
- Б. Да //.
- А. Там целый месяц (нрзбр) //. Великолепно там //.
- Б. Да //. А в Куоккале были такие // бетонные или цементные я не знаю / дорожки//. Но не у самой воды / а так / по краю /.
- А. Подальше / да?
- Б. Между дачами и пляжем / так вот шла дорожка /.
- А. (нрзбр).
- Б. По вечерам было купание //.
- А. В Теориоках я когда-то была /.
- Б. А-а!
- А. Это подальше значит // Дальше? Да?
- Б. Там ведь сохранился до сих пор театр в котором Любовь Дмитриевна Блок играла //.
- А. Да? Какой? Деревянный?
- Б. И называется это как-то / летний...
- А. Наверное я там была //.
- Б. Э... нет / дом культуры что-то в этом роде /.
- А. Да-да /.
- Б. Дом какой-то культуры //.

- А.** Кажется тоже / возможно я там была //.
- Б.** Угу //.
- А.** Ну там очень хорошо тоже // . (*Конец фрагмента*)

Из воспоминаний.

Б. — научный работник, филолог, 65 лет, ленинградец. **А.** — научный работник, 40 лет, москвичка. **В.** — близкая знакомая **А.**, научный работник, 30 лет, москвичка. **А.** и **Б.** давние знакомые. Записано в Москве.

Б. Ну в общем / у каждого формируется свой язык в каких-то определенных условиях / у одних он формируется... (пауза) только в течение вот... детства / и юности / я думаю что мой язык формировался все время //. Ну в общем значительную-то э... роль / сыграло мое детство //. В формировании (-то?) языка вот / произноше-е-ния / даже некоторых оши-и-бок речи которые для меня типичны / ну скажем я произношу «оне» / вместо «они» /.

А. Да?

Б. Да //.

А. Даже сейчас?

Б. И... и сейчас / это у меня очень трудно иногда отвыкнуть //.

А. Угу //.

Б. Говорят что это «оне» типично для петербургского произношения //.

А. Угу //.

Б. Но дело в том что / петербургского-то произношения не сохранилось ни у кого //.

А. Ну очень мало // но наверно все-таки есть?

Б. Вымер город // . Вымер вот / в блокаду //.

А. Ну я понимаю / ну не совсем все-таки /.

Б. В блокаду / потом война /.

А. Да //.

Б. Потом... рево-люция / м... полная смена //.

А. Переезды всякие / и вот все это.

Б. Да / так что скажем / кто / вот в нашем институте / там больше ста человек / родился в Петербурге? Кроме молодежи / из стариков **Н.** Больше никого / по-моему больше никого //.

- А. А N. нет!
- Б. (Не или нет?) в Петербурге?
- А. Нет-нет-нет-нет / он из Нежина //.
- Б. А! Он из Нежина // Ну так он родился в собственном поместье / (смеется).
- А. Да-да-да / а потом он очень рано был привезен //.
- Б. Нет (смеется) / он воспитывался... Вы его записали / да?
- А. Да / мы записали / очень хорошо между прочим / да //.
- Б. Да / да / это очень важно / потому что хотя он уверяет.
- А. Ну да /.
- Б. Что у него вот эта картавость / от французского языка /.
- А. Французская //.
- Б. На самом деле это настоящее училище правоведения / как я это помню //.
- А. Да / я тоже думаю что это не французское / да //.
- Б. Нет-нет / это правоведение // Это училище правоведения / такое.
- А. Да / да //.
- Б. Такой там был прием // . Ну у меня как... э... родители были из такой средней среды / э... отец инженер был / а... там / третьи / дедушки и бабушки по обеим линиям / это купеческое /.
- А. Но все петербургские?
- Б. Все // Значит...
- А. Значит у Вас / Вы уже в каком поколении петербуржец?
- Б. Я думаю что в пятом поколении //.
- А. В пятом // Это вообще невероятно //.
- Б. В пятом // Да / в пятом поколении //.
- А. Конечно редкий случай *совершенно* //.
- Б. Да // Но это ниче... ничего не значит //.
- А. Значит Ваша дочка уже в шестом?
- Б. В шестом / да //.
- А. Да.
- Б. Но это ведь ничего не значит / потому что влияние непетербургской среды.
- А. Угу //.
- Б. Тоже очень сказывалось / через няnek /.
- А. А-а //.

- Б. Через нянек / очень сильно //.
- А. Ну они были откуда / окрестные все-таки?
- Б. Нет /.
- А. Нет?
- Б. Нет / вот / моя нянька ее мы звали Катеринушка /.
- А. Угу //.
- Б. Она была м... женой мастерового / Путиловского завода.
- А. Угу //.
- Б. И родилась сама в Ижоре / под Петербургом // У нее были с... с... нет / немножко такие северные черты в произношении // Вот я думаю что «оне» / это...
- А. От нее?
- Б. От нее //.
- А. А не книжное? Не может быть что-нибудь такое?
- Б. Вы думаете что это...
- А. Орфографическое /.
- Б. Орфографическое? Нет //.
- А. Нет?
- Б. Нет / нет / Потому что я род не различаю /.
- А. Не различаете? Я думала что Вы именно различаете / нет?
- Б. Рода женского и мужского / нет/ не различаю / это у меня часто так / угу / угу //.
- А. Просто так /.
- Б. Трудно осо... Ну / в петербургском произношении был целый ряд особенностей //.
- А. Угу //.
- Б. В лексике / и... в школе //. Вот скажем так / «кляксапаир» вместо «промокашка» /.
- А. Да?
- Б. «Вставочка» вместо «ручка» /.
- А. Ну / «вставочка» / это довольно долго дер... держалось /.
- Б. Теперь это исчезло / держалось / но щас исчезло / щас «ручка» говорят / «вечная ручка» /.
- А. Угу //.
- Б. «Шариковая ручка» / «вставочка» никто уже не говорит //. Но потом м... некоторые домашние слова / связанные с местными кухарками // Кухарки-то были из финок //.

- А. Ну да / охтенки /.
- Б. Охтенки / да // и потом из немцев // Немецкое влияние в петербургском произношении было большое //. Ну скажем так / помимо «клякспапира» // «Фрыштыкать»!
- А. Да? Неужели говорили?
- Б. «Фрыштыкать» / говорили / да // (смеется).
- А. Просто удивительно / правда / да?
- Б. «Фрыштыкать» // Да //. *(Конец фрагмента)*

ГЕНЕРАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЛИНГВИСТИКЕ: ИСТОКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Вопросы, выносимые на обсуждение

- Что дало основания Н. Хомскому говорить о кризисе в лингвистике на рубеже 50—60-х годов XX века? Какие положения дескриптивной лингвистики вызвали его критику?
- Перечислите главные постулаты теории Н. Хомского, позволяющие связывать с его именем представление о революции в лингвистике? Какие из этих постулатов оказались наиболее значимыми для дальнейшего развития лингвистической теории?
- Какое содержание вкладывается в термины *трансформационно-порождающая грамматика* и *генеративная лингвистика*? В чем видит Н. Хомский назначение грамматики нового типа? Из каких компонентов она должна состоять? В каком соотношении друг с другом находятся эти компоненты?
- Раскройте суть оппозиции *языковая компетенция vs языковое употребление*. Какой элемент этой оппозиции является главным объектом внимания генеративистов?
- Что включает в себя понятие *универсальная грамматика*? Как соотносятся между собой универсальная грамматика и грамматики конкретных языков?
- Чем определяется обращение генеративистов к проблемам онтогенеза речи? Насколько убедительной кажется вам мысль о врожденности языка? Раскройте суть понятия *языковой модуль*.
- Соотнесите основные положения генеративной теории с такими парадигмальными чертами современной лингвистики, как экспансионизм, антропоцентризм и экспланаторность.



Материал для обсуждения

Дж. Бейлин

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГЕНЕРАТИВНОЙ ГРАММАТИКИ

(Современная американская лингвистика:

Фундаментальные направления)

(М., 2002)

1. Введение

В данной главе рассматриваются основные моменты в истории развития **генеративной, или порождающей, грамматики** (*generative grammar*), начиная с появления книги Н. Хомского «Синтаксические структуры» в 1957 году <...> и кончая выходом в свет сборника четырех статей Н. Хомского «Минималистская программа» <...>.

С одной стороны, цель главы проста: познакомить читателей с развитием и главными достижениями этого важного подхода к изучению языка, что позволит им самостоятельно читать современную литературу по генеративной грамматике в оригинале. С другой стороны, в генеративной грамматике существуют десятки школ и направлений, каждое из которых заслуживает отдельного обсуждения. И как в любой естественной науке, предсказывающая сила теории ведет к тому, что постоянно появляются новые эмпирические данные. Таким образом, теория генеративной грамматики находится в непрерывном развитии. Поэтому настоящая глава построена в виде краткой истории данной теории — без этого трудно понять главный парадокс развития генеративной грамматики: от ее первоначальной теории осталась лишь фундаментальная концепция о врожденной языковой способности человека с независимыми внутренними закономерностями. Главный движущий механизм ранней генеративной грамматики — «трансформации» — давно заменен понятиями принципов и параметров (*Principles and Parameters*). В данной главе рассматривается процесс исторического развития теории генеративной грамматики, которая в своем современном виде включает в себя многие достижения функциональных

теорий языка последних лет и удачно объясняет процесс усвоения детьми родного языка.

Теория генеративной грамматики прошла долгий и сложный путь развития. В данной главе затрагиваются лишь самые существенные моменты в развитии теории генеративной грамматики. <...> По-настоящему обширные эмпирические исследования в области генеративной грамматики начались лишь в 1980-е годы. За пятнадцать лет научных изысканий был установлен ряд универсальных принципов и параметров, которые объясняют не только существование большинства языковых явлений, но и отсутствие тех явлений, которые не наблюдаются в естественных языках. Таким образом, генеративная грамматика не имеет конкурентов в лингвистике: она занята ограничениями на форму человеческих языков и выдвигает научно обоснованную концепцию усвоения детьми родного языка.

Здесь важно обратить внимание на два основных заблуждения относительно теории генеративной грамматики, которые являются основанием для ее критики со стороны представителей других лингвистических направлений. Во-первых, генеративной грамматике часто ставится в вину игнорирование языковой деятельности. С этим связано различие в предмете изучения между генеративной грамматикой и функциональной лингвистикой.

Человечество обладает уникальной способностью усваивать и передавать из поколения в поколение знание родного языка. Теория генеративной грамматики ищет ответ на один центральный вопрос: из чего состоит это знание, каким образом оно так совершенно и быстро усваивается в раннем детстве, почему глобальные типологические различия между языками не препятствуют их усвоению. По сути дела, речь идет о языковой компетенции (competence), которая существует независимо от языковой деятельности, т.е. отдельных употреблений языковых форм в конкретных случаях (performance).

Полезной аналогией является способность птиц летать. Физики (как и изобретатели самолетов) исследуют вопросы самого процесса полета — как он возможен у птиц, откуда птицы приобретают это умение, какие особенности их физиологии дают им такую возможность. Другие ученые интересуются иными вопросами: сколько птицы могут летать без перерыва, на какой высоте

они летают и при какой погоде, как и когда они организуют свои сезонные перелеты, как старость влияет на способность находиться в воздухе и т.д. И то и другое являются нужными областями общей науки о птицах, тем более что во всех вопросах второго типа подразумевается существование ответов на вопросы первого типа. Данная аналогия позволяет правильно понять разницу между генеративными и функциональными лингвистами.

Генеративная грамматика занимается изучением языкового аппарата человека, который позволяет ребенку к пяти годам усвоить родной язык. Функциональная лингвистика изучает использование этого аппарата: почему мы выбираем те или иные существующие языковые формы и как мы понимаем или создаем сообщения разных уровней и стилистических регистров. Эти направления в лингвистике отнюдь не являются взаимоисключающими, а наоборот, они являются взаимодополняющими теориями, которые изучают одно явление с разных сторон.

Второй тип возражений связан с тем, что в генеративной грамматике якобы доминирует изучение английского и близкородственных ему языков. Это, однако, далеко не так. Диссертация Н. Хомского написана на материале иврита, и многие первые исследования в рамках генеративной грамматики анализируют русский, японский, навахо, санскрит и другие языки <...>. В рамках этой теории уже описаны языки всех языковых семей, и вопросы изучения самых разных языковых систем в настоящее время занимают ведущее место в Теории управления и связывания и в минимализме.

2. «Синтаксические структуры» Н. Хомского (1957)

В 1957 году вышла в свет книга Н. Хомского «Синтаксические структуры». Эта книга не только произвела настоящую революцию в лингвистике, но и оказала существенное влияние на последующее развитие других научных областей, таких, как психология, философия, педагогика, социология, антропология, теория искусственного интеллекта, и в результате послужила толчком к появлению такой области, как **когнитивная наука** (cognitive science).

Генеративный подход к языку появился в качестве альтернативы школе американского дескриптивизма 1950-х годов, кото-

рая, следуя учению бихевиористов во главе со Скиннером, предполагала, что язык усваивается ребенком чисто из-за поведенческих нужд, полностью независимо от биологических или инстинктивных знаний и способностей. При этом дескриптивизм был не в состоянии решить два парадокса, касающихся усвояемости (learnability) языка. Во-первых, каким образом усваивают дети только правильные синтаксические конструкции, не имея доступа к неправильным? Ведь они не слышат неправильных предложений в речи окружающих их взрослых. Во-вторых, каким образом языковой аппарат человека в конечном пространстве человеческого мозга может создавать бесконечное число языковых структур? Предложения (1) иллюстрируют потенциально безграничную порождающую способность языкового аппарата:

- (1) а. Комендант пьет.
- б. Новый комендант пьет.
- в. Новый комендант общежития пьет.
- г. Новый комендант общежития пьет водку.
- д. Новый комендант общежития пьет водку, которую я ему подарил.
- е. Новый комендант общежития пьет водку, которую я ему подарил на день рождения. И т.д.

Языковой аппарат человека характеризуется наличием **рекурсивных правил** (recursive rules), которые позволяют порождать бесконечно длинные предложения, сохраняя при этом существующие грамматические отношения (например, между подлежащим и сказуемым).

Введение в научный обиход лингвистики таких новых понятий, как рекурсивность, позволило Н. Хомскому выдвинуть гипотезу о возможности формального описания языка, что сблизило лингвистику с естественными науками. В то же время, в «Синтаксических структурах» Н. Хомский продолжает классическую лингвистическую традицию. Вводятся такие понятия, как внутренний **язык** (I-language), определяющий физические стороны языковой системы, и внешний **язык** (E-language), который характеризует употребление и применение языковой системы. Эти понятия представляют собой формализацию традиционных понятий структурной лингвистики — «языковой системы» и «языковой деятельности».

Значение появления теории генеративной грамматики трудно переоценить. Ч. Хоккетт, принципиальный противник идей Хомского, тем не менее признал появление «Синтаксических структур» четвертым главным открытием в языкознании за последние почти 200 лет после доклада В. Джонса (1786) об исторической лингвистике, статьи К. Вернера об отсутствии исключений из правил звуковых изменений «Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung» и книги Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики». Хомский впервые предпринял попытку формального описания языка как естественного явления. Главное преимущество такого подхода заключается в возможности его проверки при помощи эмпирических исследований. Ведь такая модель формального описания языка должна быть в состоянии порождать все возможные предложения естественного языка, не порождая при этом ни одного невозможного. <...>

Н. Хомский

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПОРОЖДАЮЩЕЙ ГРАММАТИКИ

(Философия языка / Ред.-сост. Дж. Р. Сёрл. М., 2004)

(а) Основные положения и цели

Моим исходным намерением было использовать эти лекции для того, чтобы представить некоторые недавние работы по общей лингвистической теории и по структуре английского языка, выполненные в общих рамках трансформационной порождающей грамматики. Однако, как показал ряд недавних публикаций, многие положения, на которые я надеялся опираться как на общепризнанные, в значительной мере рассматриваются как спорные, и кроме того, наблюдается достаточно существенное непонимание общего подхода, который я ожидал взять за основу — в частности, непонимание того, какие элементы этого подхода выражают сущностные (substantive) положения о природе языка и, тем самым, могут являться, предметом законного обсуждения, а какие, напротив, связаны только с задачами и интересами исследователя и, тем самым, могут быть предметом спора не в боль-

шей степени, чем вопрос: права или нет химия? В свете сказанного, мне представляется оправданным изменить мой исходный план и посвятить гораздо больше времени, чем я намеревался вначале, основным положениям и общим вопросам различного рода. Я все же надеюсь, что мне удастся включить в изложение (в значительном сокращении) обзор некоторых недавних работ, но я подойду к этому постепенно, в несколько шагов:

(1) обсуждение общих положений и задач, которые лежат в основе и являются побудительным мотивом работ по порождающей грамматике последнего десятилетия;

(2) обсуждение различных возражений на эту общую точку зрения, которые, как мне кажется, основаны на ошибках, непонимании или словесных уловках (*equivocation*) того или иного рода;

(3) представление теории порождающей грамматики на примере таких работ, как [*Chomsky 1957; Lees 1960; Halle 1962; Katz, Fodor 1963*];

(4) обсуждение некоторых реальных недостатков, которые проявились в данном подходе в работах последних нескольких лет; и

(5) очерк улучшенной и усовершенствованной версии данной теории, разработанной с целью преодоления обнаруженных трудностей.

Я попытаюсь охарактеризовать эти пункты в первых трех разделах, сосредоточась главным образом на синтаксисе. <...>

В целом, данный очерк не содержит нового и оригинального материала; он задуман лишь как неформальное руководство по другим книгам и статьям, в которых затрагиваемые здесь вопросы разбираются более обстоятельно, а также как попытка разъяснить некоторые вопросы, которые были подняты в ходе критического обсуждения.

В данной статье я также выскажу некоторые замечания по поводу исторических предпосылок того направления, которое будет охарактеризовано. Немалое число комментаторов полагает, что недавняя работа в рамках порождающей грамматики некоторым образом является следствием интереса к использованию компьютеров для той или иной цели, или что она имеет какое-

либо другое прикладное (engineering) обоснование, или что она, возможно, представляет собой некий загадочный раздел математики. Подобный взгляд мне непонятен, и он, в любом случае, является совершенно неверным. Гораздо более пронизательными являются те критики, которые характеризовали данную работу как, в значительной мере, возвращение к интересам и зачастую даже к конкретным учениям традиционной лингвистической теории. Это действительно верно — и, видимо, многие критики не осознают, насколько в большой степени¹. Мое отличие от них заключается лишь в том, что я расцениваю данное замечание не как критику, а скорее как определенную заслугу этой работы. Иными словами, мне кажется, что как раз современные исследования языка, предшествовавшие эксплицитным исследованиям порождающей грамматики, имели тот существенный недостаток, что они не были способны отвечать на традиционные вопросы и, более того, осознавать, насколько справедливы многие из традиционных ответов на них и до какой степени они предоставляют плодотворную основу для дальнейших исследований.

¹ В качестве одного из примеров рассмотрим статью А. Рейчлинга [Reichling 1961], который утверждает, что про меня, очевидно, нельзя сказать, чтобы я «симпатизировал такому “менталистскому монстру”, как “innere Sprachform” [внутренняя форма языка (нем.). — Прим. перев.]». В действительности же работа, которую он обсуждает, является совершенно явно и сознательно менталистской (в традиционном, а не блумфильдовском, смысле этого слова — то есть, является попыткой построить теорию мыслительных процессов) и, более того, она может быть вполне точно охарактеризована как попытка развить гумбольдтовское понятие «формы языка» и его следствий для когнитивной психологии, что, несомненно, должно быть очевидно любому, кто знаком и с Гумбольдтом, и с последними работами по порождающей грамматике <...>.

Я не буду рассматривать здесь рейчлинговскую критику порождающей грамматики. Процитированное замечание является всего лишь одной иллюстрацией его полного непонимания целей, интересов и специфического содержания работы, которую он обсуждает, а его обсуждение основано на таких грубых искажениях данной работы, что здесь едва ли требуется какой-либо комментарий.

Необходимо проводить различие между тем, что говорящий на языке знает неявным образом (и что можно назвать его *компетенцией*), и тем, что он делает (его *употреблением* языка). Грамматика, в традиционном смысле, изучает компетенцию. Она описывает и пытается объяснить способность говорящего к пониманию произвольного предложения на своем языке и к построению подходящего предложения в конкретной ситуации. Если перед нами учебная грамматика, она пытается наделить этой способностью ученика; если это лингвистическая грамматика, в ее задачу входит обнаружить и представить те механизмы, которые делают возможным данное достижение. Компетенция говорящего-слушающего может в идеальном случае быть представлена как система правил, связывающих сигналы с семантическими интерпретациями этих сигналов. Задача грамматиста состоит в том, чтобы найти такую систему правил; задача лингвистической теории состоит в том, чтобы найти общие свойства любой системы правил, которая может служить основой для естественного языка, то есть разработать в подробностях то, что, используя традиционные термины, можно назвать общей *формой языка*, которая лежит в основе каждой конкретной ее реализации, каждого конкретного естественного языка.

Употребление предоставляет нам данные для исследования компетенции. В то же время, преимущественный интерес к компетенции не влечет за собой пренебрежения к фактам употребления и к проблеме объяснения этих фактов. Напротив, трудно представить себе серьезное изучение употребления, кроме как на основе эксплицитной теории компетенции, лежащей в его основе, и, в действительности, работы, способствовавшие пониманию употребления, являлись главным образом побочным продуктом изучения грамматик, описывающих компетенцию.

Заметим в этой связи, что обычно человек не осознает тех правил, в соответствии с которыми осуществляется интерпретация предложений в языке, который он знает; и, в сущности, нет причин предполагать, что эти правила могут стать осознанными. Более того, нет причин ожидать, что он будет осознавать даже эмпирические последствия этих усвоенных (*internalized*) правил — то есть тот способ, каким сигналам приписываются семантичес-

кие интерпретации согласно правилам грамматики языка, который он знает (и, по определению, знает в совершенстве). <...> Важно понимать, что во всем этом нет никакого парадокса; на самом деле все именно так, как и следовало ожидать.

Это традиционное представление об интересах и задачах принимается и в современных работах по порождающей грамматике. Она, однако, стремится пойти дальше, чем традиционная грамматика, в одном фундаментальном отношении. Как неоднократно подчеркивалось, традиционные грамматики в значительной степени обращаются к сообразительности говорящего. Они не формулируют в явном виде правила грамматики, но скорее приводят примеры и делают намеки, которые дают возможность понятливому читателю определить грамматику некоторым способом, который сам по себе непонятен. Они не предоставляют анализ *faculte de langage* [«языковой способности», (фр.). — *Прим. перев.*], которая делает возможным осуществление этого. Чтобы вывести изучение языка за пределы традиционных границ, необходимо признать эту ограниченность и разработать способы ее преодоления.

Это и есть та фундаментальная задача, на решение которой направлена вся деятельность в рамках порождающей грамматики.

Самым потрясающим аспектом языковой компетенции является то, что можно назвать «творческой природой языка» (*creativity of language*), то есть способностью говорящего производить новые предложения — предложения, которые мгновенно понимаются другими говорящими, хотя они не имеют никакого физического сходства с уже «знакомыми» предложениями. Основполагающее значение этого творческого аспекта в нормальном использовании языка признавалось по крайней мере с XVII века, и оно находилось в самом центре гумбольдтовского общего языкознания. Современной лингвистике, однако, можно вменить в серьезную вину ее неспособность овладеть этой центральной проблемой. На самом деле, абсурдно даже говорить о «знакомстве с предложениями» со стороны говорящего. Нормальное использование языка включает в себя построение и интерпретацию предложений, которые похожи на ранее слышанные предложе-

ния лишь в том, что они порождены по правилам той же самой грамматики, так что единственным типом предложений, которые могут быть названы «знакомыми» в каком-либо серьезном смысле, являются клише или застывшие формулы того или иного рода. Степень безошибочности этого положения существенно недооценивалась даже теми лингвистами (как, например, О. Есперсен), которые уделяли некоторое внимание проблеме творчества. Это очевидно из обычного описания использования языка как вопроса «грамматической привычки» (например, [*Jespersen* 1924]). Важно осознавать, что в психологии не существует такого истолкования «привычки», при котором данная характеристика использования языка была бы верна (точно так же, в психологии или философии не существует такого истолкования понятия «обобщение», которое дает нам право охарактеризовать новые предложения в повседневном использовании языка как обобщения предыдущих употреблений). Доступность трактовки нормального использования языка как вопроса «привычки» или как основанного каким-либо фундаментальным образом на «обобщении» не должна ни для кого затемнять понимание того, что эти характеристики попросту неверны, если использовать термины в техническом и строго определенном смысле, и что они могут приниматься лишь как метафоры — метафоры, в высшей степени вводящие в заблуждение, поскольку они склонны внушать лингвисту полностью ошибочное убеждение, будто проблема рассмотрения творческого аспекта нормального языкового использования не является, в конечном итоге, такой уж серьезной.

Вернемся теперь к центральной теме: *порождающая грамматика* (то есть эксплицитная грамматика, которая не обращается к *faculte de langage* читателя, а скорее пытается включить в себя механизмы этой способности) — есть система правил, которая соотносит сигналы с семантическими интерпретациями этих сигналов. Она *дескриптивно адекватна* в той мере, в какой это парное соотношение соответствует компетенции идеального говорящего — слушающего. Идеализация состоит (в частности) в том, что при изучении грамматики мы абстрагируемся от многих других факторов (например, ограничения памяти, отвлечение вни-

мания, изменение намерения в ходе разговора и пр.), которые во взаимодействии с лежащей в основе компетенцией создают реальное употребление.

Если порождающая грамматика должна соотносить сигналы с семантическими интерпретациями, то теория порождающей грамматики должна предоставлять общие, независимые от языка средства представления сигналов и семантических интерпретаций, которые взаимно связываются друг с другом грамматиками конкретных языков. Этот факт признавался с самого зарождения лингвистической теории, и традиционное языкознание предпринимало различные попытки разработать теории универсальной фонетики и универсальной семантики, которые могли бы соответствовать этому требованию. Не буду вдаваться в подробности, но мне кажется, что многие согласятся со мной в том, что общая проблема универсальной фонетики достаточно хорошо ясна (и так было, по сути, на протяжении уже нескольких столетий), тогда как проблемы универсальной семантики все еще остаются покрытыми традиционной для них неизвестностью. У нас имеются достаточно разумные технические способы фонетической репрезентации, которые, как кажется, близки к адекватности для всех известных языков, хотя, конечно, в данной области остается еще много чего изучить. В противоположность этому, ближайшие перспективы универсальной семантики кажутся гораздо более туманными, хотя, бесспорно, это не является причиной пренебрегать семантическими исследованиями (должен быть сделан, очевидным образом, совершенно противоположный вывод). В действительности, последние работы Катца, Фодора и Постала, к которым я вернусь в третьем разделе, предлагают, как мне кажется, новые и интересные пути возвращения к этим традиционным вопросам.

Из того факта, что универсальная семантика находится в чрезвычайно неудовлетворительном состоянии, не следует, что мы должны оставить программу построения грамматик, которые соотносят сигналы и семантические интерпретации. Хотя и мало что можно сказать о независимой от языка системе семантической репрезентации, очень многое известно о тех условиях, которым должны удовлетворять семантические репрезентации в не-

которых определенных случаях. Введем нейтральное техническое понятие «синтаксического описания», и будем считать синтаксическим описанием предложения (абстрактный) объект некоторого вида, ассоциируемый с предложением, такой, что он один определяет как его семантическую интерпретацию (последнее понятие остается точно не определенным в ожидании дальнейших продвижений в семантической теории)², так и его фонетическую форму. Частная лингвистическая теория должна определить множество возможных синтаксических описаний для предложений естественного языка. Та степень, до какой эти синтаксические описания удовлетворяют условиям, которые, как мы знаем, должны быть применимы к семантическим интерпретациям, дает оценку успешности и совершенства подобной грамматической теории. По мере того, как развивалась теория порождающей грамматики, понятие синтаксического описания получало разъяснение и распространение. Ниже я хотел бы обсудить некоторые недавние идеи о том, из чего именно должно состоять синтаксическое описание предложения, если теория порождающей грамматики должна стремиться к построению дескриптивно адекватных грамматик.

Заметим, что синтаксическое описание (далее СО) может передавать информацию о предложении и помимо его фонетической формы и семантической интерпретации. Так, мы вправе ожидать, что дескриптивно адекватная грамматика английского языка будет отражать тот факт, что выражения (1)—(3) упорядочены в зависимости от «степени отклонения» от английского, причем независимо от вопроса о том, какие интерпретации могут быть им приписаны [в случае (2) и (3)]:

- (1) *The dog looks terrifying* «Собака выглядит устрашающей»;
- (2) *The dog looks barking* (букв.) «Собака выглядит лающей»;
- (3) *The dog looks lamb* (букв.) «Собака выглядит ягненок».

² Работая в рамках данного подхода, мы рассматривали бы семантически неоднозначный минимальный элемент как состоящий из двух различных лексических единиц; таким образом, два синтаксических описания могли бы различаться только в том, что они содержат различные члены пары омонимичных морфем. [Тем самым, в данном случае одинаково трактуются полисемия и омонимия. — *Прим. перев.*]

Порождающая грамматика, далее, должна по крайней мере определить соответствие сигналам их СО, а теория порождающей грамматики должна предоставить общую характеристику класса возможных сигналов (теория фонетической репрезентации) и класса возможных СО. Грамматика дескриптивно адекватна настолько, насколько она фактически корректна в различных отношениях, в частности, в той степени, в какой она ставит сигналам в соответствие СО, которые в действительности удовлетворяют эмпирически заданным условиям на поддерживаемые ими семантические интерпретации. Например, если в конкретном языке сигнал имеет две внутренне присущие ему семантические интерпретации [например, (4) или (5) в английском], грамматика этого языка приблизится к дескриптивной адекватности, если она припишет предложению два СО, и помимо этого, она приблизится к дескриптивной адекватности в той мере, в какой эти СО будут способны выразить основание для неоднозначности.

(4) *They don't know how good meat tastes* «Они не знают, насколько хорошо на вкус мясо» / «Они не знают, каково хорошее мясо на вкус»³.

(5) *What disturbed John was being disregarded by everyone* «То, что беспокоило Джона, никто не принимал во внимание» / «Джона беспокоило то, что никто не принимал его во внимание»⁴.

В случае (4), например, дескриптивно адекватная грамматика должна не только приписать предложению два СО, но должна сделать это таким образом, что в одном из них грамматические отношения между *good* «хороший», *meat* «мясо» и *taste* «вкус; быть каким-либо на вкус» таковы, как в *meat tastes good* «мясо хорошо

³ В данном примере слово *good* «хороший» может интерпретироваться либо как входящее в состав сложной наречной группы *how good* «насколько хорошо», либо как определение в составе именной группы *good meat* «хорошее мясо». — *Прим. перев.*

⁴ В данном примере последовательность *was being disregarded* может интерпретироваться либо как глагольное сказуемое с формой прогрессива прошедшего времени в пассиве *was being disregarded* «не принималось во внимание», либо как именное сказуемое с бытийным глаголом *was* «было, являлось» и именной частью *being disregarded* = «состояние, когда кого-либо не принимают во внимание». — *Прим. перев.*

на вкус; мясо вкусное», тогда как в другом они таковы, как в *meat that is good tastes Adjective* «мясо, которое хорошее, имеет такой-то (Прилагательное) вкус» (при этом «грамматическое отношение» должно быть определено общим способом в рамках данной лингвистической теории), что и будет являться основанием альтернативных семантических интерпретаций, которые могут быть приписаны предложению. Аналогично, в случае (5), дескриптивно адекватная грамматика должна приписать паре *disregard — John* «пренебрегать — Джон» такое же грамматическое отношение, как в *everyone disregards John* «все пренебрегают Джоном; никто не принимает Джона во внимание», в одном из СО; тогда как в другом она должна приписать то же самое отношение паре *disregard — what (disturbed John)* «пренебрегать тем, что (беспокоило Джона)», и не должна приписывать никакого семантически значимого грамматического отношения паре *disregard — John*. С другой стороны, в случае (6) и (7) дескриптивно адекватная грамматика должна приписать только по одному СО. Это СО должно в случае (6) указывать на то, что *John* «Джон» относится к *incompetent* «некомпетентный» как в *John is incompetent* «Джон некомпетентен», и что *John* «Джон» относится к *regard (as incompetent)* «считать (некомпетентным)» как в *everyone regards John as incompetent* «все считают Джона некомпетентным». В случае (7) СО должно указывать, что *our* «наш» относится к *regard (as incompetent)* «считать (некомпетентным)» так же, как *us* «мы» относится к *regard (as incompetent)* «считать (некомпетентным)» в *everyone regards us as incompetent* «все считают нас некомпетентными».

(6) *What disturbed John was being regarded as incompetent by everyone.* «Джона беспокоило то, что все считали его некомпетентным».

(7) *What disturbed John was our being regarded as incompetent by everyone.* «Джона беспокоило то, что все считали нас некомпетентными».

Аналогично, в случае (8) грамматика должна приписать четыре разных СО, каждое из которых устанавливает систему грамматических отношений, которые лежат в основе различных семантических интерпретаций этого предложения:

(8) *The police were ordered to stop drinking after midnight.* «Полиции было приказано прекратить пить после полуночи» / «После

полуночи полиции было приказано прекратить пить» / «Полиции было приказано останавливать пьющих после полуночи» / «После полуночи полиции было приказано останавливать пьющих»⁵.

Подобных примеров должно быть достаточно для иллюстрации того, что включает в себя проблема построения дескриптивно адекватных порождающих грамматик и разработки теории грамматики, которая анализирует и обобщает во всей их полноте понятия, используемые в этих конкретных грамматиках. Из бесчисленных примеров подобного рода совершенно очевидно, что условия, налагаемые на семантические интерпретации, достаточно ясны и многообразны, так что проблема определения понятия «синтаксическое описание» и разработка дескриптивно адекватных грамматик (соотносимых с этим понятием СО) может быть поставлена вполне конкретно, несмотря на то, что само по себе понятие «семантической интерпретации» все еще недоступно глубокому анализу. <...>

Грамматика, повторюсь, должна устанавливать соответствие между сигналами и СО. Приписанное сигналу СО должно определять семантическую интерпретацию сигнала некоторым способом, детали которого остаются неясными. Более того, каждое СО должно единственным образом определять тот сигнал, СО которого оно является (однозначно, то есть вплоть до свободного варьирования). Таким образом, СО должно (i) определять семантическую интерпретацию и (ii) определять фонетическую интерпретацию. Определим «глубинную структуру предложения» как ту часть СО, которая обуславливает его семантическую интерпретацию, и «поверхностную структуру предложения» как ту часть СО, которая обуславливает его фонетическую форму. Грам-

⁵ В данном примере первое различие интерпретаций связано с тем, что в последовательности *stop drinking* глагольная форма *drinking* может интерпретироваться как заполняющее либо валентность на ситуацию («прекратить что сделать»), либо валентность прямого дополнения («останавливать кого») у глагола *stop* «прекращать; останавливать». Второе различие связано с тем, что наречная группа *after midnight* «после полуночи» в каждом из двух случаев может по смыслу относиться как к ситуации «выпивания», так и ко времени, когда полиции был отдан приказ. — *Прим. перев.*

матика, следовательно, должна состоять из трех компонентов: *синтаксического компонента*, который порождает СО, каждое из которых состоит из поверхностной структуры и глубинной структуры; *семантического компонента*, который приписывает семантическую интерпретацию глубинной структуре; *фонологического компонента*, который приписывает фонетическую интерпретацию поверхностной структуре. Таким образом, грамматика в целом будет связывать фонетические репрезентации и семантические интерпретации, как это и требуется, причем эта связь будет осуществляться через посредство синтаксического компонента, порождающего глубинную и поверхностную структуру как элементы СО.

Понятия «глубинной структуры» и «поверхностной структуры» предполагались как разъяснения гумбольдтовских понятий «внутренней формы предложения» и «внешней формы предложения» (общее понятие «формы», вероятно, более правомерно соотнести с понятием самой «порождающей грамматики» <...>). Эта терминология предложена на основе словоупотребления, привычного в современной аналитической философии <...>

Существуют веские основания <...> предполагать, что поверхностная структура предложения представляет собой размеченную скобочную запись, которая членит его на непрерывные составляющие, категоризирует их, членит далее эти составляющие на дальнейшие категоризованные составляющие, и т.п. Так, в основе (6), например, лежит поверхностная структура, которая анализирует это предложение по его составляющим (по-видимому, *what disturbed John* «то, что беспокоило Джона», *was* «было», *being regarded as incompetent by everyone* «то, что все считали его некомпетентным»), приписывая каждую из них к определенной категории, обозначенной разметкой, и затем членя далее на составляющие каждую из них (по-видимому, например, *what disturbed John* «то, что беспокоило Джона» на *what* «что» и *disturbed John* «беспокоило Джона»), при этом каждая из них приписывается к категории, обозначенной разметкой, и т.п., пока не будет достигнут уровень конечных составляющих. Информации такого рода, в действительности, достаточно для определения фонетической репрезентации этого предложения. Размеченная ско-

бочная запись может быть представлена в виде дерева или какого-либо другого из известных способов обозначения.

Ясно, однако, что глубинная структура должна быть совершенно отличной от поверхностной структуры. В первую очередь, поверхностная репрезентация никоим образом не выражает те грамматические отношения, которые, как мы только что наблюдали, являются определяющими для семантической интерпретации. Во-вторых, в случае неоднозначного предложения, как, например, (5), приписана может быть только одна единственная поверхностная структура, но глубинные структуры должны, очевидным образом, различаться. Подобных примеров достаточно для того, чтобы показать, что лежащая в основе предложения глубинная структура не может быть всего лишь его размеченной скобочной записью. Поскольку существуют веские основания, что поверхностная структура предложения должна, в действительности, представлять собой просто размеченную скобочную запись, мы заключаем, что глубинные структуры не могут отождествляться с поверхностными структурами. Неспособность поверхностных структур обозначить семантически значимые грамматические отношения (т.е. служить и глубинной структурой) является фундаментальным фактом, мотивирующим разработку трансформационной порождающей грамматики как в ее классическом, так и в современном вариантах.

Итак, полная порождающая грамматика должна состоять из синтаксического, семантического и фонологического компонента. Синтаксический компонент порождает СО, каждое из которых включает в себя глубинную структуру и поверхностную структуру. Семантический компонент приписывает семантическую интерпретацию глубинной структуре, а фонологический компонент приписывает фонетическую интерпретацию поверхностной структуре. Неоднозначное предложение имеет несколько СО, различных по содержащимся в них глубинным структурам (хотя обратное не обязательно верно).

До сих пор я сказал мало такого, что было бы в чем-либо спорным. Пока в ходе обсуждения всего лишь была определена некоторая область интереса и определенный класс задач, и был предложен естественный подход для разрешения этих задач. Един-

ственные существенные пояснения (т.е. фактические утверждения), которые я пока сделал в рамках данного подхода, состоят в том, что поверхностная структура представляет собой размеченную скобочную запись, и что глубинные структуры должны в общем случае отличаться от поверхностных. Первое из этих утверждений хорошо обосновано (см. ниже), и, вероятно, будет широко признано. Второе же, несомненно, слишком очевидно, чтобы требовать его развернутой защиты.

Следуя далее с целью создания подлинной лингвистической теории, мы должны разработать:

9 (i) теории фонетической и семантической репрезентации

(ii) общую характеристику понятия «синтаксического описания»

(iii) определение класса потенциальных порождающих грамматик

(iv) общую характеристику того, как действуют эти грамматики, то есть как они порождают СО и приписывают им фонетические и семантические интерпретации, тем самым ставя в соответствие фонетически представленные сигналы и семантические интерпретации.

Прежде чем перейти к обсуждению этих существенных вопросов, уверимся в бесспорном характере изложенного выше. Существует ли, в действительности, в этом подходе что-нибудь такое, против чего можно было бы возразить? Разумеется, невозможно поставить под вопрос необходимость различать компетенцию и употребление так, как это было предложено выше. Сделав это различие, можно на выбор интересоваться или нет общим вопросом изучения языковой компетенции. Если кто-то предпочитает заняться этим вопросом, ему придется сразу же столкнуться с явлением «творчества» (creativity) и он должен, следовательно, сконцентрировать внимание на задаче построения порождающих грамматик. Трудно понять, как иначе можно в конечном итоге представить полную порождающую грамматику, если не в виде системы правил, которые соотносят сигналы с семантическими интерпретациями; а определив эту цель, придется сразу же столкнуться с задачей разработки достаточно мощ-

ного (rich) понятия «синтаксического описания» для поддержки фонетической интерпретации, с одной стороны, и семантической интерпретации, с другой. Различие между глубинной и поверхностной структурой возникает уже из самого поверхностного обследования реального языкового материала. Отсюда намеченные выше выводы кажутся неизбежными, если ставится задача изучения языковой компетенции. Заметим, что подлинная лингвистическая теория включает в себя определение (9iv) так же, как (9iii). Например, существенной частью теории грамматики составляющих является подробная спецификация того, как определяются категории и отношения для порождаемых цепочек <...>, и подобная спецификация предполагалась всегда, когда бы ни разрабатывалась данная теория. Изменение в этой спецификации есть в той же мере пересмотр теории, в какой и изменение класса (9iii) потенциальных грамматик.

Неспособность понять это немедленно ведет к бессмыслице. Так, если кто-нибудь представляет себе теорию «структуры составляющих» без способа интерпретации (9iv), то можно легко доказать, что грамматика составляющих языка L приписывает предложениям L структурные описания, приписываемые некоторой трансформационной грамматикой L, и т.п. Этот вопрос должен быть очевиден без дальнейшего обсуждения.

Предположим, что кто-то выбирает не изучать языковую компетенцию (и, соответственно, языковое употребление в рамках теории компетенции). Можно было бы, в качестве альтернативы, ограничить свое внимание употреблением, или поверхностными структурами, или звуковыми моделями (sound patterns) в отрыве от синтаксической структуры, или звонкими фрикативными, или первыми частями предложений. Единственный вопрос, который возникает, если принимается одно из этих предложений, — насколько вероятно получить какой-либо интересный результат при столь произвольном ограничении предмета исследования? В каждом из названных случаев это кажется весьма маловероятным. В целом, неясно, почему кто-либо должен настаивать на изучении одного изолированного аспекта общей проблемы грамматического описания, если только нет какой-либо

причины полагать, что на него никак не воздействуют другие аспекты грамматики⁶.

До сих пор я обсуждал только вопрос дескриптивной адекватности грамматик и проблему разработки лингвистической теории, которая послужит основой для создания дескриптивно адекватных грамматик. Однако, как неоднократно подчеркивалось <...>, задачи лингвистической теории могут ставиться гораздо выше, и, в действительности, предпосылкой даже для изу-

⁶ Вероятно, данный вопрос можно разъяснить, рассмотрев примеры следующего рода. Так, например, вполне разумно изучать семантику в отрыве от фонологии или фонологию в отрыве от семантики, поскольку, как кажется на данный момент, между системой фонологической и семантической интерпретации отсутствует какое-либо нетривиальное соотношение, и семантические соображения не могут играть какой-либо значимой роли в фонологии, а фонологические соображения — в семантике. Аналогично, кажется вполне обоснованным разрабатывать теорию синтаксической структуры без каких-либо исходных понятий сугубо семантической природы, поскольку, на данный момент, нет причин полагать, что априорные семантические концепты играют какую-либо роль в определении организации синтаксического компонента грамматики. С другой стороны, было бы абсурдно изучать семантику (и аналогично, как мне кажется, фонологию) в отрыве от синтаксиса, поскольку синтаксическая интерпретация предложения (и аналогично, его фонетическая интерпретация) существенным образом зависит от его глубинной (и, соответственно, поверхностной) структуры. И было бы абсурдно разрабатывать общую синтаксическую теорию без приписывания абсолютной решающей роли семантическим соображениям, поскольку, очевидно, необходимость обеспечивать семантическую интерпретацию является одним из основных требований, которым должны удовлетворять структуры, порожденные синтаксическим компонентом грамматики. Обсуждение данных вопросов см. в [Chomsky 1957; 1964; Lees 1957; Katz, Postal 1964] и многих других публикациях.

Обсуждению этих вопросов в современной лингвистике уделялось слишком мало внимания. В результате по поводу них возникло немало путаницы, а многие догматические утверждения провозглашались и неоднократно повторялись без какой-либо попытки доказать или подкрепить их серьезными аргументами. Эти проблемы важны; пока на какой-либо из этих вопросов не может быть с уверенностью дан ответ, неопределенная позиция, которую занимает лингвист, может иметь важное влияние на характер выполняемой им работы.

чения дескриптивной адекватности является то, что они стоят выше. Немаловажно также поднять вопрос об «объяснительной адекватности» лингвистической теории. Сущность данного вопроса можно легко оценить в терминах проблемы построения гипотетического устройства усвоения языка (language-acquisition device) AD, которое способно производить на «выходе» дескриптивно адекватную грамматику G для языка L на основе некоторых первичных языковых данных из L в качестве входа; то есть устройства, представленного схематически в (10):

(10) первичные языковые данные \rightarrow AD \rightarrow G

Естественно, мы хотим, чтобы устройство AD было независимо от языка — то есть способно выучить любой из человеческих языков, и только их. Другими словами, мы хотим, чтобы оно в неявном виде предоставляло определение понятия «человеческий язык». Если бы мы могли разработать спецификацию подобного устройства усвоения языка, мы могли бы с основанием утверждать, что способны предоставить объяснение языковой интуиции — скрытой (tacit) компетенции — говорящего на языке. Это объяснение было бы основано на допущении, что спецификация устройства AD дает основу для усвоения языка, при том, что первичные языковые данные из некоторого языка предоставляют эмпирические условия, в которых происходит разработка порождающей грамматики. Трудности разработки эмпирически адекватной и независимой от языка спецификации AD слишком очевидны, чтобы требовать развернутой дискуссии; жизненная важность постановки данной проблемы и ее интенсивного изучения на каждом этапе лингвистического исследования также, как мне кажется, находятся за пределами самой возможности обсуждения <...>.

Для того, чтобы провести исследование объяснительной адекватности, мы можем пойти двумя параллельными путями. Во-первых, мы должны попытаться предоставить настолько узкую спецификацию перечисленных в (9) аспектов лингвистической теории, насколько это совместимо с известным разнообразием языков — мы должны, другими словами, разработать настолько мощную гипотезу относительно языковых универсалий, насколько это может быть поддержано доступными данными. Эта спе-

цификация может затем быть приписана системе AD в качестве ее неотъемлемого свойства. Во-вторых, мы можем попытаться разработать общую процедуру оценки, в качестве неотъемлемого свойства AD, которая позволит этой системе выбирать определенного представителя из класса грамматик, удовлетворяющих спецификациям (9) на основе представленных первичных языковых данных (или, предположительно, выбирать небольшое множество альтернатив, хотя эта абстрактная возможность вряд ли заслуживает обсуждения в настоящее время). Эта процедура затем позволит устройству выбрать одну из априорно возможных гипотез — одну из разрешенных грамматик, — которая совместима с эмпирическими данными из заданного языка. Выбрав такую гипотезу, устройство «овладело» языком, описанным данной грамматикой (и, тем самым, оно знает гораздо больше, нежели оно «выучило» явным образом). Имея лингвистическую теорию, которая определяет (9), и процедуру оценки, мы можем объяснить какой-либо из аспектов компетенции говорящего в случае, если сможем с некоторым правдоподобием показать, что данный аспект его компетенции обусловлен наиболее высоко оцененной из допустимых грамматик, которая совместима с данными того рода, которые были ему представлены.

Заметим, что процедура оценки (мера простоты (*simplicity measure*), как ее зачастую именуют в специальных работах) сама по себе является эмпирической гипотезой относительно универсальных свойств языка; иными словами, это гипотеза, истинная или ложная, о предпосылках для усвоения языка. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, мы должны рассмотреть свидетельства, касающиеся фактического отношения между первичными языковыми данными и дескриптивно адекватными грамматиками. Мы должны задаться вопросом, действительно ли предложенная процедура оценки может служить посредником для этого эмпирически данного отношения. Процедура оценки, тем самым, имеет во многом статус физической константы; в частности, невозможно поддержать или отвергнуть вносимое предложение на основе некоторого априорного довода.

Опять же, необходимо понять, что нет ничего спорного в том, что только что было сказано. Можно на выбор иметь или не иметь

дело с проблемой объяснительной адекватности. Тот, кто предпочтет проигнорировать эту проблему, может обнаружить (и, по моему мнению, это непременно произойдет), что он исключил из рассмотрения один из наиболее важных источников свидетельства по тем проблемам, которые остаются (в частности, проблема дескриптивной адекватности)⁷. Его положение тогда может быть совершенно аналогично положению человека, который решил ограничить свое внимание поверхностными структурами (при исключении глубинных структур) или первыми частями предложений. Он должен показать, что ограничение области интересов оставляет ему некоторый достойный внимания объект изучения. Но, в любом случае, у него, конечно же, нет оснований возражать против попытки других лингвистов изучать тот общий вопрос, в котором он (по моему мнению, искусственно) выделил только одну грань.

Я надеюсь, что этих заметок будет достаточно для того, чтобы показать полную беспредметность многих из тех споров о конкретных процедурах оценки (мерах простоты), которые предлагались в качестве эмпирических гипотез относительно формы языка в ходе работы в рамках порождающей грамматики. В качестве одного из примеров рассмотрим критику Хаусхолдера [*Householder*

⁷ Причина этого крайне проста. Выбор дескриптивно адекватной грамматики для языка L всегда во многом недостаточно определен (имеется в виду, для лингвиста) данными из L. Другие релевантные данные могут быть привнесены путем изучения дескриптивно адекватных грамматик других языков, но лишь в случае, если у лингвиста есть объяснительная теория только что описанного типа. Такая теория может получить эмпирическую поддержку в случае, если она производит дескриптивно адекватные грамматики для других языков. Более того, она заранее предписывает форму грамматики L и процедуру оценки, которая ведет к выбору этой грамматики, при наличии данных. Таким образом, она позволяет данным из других языков играть роль в подтверждении грамматики, выбранной в качестве эмпирической гипотезы относительно говорящих на L. Такой подход вполне естественен. Следуя ему, лингвист приходит к выводу относительно говорящих на L на основе поддержанного независимо предположения о природе языка в целом — то есть предположения относительно той общей «*faculté de langage*», которая делает возможной усвоение языка.

1965] по поводу некоторых предложений Халле относительно подходящей процедуры оценки для фонологии. Халле представил определенную теорию фонологических процессов, включающую, в качестве существенной части, некоторую эмпирическую гипотезу относительно меры простоты. Решающим аспектом данной теории была ее опора исключительно на различительные признаки в формулировке фонологических правил, при исключении какой-либо «сегментной» нотации (например, фонемной нотации), кроме как в качестве неформального способа пояснения. Его мера оценки включала в себя минимизацию признаков в лексиконе и фонологических правилах. В поддержку данной теории он показал, что множество фактов при этих допущениях может быть объяснено. Халле обсуждал также альтернативные теории, которые используют сегментную нотацию наряду с или вместо признаковой нотации, и привел несколько доводов, чтобы показать, что при этих допущениях трудно представить себе, как может быть сформулирована эмпирически надежная мера оценки — в частности, он показал, как различные достаточно естественные средства, включающие минимизацию, оказываются неадекватными на эмпирических основаниях.

Хаусхолдер не делает попытки опровергнуть эти доводы, но просто отвергает их, поскольку они не удовлетворяют некоторым априорным условиям, которые он произвольным образом налагает на любое понятие «процедуры оценки», — в частности, требование, согласно которому такая процедура должна благоприятствовать грамматикам, которые используют меньшее число символов и которые лингвисту легче читать. Поскольку грамматики, предлагаемые Халле, с их последовательной опорой на признаковое представление, требуют больше символов, чем грамматики, использующие вспомогательные символы в качестве сокращений для множеств признаков, и поскольку грамматики Халле (как утверждает Хаусхолдер) трудно читать, он заключает, что теория, на которой они основаны, должна быть ошибочной. Но, очевидно, априорные доводы подобного рода не имеют отношения к эмпирической гипотезе о природе языка (т.е. о структуре общего механизма усвоения языка, как он описан выше). Следовательно, критика Хаусхолдера не имеет никакого значения для

каких-либо из обсуждаемых Халле вопросов. К сожалению, значительная доля критики в недавних попытках разработать действенные меры оценки основана на сходных допущениях.

Заметим, между прочим, что существует один интересный, но плохо понимаемый смысл; в его рамках можно говорить о «простоте», «изяществе» или «естественности» теории (языка, химической связи и т.п.), однако «абсолютный» смысл простоты не имеет какого-либо явного значения для попыток разработать меру оценки (меру простоты) как часть теории грамматики. Подобная теория является эмпирической гипотезой, истинной или ложной, предложенной для объяснения некоторой области языковых фактов. Та «мера простоты», которую она содержит, является составной частью этой эмпирической гипотезы. Различие между «простотой» как абсолютным понятием общей эпистемологии и «простотой» как частью теории грамматики неоднократно подчеркивалось; путаница относительно этого вопроса остается, тем не менее, довольно распространенной. Неспособность провести это различие делает недействительной большую часть критики оценочных процедур, которая появлялась в последние годы. <...>

Н. Хомский

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕОРИИ ВРОЖДЕННЫХ ИДЕЙ

Резюме устного доклада (Философия языка. М., 2004)

Я думаю, что будет полезно разделить два вопроса в обсуждении настоящей темы — один из них это вопрос исторической интерпретации, а именно, в чем состояло содержание классического учения о врожденных идеях (innate ideas), скажем, у Декарта или Лейбница; второй это сущностный вопрос, а именно, что мы можем сказать о предпосылках усвоения языка в свете доступной в настоящее время информации — какие допущения мы можем сделать относительно психологически априорных принципов, которые определяют характер обучения и природу того, что усваивается.

Эти вопросы независимы; каждый из них по-своему интересен, и я скажу несколько слов о каждом. При этом я бы хотел выдвинуть то предположение, что теория психологических априорных принципов, которой придерживаются современные исследования, имеет разительное сходство с классическим учением о врожденных идеях. Следует, тем не менее, четко понимать раздельность этих вопросов.

Частный аспект сущностного вопроса, который я собираюсь рассматривать, это проблема усвоения языка. Я думаю, что рассмотрение природы языковой структуры может пролить свет на некоторые классические проблемы относительно происхождения идей.

Чтобы разработать основу для обсуждения, рассмотрим задачу построения модели усвоения языка, абстрактного «устройства усвоения языка» (language-acquisition device), которое в некоторых аспектах повторяет достижения человека, успешно овладевающего языковой компетенцией. Мы можем представить это устройство в виде системы входа — выхода:

данные → УЯ → знание

Чтобы исследовать сущностный вопрос, мы сначала попытаемся определить природу выхода во многих случаях, а затем определить характер функции, связывающей вход с выходом. Заметим, что это сугубо эмпирический вопрос; здесь нет места каким-либо догматическим или произвольным утверждениям о внутренней, врожденной структуре устройства УЯ. Эта проблема совершенно аналогична проблеме изучения врожденных принципов, которые позволяют птице приобретать знание, проявляющееся в постройке гнезд или пении. Не существует способа определить на априорном основании, в какой степени в эти действия вовлечен такой компонент, как инстинкт. Чтобы изучить этот вопрос, мы должны были бы попытаться определить по поведению взрослого животного, какова именно природа его компетенции, и затем мы должны были бы построить гипотезу второго порядка о тех врожденных принципах, которые приводят к этой компетенции на основе предоставляемых данных. Мы могли бы углубить исследование, воздействуя на входные условия, тем самым расширяя информацию, связанную с данным

отношением входа — выхода. Сходным образом, в случае усвоения языка, мы можем провести аналогичное исследование усвоения языка при разнообразии входных условий, например, с привлечением данных из различных языков.

В любом случае, как только мы выработали некоторое понимание природы приобретаемой в результате компетенции, мы можем обратиться к исследованию врожденных мыслительных функций, которые обеспечивают усвоение компетенции. Заметим, что условия данной задачи задают верхнюю границу и нижнюю границу той структуры, которую мы можем предполагать в качестве врожденной в устройстве усвоения. Верхняя граница создается за счет разнообразия компетенции, получаемой в результате, — в нашем случае, разнообразия языков. Мы не можем навязывать нашему устройству требования такой структуры, чтобы при этом исключалось усвоение каких-либо из засвидетельствованных языков. Так, мы не вправе предположить, что врожденными для данного устройства являются специфические правила английского языка и только они, поскольку это будет несообразно с тем фактом, что китайский язык может быть усвоен столь же легко, как и английский. С другой стороны, мы должны приписать этому устройству достаточно богатую структуру, чтобы выход мог быть получен в рамках наблюдаемых пределов времени, данных и доступа.

Повторю, не существует оснований для каких-либо догматических утверждений о природе УЯ. Единственными условиями, которые мы должны учитывать при разработке подобной модели врожденной умственной способности (*mental capacity*), являются те, которые проистекают из разнообразия языков и из необходимости выработать эмпирически засвидетельствованную компетенцию в рамках наблюдаемых эмпирических условий.

Как только мы сталкиваемся с проблемой тщательной разработки подобной модели, тут же становится очевидно, что далеко не просто сформулировать гипотезу о врожденной структуре, достаточно мощную для того, чтобы она была способна удовлетворить условию эмпирической адекватности. Компетенция взрослого, или даже маленького ребенка, такова, что мы должны приписать ему такое знание языка, которое намного превосхо-

дит все, что он когда-либо выучил. По сравнению с числом предложений, которое ребенок может с легкостью построить или понять, число секунд в человеческой жизни до смешного мало. Отсюда очевидно, что данные, которые доступны в качестве входа, представляют собой всего лишь незначительный образец того языкового материала, которым человек полностью овладел, на что указывает реальное употребление. Более того, огромное разнообразие входных условий не ведет к широкому разнообразию в итоговой компетенции, насколько мы можем это обнаружить. Более того, значительное разнообразие в умственных способностях оказывает лишь небольшое влияние на итоговую компетенцию. Далее, мы наблюдаем, что потрясающее интеллектуальное достижение, которым является усвоение языка, осуществляется в тот период времени, когда ребенок мало на что другое способен, и что эта задача находится полностью за пределами возможностей человекообразной обезьяны, в других отношениях вполне разумной. Подобные наблюдения приводят к тому, что с самого начала у нас возникает подозрение, что мы имеем дело со специфической видовой особенностью, имеющей значительный врожденный компонент. Мне кажется, что это начальное ожидание хорошо поддерживается глубоким изучением языковой компетенции. Существует несколько аспектов нормальной языковой компетенции, которые являются ключевыми для данного обсуждения.

I. Творческий аспект использования языка

Данным выражением я обозначаю способность производить и интерпретировать новые предложения вне зависимости от «контроля стимула» — т.е. внешних стимулов или независимо распознаваемых внутренних состояний. Обычное использование языка является в этом смысле «творческим», на что многократно указывалось в традиционной рационалистской теории языка. Предложения, используемые в повседневной речи, не являются «знакомыми предложениями» или «обобщениями знакомых предложений» в терминах какого-либо из известных процессов обобщения. В сущности, абсурдно даже говорить о «знакомых предложениях». Та идея, что предложения или формы предложе-

ний выучиваются по ассоциации или по обусловливанию <...> или благодаря «тренировке», как предполагалось в недавних бихевиористских рассуждениях, полностью расходится с очевидным фактом. В более общем виде важно понимать, что ни в каком формальном смысле слова употребление языка не может рассматриваться как вопрос «привычки», а язык не может рассматриваться как «совокупность вариантов для ответной реакции».

Компетенция человека может быть представлена в виде *грамматики*, которая является системой правил, устанавливающих взаимные соответствия между семантическими и фонетическими интерпретациями. Очевидным образом эти правила действуют в бесконечных пределах. Как только человек овладел этими правилами (конечно, бессознательно), он в принципе способен использовать их для приписывания семантических интерпретаций сигналам вполне независимо от того, поступают они к нему целиком или их части, в том случае, если они состоят из элементарных единиц, которые он знает и которые объединяются по правилам, которые он усвоил. Центральная проблема в разработке устройства усвоения языка заключается в том, чтобы показать, как может возникнуть такая система правил при тех данных, которые доступны ребенку. Чтобы получить хоть какую-то ясность в этом вопросе, естественно обратиться к более глубокому исследованию природы грамматик. Я думаю, в последние годы был достигнут подлинный прогресс в нашем понимании природы грамматических правил и способа их функционирования при приписывании семантических интерпретаций фонетически представленным сигналам; стало ясно, что именно в этой области можно обнаружить результаты, которые имеют некоторое отношение к природе устройства усвоения языка. <...>

III. Универсальный характер языковой структуры

Насколько позволяют судить доступные данные, мне представляется, что очень строгие условия, налагаемые на форму грамматики, являются универсальными. Глубинные структуры кажутся очень сходными от языка к языку, и также кажется, что правила, которые управляют ими и интерпретируют их, относятся к очень узкому классу возможных формальных операций. Не су-

существует априорной необходимости для языка быть устроенным столь специфическим и в высшей степени необычным образом. Нет такого понимания «простоты», при котором подобное устройство языка могло бы быть разумным образом описано как «наиболее простое». Отсутствует какое-либо содержание и в утверждении о том, что это устройство в некотором смысле «логично». Более того, было бы совершенно невозможно утверждать, что данная структура является всего лишь второстепенным следствием «общего происхождения». Безотносительно к вопросам исторической точности, достаточно заметить, что эта структура должна быть заново открыта каждым ребенком, который выучивает язык. Более точно, задача заключается в том, чтобы установить, как ребенок устанавливает, что структура его языка обладает теми специфическими характеристиками, к постулированию которых приводит нас эмпирическое исследование языка, при тех скудных данных, которые он получает. Заметим, кстати, что эти данные не только скудны по объему, но и крайне неудовлетворительны по качеству. Тем самым, ребенок выучивает принципы образования предложений и интерпретации предложений на основе такого корпуса данных, который состоит, в большой степени, из предложений, отклоняющихся по форме от идеализированных структур, которые определены постигаемой им грамматикой.

Вернемся теперь к проблеме создания устройства усвоения языка. Доступные свидетельства показывают, что выходом данного устройства является система рекурсивных правил, которая обеспечивает основу для творческого характера использования языка и которая управляет в высшей степени абстрактными структурами. Более того, эти лежащие в основе абстрактные структуры и те правила, которые к ним применяются, обладают чрезвычайно ограниченными свойствами. Эти свойства кажутся единообразными для языков и для различных индивидуумов, говорящих на одном языке, и кажутся неизменными по отношению к умственным способностям и индивидуальному опыту. Инженер, столкнувшись с проблемой разработки устройства, удовлетворяющего заданным условиям входа и выхода, пришел бы к естественному заключению, что основные свойства выхода являются следствием конструкции этого устройства. Насколько

я могу видеть, не существует какой-либо убедительной альтернативы этому допущению. Говоря более конкретно, упомянутые мною свидетельства приводят нас к тому выводу, что данное устройство тем или иным способом включает в себя: фонетическую теорию, которая определяет класс возможных фонетических репрезентаций; семантическую теорию, которая определяет класс возможных семантических репрезентаций; программу, которая определяет класс возможных грамматик; общий метод интерпретации грамматик, который приписывает семантическую и фонетическую интерпретацию каждому предложению при наличии грамматики; метод оценки, который приписывает некоторую степень «сложности» грамматикам.

При подобном описании процесс приобретения знания языка таким устройством мог бы выглядеть следующим образом: имеющаяся программа грамматики определяет класс возможных гипотез; метод интерпретации позволяет провести проверку каждой гипотезы на поступающих данных; мерой оценки выбирается наиболее высоко оцененная грамматика, совместимая с данными. Когда гипотеза — конкретная грамматика — выбрана, обучающийся знает язык, определенный данной грамматикой; в частности, он способен ставить в соответствие семантические и фонетические интерпретации для неограниченного числа предложений, которые он никогда не воспринимал. Таким образом, его знание распространяется гораздо дальше его опыта и не является «обобщением» на основе его опыта в каком-либо значимом смысле слова «обобщение» (за исключением того тривиального смысла, который определен внутренней структурой устройства усвоения языка).

Следуя по этому пути, можно искать гипотезу об усвоении языка, которая вписывалась бы между верхним и нижним пределами, обсуждавшимися выше и установленными самим характером этой задачи. Очевидно, для того, чтобы произошло обучение языку, класс возможных гипотез — программа грамматики — должен быть сильно ограничен.

Данная характеристика является схематичной и идеализированной. Мы можем наполнить ее содержанием, определив систему усвоения языка согласно тому, как было обрисовано выше.

Я думаю, что следуя в данном направлении, можно дать очень правдоподобное и конкретное описание, однако здесь не самое подходящее место развивать подробнее этот вопрос, развернутое обсуждение которого содержится во многих работах по трансформационной порождающей грамматике.

До сих пор я обсуждал лишь сущностный вопрос о предпосылках усвоения знания языка, о тех априорных принципах, которые определяют, как и в каком виде приобретается такое знание. Теперь же я попытаюсь поместить это обсуждение в исторический контекст.

Прежде всего, я упомянул три ключевых аспекта языковой компетенции: (1) творческий характер использования языка; (2) абстрактную природу глубинной структуры; (3) очевидную универсальность чрезвычайно специфической системы механизмов, формализованных в настоящее время в виде трансформационной грамматики. Интересно заметить, что эти три аспекта языка обсуждаются в рационалистической философии XVII века и у ее последователей, и что лингвистические теории, которые были разработаны в рамках этой дискуссии, по сути являются теориями трансформационной грамматики.

Следовательно, было бы исторически корректно охарактеризовать только что обрисованные взгляды на языковую структуру как рационалистическую концепцию природы языка. Более того, я вновь использовал ее, в классическом виде, для обоснования того, что по праву может быть названо рационалистической концепцией усвоения языка, если мы примем в качестве сути данной точки зрения то, что общий характер знания, категории, в которых оно выражается или внутренне представлено, и основные принципы, лежащие в ее основе, определяются природой разума. В нашем случае тот схематизм, который приписан в качестве врожденного свойства устройству усвоения языка, определяет и форму знания (в одном из многих традиционных смыслов слова «форма»). Роль опыта состоит лишь в том, чтобы заставить врожденный схематизм действовать и затем видоизменяться и формироваться определенным способом.

Резко отличны от рационалистической точки зрения классические эмпиристские положения о том, что врожденными явля-

ются: (1) некоторые элементарные механизмы периферийной обработки данных (система органов чувств) и (2) некоторые аналитические механизмы, или индуктивные принципы, или механизмы ассоциации. Здесь утверждается, что предварительный анализ опыта обеспечивается периферийными механизмами обработки и что понятия и знания человека, помимо этого, усваиваются путем применения врожденных индуктивных принципов к этому изначально проанализированному опыту. Тем самым, только процедуры и механизмы усвоения знания представляют собой врожденное устройство. По поводу усвоения языка имелось множество эмпирических размышлений о том, каковы могут быть эти механизмы, однако единственная относительно ясная попытка выработать какое-либо его специальное описание обнаруживается в современной структурной лингвистике, которая попыталась разработать системы индуктивных аналитических процедур сегментации и классификации, которые могут быть применены к данным для того, чтобы определить грамматику. Вполне вероятно, что эти методы могли бы быть несколько усовершенствованы до такой степени, чтобы они производили поверхностные структуры многих высказываний. Совершенно невероятно, чтобы они могли быть разработаны до такой степени, чтобы производить глубинные структуры или абстрактные принципы, которые порождают глубинные структуры и связывают их с поверхностными структурами. Это не является вопросом дальнейшего усовершенствования, но требует полностью отличного подхода к проблеме. Сходным образом, трудно представить себе, как расплывчатые предложения об обусловливании и ассоциативных сетях, которые можно обнаружить в философских и психологических рассуждениях эмпиристского толка, могли бы быть развиты или усовершенствованы таким образом, чтобы предусмотреть засвидетельствованную компетенцию. Система правил для порождения глубинных структур и соотнесения их с поверхностными структурами способом, свойственным естественному языку, попросту не обладает свойствами ассоциативной сети или набора родственных привычек; поэтому никакое усовершенствование принципов разработки подобных структур не может быть подходящим для задачи создания устройства усвоения языка.

До сих пор я ничего не сказал об учении о существовании врожденных идей и врожденных принципов различных типов, которые определяют характер того, что может быть узнано, причем по-видимому достаточно ограниченным и высокоорганизованным способом. Согласно традиционной точке зрения, условие приведения в действие данных врожденных механизмов состоит в том, чтобы предоставить соответствующее побуждение. Это побуждение предоставляет разуму возможность применить определенные врожденные интерпретирующие принципы, определенные понятия, которые происходят скорее из самой «власти понимания», из способности думать, нежели из каких-либо внешних объектов. <...>

Мне кажется, что обсуждавшиеся выше выводы относительно природы усвоения языка находятся в полном соответствии с учением о врожденных идеях, понимаемом таким образом, и могут рассматриваться как предоставляющие своего рода подтверждение и дальнейшее развитие этого учения. Конечно, подобное предложение поднимает нетривиальные вопросы исторической интерпретации.

Достаточно ясным мне представляется то, что нынешнее положение дел с исследованием обучения языку и других аспектов интеллектуальных достижений человека, сравнимых по сложности, выглядит следующим образом. Мы имеем некоторое количество данных о грамматиках, которые должны являться выходом модели усвоения. Эти данные ясно показывают, что знание языка не может возникнуть в результате пошаговых индуктивных операций (процедур сегментации, классификации, подстановки, а также «аналогии», ассоциации, обусловливания и т.п.) какого бы то ни было вида, разрабатывавшихся или обсуждавшихся в лингвистике, психологии и философии. Последующие эмпирические размышления не добавили ничего такого, что хотя бы в чем-то предлагало способ преодоления ограничений, внутренне присущих тем методам, которые выдвигались и разрабатывались до сих пор. Более того, не существует каких-либо иных оснований продолжать эти эмпирические размышления и избегать того нормального утверждения, свободного от теоретических предубеждений, которое можно сформулировать перед ли-

цом эмпирических свидетельств того рода, как описано выше. В частности, в психологии или физиологии не известно ничего такого, что заставляло бы думать, будто эмпирический подход хорошо обоснован, либо что давало бы какие-либо основания для скептицизма относительно обрисованной выше рационалистической альтернативы. <...>

Д. Слобин

ПСИХОЛИНГВИСТИКА

(Слобин Д., Грин Дж. Психоллингвистика. М., 1976)

Языковое развитие ребенка

...ибо я не был более бессловесным младенцем, но мальчиком, который говорил. Я помню это, и с тех пор всегда размышлял о том, как я научился говорить. Нет, взрослые вокруг меня не учили меня словам... каким-то определенным методом, я сделал это сам, страстно желая своим плачем, резкими криками, всеми движениями своего тела выразить свою волю, но не умея выразить все, что я желал, или тому, кому желал, я сделал это сам благодаря прозрению, которое Ты, о Господи, дал мне, сделал сам, перебирая звуки в своей памяти. И так, постоянно слыша слова, которые звучали в разных предложениях, постепенно стал понимать, что они значат, и, ломая язык, чтобы заставить звуки превратиться в эти знаки, я таким образом дал выход своей воле. Так я и окружающие меня начали обмениваться этими переходящими знаками, выражающими наши желания, и так я все глубже погружался в бурное море человеческого общения...

Св. Августин

Тайна того, каким образом ребенок учится говорить, интересовала и волновала людей еще со времен античности — несомненно, за тысячи лет до того, как появились размышления св. Августина. Умственные способности ребенка во многих отноше-

ниях, видимо, ограничены, и тем не менее он овладевает исключительно сложной структурой родного языка всего за какие-нибудь три или четыре года. Более того, каждый ребенок, сталкиваясь с новым для него явлением родного языка, довольно скоро «подводит» его под одну и ту же грамматику, практически без сознательной помощи родителей или с очень незначительной их помощью. Это значит, что ребенок быстро становится полноправным членом своего языкового общества, способным производить и понимать бесконечное число новых для него, но тем не менее значимых предложений на языке, которым он овладел.

<...> современная лингвистическая теория может помочь нам в понимании процесса овладения языком. До недавнего времени бихевиористская психология рассматривала речь, а также процесс овладения неродным языком просто как одну из форм человеческого поведения, которую можно свести к закономерностям образования условных реакций. Картина, которая начинает вырисовываться перед нами теперь, иная — ребенок сам творчески создает свой язык в соответствии с внутренними и врожденными способностями, сам создает все новые теории структуры языка, модифицируя и отбрасывая старые теории по мере своего движения вперед. Эта картина резко отличается от традиционных представлений о том, что овладение языком управляется такими переменными, как частотность, новизна, смежность и подкрепление реакции. Прежде чем говорить об этих теоретических разногласиях, необходимо рассмотреть некоторые факты, касающиеся овладения языком. <...>

Первые попытки младенца осуществить звуковое общение имеют ряд существенных отличий от речи взрослого. Имеется определенный набор врожденных звуковых сигналов, служащих для выражения некоторого круга потребностей. Однако проходит много времени, прежде чем звуковые сигналы начинают использоваться для обозначения объектов и событий, для вопросов и ответов и т.п. Обычно к концу первого года жизни ребенок уже произносит несколько четко дифференцированных звуков, и родители считают, что в лепете ребенка появились «первые слова». Эти первые слова часто обладают силой настоящих предло-

жений и получили название «однословных предложений». Значение их изменяется в зависимости от ситуации, и поэтому *мама* может значить и *Мама, иди сюда*, и *Вот мама*, и *Я хочу есть* и множество других вещей. Мы еще не можем говорить об *активной* грамматике ребенка, потому что он еще не соединяет свои слова в более длинные высказывания. Возможно, что у ребенка уже есть «пассивная» грамматическая система, это значит, что он умеет понимать некоторые грамматические модели речи взрослых, но эта тонкая и сложная проблема до сих пор практически не исследовалась.

Наши новые представления о детской речи, о которых я говорил выше, обязаны своим появлением трансформационной грамматике. Методологические преимущества этого нового взгляда хорошо видны, если сравнить старые и последние работы по детской речи. Долгие годы эта область была скучнейшим разделом психологии развития и включала только подсчеты слов, подсчеты фонем, подсчеты моделей предложений и т.п. и их классификацию по возрастному принципу. Поскольку детские слова классифицировались по категориям частей речи в языке взрослых, эти кропотливые и утомительные исследования (можно представить себе их утомительность, если они проводились еще до эпохи вычислительных машин) невозможно интерпретировать, потому что дело не в том, к какой части речи языка взрослых может быть отнесено то или иное детское слово, а в том, какую роль оно играет в языковой системе данного ребенка. Теперь нам очевидно, что ребенок создает какие-то собственные категории слов, основанные на функциях слов в языковой системе ребенка, и что слова нужно рассматривать в рамках всей языковой системы *ребенка*, а не системы взрослого, которой ребенок еще не овладел.

Яркое подтверждение этому дают исследования самых ранних стадий речевого развития. Почти все работы, посвященные исследованию грамматики, охватывали период от полутора до четырех лет. Краткий очерк этих работ покажет нам, насколько важно исследование грамматики для понимания умственного развития ребенка. <...>

Трансформации

Развитие грамматических трансформаций представляет значительные трудности для исследования, а результаты исследований слишком сложны для изложения в такой книге, как эта, имеющей характер краткого введения в психолингвистику. На ранней стадии двусловных предложений еще трудно говорить о наличии трансформаций. Выше уже отмечалось, что скрытые речевые намерения ребенка, или смысл высказывания, могут быть гораздо сложнее поверхностной формы высказывания, которое производит ребенок. Но пока нет оснований говорить о существовании каких-то систематических правил, связывающих глубинный смысл с поверхностной формой высказывания. Скорее лингвистические факторы (performance factors) заставляют ребенка ограничиваться очень коротким высказыванием.

Существуют весьма простые способы обозначения таких категорий, как вопрос и отрицание, когда поверхностная структура столь ограничена. Предложение становится вопросом благодаря повышающейся интонации. Если ребенок хочет построить отрицательное высказывание, он просто прибавляет «не» или «нет». Поскольку предложения ребенка так просты, ему не требуется сложный трансформационный аппарат речи взрослых. Будь все наши предложения такими же короткими, как *Я иду*, все бы нас прекрасно поняли, если бы мы прибавили простейшее отрицание: *Нет я иду* или *Я иду нет*, или что-нибудь в этом роде. Но если нужно сделать отрицательным предложение типа *Ему нравятся девушки, которые носят греческие сумки*, то нельзя просто прибавить отрицание «не» в начале или в конце фразы и при этом ожидать, что нас правильно поймут. Чтобы такое предложение стало отрицательным, требуется некоторая дополнительная работа. Если отрицается первая часть предложения, то в английском языке нужно ввести глагол *do*, добавить к нему нужное окончание и поставить его в отрицательную форму: *He doesn't like girls who carry Greek bag* (*Ему не нравятся девушки, которые носят греческие сумки*). Если же отрицанию подлечит вторая часть, нужно ввести *do* несколько позже и тоже проделать с ним все необходимые операции: *He likes girls who don't carry Greek bag* (*Он любит*

девушек, которые не носят греческие сумки). (Впрочем, можно отрицать обе части предложения).

Итак, вначале ребенок не испытывает большой нужды в трансформационной системе, потому что его предложения просты и коротки. Он может, собственно, обойтись предложениями типа *He сидеть здесь* и *Надеть варежки нет*. По мере развития ребенок хочет говорить все более и более сложные вещи и должен определить способы, при помощи которых он может это сделать. Сначала у него это не очень получается, и он изобретает довольно «топорные» грамматики. Постепенно эти «топорные» грамматики становятся, по-видимому, непригодными, и ребенку приходится изобретать что-то вроде трансформационной грамматики, чтобы передать то, что он хочет. <...>

В одной части своего исследования Беллуджи-Клима (1968) показывает существование отдельных грамматических трансформаций в речи ребенка, и мы коротко остановимся на ней. Речь идет <...> об образовании вопросов при помощи «*wh*-слов» (*what, who, why* и т.д.). <...> дети часто образуют вопросы типа *What the boy hit?* Можно привести еще типичные примеры: *What he can ride in?*; *What he wants?*; *Where I should put it?* и *Why he's doing it?* Во всех этих примерах ребенок правильно производит одну грамматическую операцию — ставит в начале предложения вопросительное слово. Но он не может произвести следующую операцию — ввести вспомогательный глагол и поставить его перед подлежащим. Беллуджи-Клима обнаружила, что на том этапе, когда ребенок уже умеет составлять *wh*-вопросы типа *What he can ride in?*, он умеет также и осуществлять инверсию в вопросах, предполагающих ответ «да» или «нет», типа *Can he ride in a truck?* Значит, ребенку доступна операция инверсии, или транспозиции. Отсюда можно заключить, что обе операции — препозиции и транспозиции — операции, «психологически реальные» для ребенка, потому что полученные данные говорят о том, что ребенок умеет производить каждую из этих операций отдельно. Очевидно, существуют какие-то деятельностные ограничения, какие-то пределы «объема программирования предложения», которые блокируют одновременно выполнение обеих операций на этой стадии развития. «Ошибки» ребенка как раз и обнаруживают использование грамматических трансформаций.

Предложения типа *Where I can put them?*, безусловно, создаются самим ребенком. Невероятно, чтобы это была имитация речи взрослых. Более того, когда ребенка просят повторить правильное предложение, он чаще всего пропускает его через «фильтр» собственной грамматической системы:

Взрослый: *Адам, повтори за мной: Where can I put them?*

Адам: *Where I can put them?*

Похоже, что ребенок накладывает свою собственную структуру даже на то, что он слышит. Снова <...> мы сталкиваемся с примером *активного* восприятия, обрабатывающего слышимую речь в соответствии с собственной внутренней структурой.

Беллуджи-Клима высказывает предположение, что маленький ребенок действует в условиях ограниченного числа операций, которые он может произвести при порождении предложения. На этой стадии развития ребенок, очевидно, ограничивается лишь одной из двух операций — препозиции и транспозиции, он не может осуществить транспозицию в предложении, в котором нормы взрослой речи предписывают произвести обе операции. На следующих стадиях развития объем программирования предложения, очевидно, увеличивается, и ребенок уже может произвести обе операции в одном и том же предложении, создавая вполне нормативное предложение вроде *Why can he go out?* Однако произвести три операции, диктуемые системой взрослой речи, ребенок на этом этапе развития еще не может. Это обнаруживается при появлении в его речи операции отрицания. Отрицательный элемент должен присоединяться к вспомогательному глаголу, и ребенок демонстрирует свою способность контролировать эту операцию в предложениях типа *He can't go out*. Но посмотрите, что получается, когда для операции отрицания требуется произвести еще транспозицию и препозицию: ребенок говорит *Why he can't go out?*, не производя транспозицию, хотя он прекрасно делает это в соответствующем утвердительном предложении *Why can he go out?*

<...> Этих нескольких примеров достаточно, чтобы показать, насколько сложна задача овладения родным языком, стоящая перед ребенком. Не забывайте об этом, когда позднее в этой главе мы будем обсуждать проблему возможной психологической

основы такого процесса овладения языком. Но прежде рассмотрим более подробно понятие «правило».

Что такое «правило»?

Мы уже не раз отмечали, что говорящий знает правила своего языка, что в речи ребенка появляются различного типа правила. Вы, очевидно, помните, что огромная продуктивность человеческого языка — способность производить и понимать бесконечное число новых предложений — требует того, чтобы речь строилась по каким-то грамматическим правилам, а не на основе заучивания множества отдельных сочетаний слов. Но такое определение правила, к сожалению, весьма расплывчато и легко может быть неправильно понято. Слово «правило» может создать у вас впечатление, что психолингвисты предполагают у людей умение формулировать эксплицитные грамматические правила и что дети обучаются этим правилам. Конечно, мы имеем в виду совсем другое. Никто из нас не может, например, сформулировать все правила английской грамматики. Вероятно, это столь важное понятие правила станет яснее, если мы будем искать в поведении человека те данные, на основании которых можно сказать, что человек «владеет» определенными правилами или «действует» так, словно «знает» их. <...>

Существуют несколько уровней доказательства существования правил, от весьма слабых до вполне убедительных. Проще всего получить такие данные, анализируя естественное поведение — в нашем случае спонтанную речь ребенка. Например, на элементарном уровне двусловных высказываний, который мы только что рассмотрели, уже можно выявить некоторые закономерности, хотя бы потому, что в речи этого периода встречаются не все теоретически возможные комбинации слов. Это первое свидетельство существования правил, почерпнутое из онтогенеза — *закономерности поведения*.

Более строгим доказательством существования правил являются поиски ребенком возможности распространения этих правил на новые случаи. Как мы уже видели, спонтанная речь ребенка содержит немало свидетельств этого, а именно высказываний типа *it breaked* и *two mouses*. Джин Берко (Berko, 1958)

создала прямой тест для обнаружения способности ребенка переносить морфологические правила на новые слова, и разработанный ею метод, вероятно, окажется эффективным и для исследования других систем правил. Берко предлагала детям новые слова, и они имели возможность применить свои лингвистические знания для использования этих слов. Например, ребенку показывают картинку, на которой изображено маленькое животное под названием *wug*, а затем просят описать картинку, на которой изображено два таких животных. Если ребенок говорит *wugs*, это является убедительным доказательством того, что он знает, как при помощи данного окончания построить форму множественного числа в английском языке, несмотря на то что он безусловно не слышал никогда раньше слово *wug*.

Но существуют и еще более строгие тесты или определения правила. По мере развития ребенок обнаруживает *нормативное* чувство правила, а именно он научается определять, является ли высказывание правильным относительно некоторого языкового стандарта. Это как раз то, что лингвисты называют «чувством грамматичности». Существует несколько уровней доказательства того, что чувство грамматичности появляется с возрастом, демонстрируя все большую уверенность ребенка в его лингвистических силах.

И снова самые ранние свидетельства этого мы обнаруживаем в спонтанной речи ребенка. Когда ребенок прерывает свою речь и сам поправляет ошибки, мы можем видеть, что он уже управляет своей речью в соответствии с каким-то представлением о правильности. К трем годам случаи самостоятельного исправления ошибок становятся весьма часты. <...>

Возможно, еще более убедительным показателем чувства грамматичности является тот факт, что дети начинают замечать отклонения от нормы в речи других. Известно, что трехлетние дети поправляют речь других детей и даже родителей, хотя хронологическая зависимость между исправлением собственной речи и речи других не была установлена. <...>

Итак, в нашем распоряжении есть следующие данные, подтверждающие существование правил. Мы можем быть абсолютно уверены, что ребенок обладает какой-то системой правил, если

его речь подчиняется каким-то закономерностям, если он переносит эти закономерности на новые случаи и если он может определить отклонения от этих закономерностей в своей речи и в речи других. Это и имеют в виду обычно психолингвисты, говоря, что ребенок обучается, или создает, или овладевает лингвистическими правилами. Отметим, что я не упомянул здесь тест, который мог бы дать самый точный ответ на вопрос о существовании правил: *Может ли данный человек сформулировать правило эксплицитно? Как я уже отметил выше, если бы мы приняли этот критерий, никто из нас, конечно, с этим тестом не справился бы.* Поскольку до сих пор не написана исчерпывающая и адекватная грамматика английского (как и любого другого) языка, никто из нас *не знает* (если оценивать знания по этому критерию) правил английского языка. Мы следуем этим правилам и пользуемся ими имплицитно, но в очень редких случаях мы можем их сформулировать, и то не совсем правильно и весьма неуверенно. Способность эксплицитно формулировать правила не интересует нас в данном случае, потому что она представляет собой способность, совершенно отличную от рассматриваемой здесь нами. Как писала Эрвин-Трипп, «для того, чтобы стать носителем языка... нужно овладеть... правилами... Это значит, конечно, что нужно научиться вести себя так, *как будто ты знаешь эти правила*» <...>.

С точки зрения ученого все сказанное означает, что возможно описать поведение говорящего в терминах некоторой системы правил. Однако такое описание не должно ставить перед собой цель доказать, что изобретенные учеными правила реально существуют в сознании индивида в каком-то психологическом или физиологическом смысле. Если сформулировать это очень грубо и коротко, то можно сказать, что только что описанные виды поведения служат свидетельством того, что человек «будто бы знает правила» этого поведения.

Психолингвистика развития в США накопила много такого рода данных, позволяющих с уверенностью сказать, что дети, во всяком случае говорящие по-английски (независимо от цвета кожи и классовой принадлежности), развивают, проверяют и уточняют систему грамматических правил до тех пор, пока она не совпадает с языковой способностью взрослых. Более того, имеющиеся дан-

ные говорят о том, что разные дети проходят поразительно схожие этапы речевого развития <...>. И даже та сравнительно небольшая информация о развитии детей на материале других языков, которой мы располагаем, позволяет предположить универсальность основных этапов и процессов овладения языком.

Теории овладения языком

Для современных теорий и исследований в этой области наиболее характерным является стремление установить универсальность этого процесса и существование врожденных, биологических факторов, определяющих эту универсальность <...>. Вокруг проблемы врожденных факторов овладения языком вспыхивают ожесточенные и горячие споры. Влияние трансформационной грамматики, последние работы в этологии, исследования развития восприятия и познания, а также в других областях — все это вновь возбудило интерес психологов к врожденным аспектам развития интеллекта. Для многих психологов постулирование сложных, генетически запрограммированных перцептивных и когнитивных механизмов становится все более и более вероятным, если не единственно возможным. Проблема объяснения такого феномена, как овладение человеческим языком, уже давно занимает и, по-видимому, еще долго будет занимать в этих дебатах центральное место.

Теории овладения языком должны также принимать во внимание сложность задачи, стоящей перед ребенком, — особенно проблему обнаружения *глубинных* структур и значений предложения. Психологические теории научения исходят из того, что в основе научения лежат связи между стимулом и реакцией, но то, чему обучается ребенок в процессе речевого развития, вовсе не представляет собой связей S — R (стимул — реакция), а скорее сложную систему внутренних правил, которую мы уже рассматривали. При этом ребенок никогда не сталкивается с самой системой правил — он имеет дело только с конкретными предложениями в конкретных ситуациях. Каким же образом на основе такого опыта ребенок осваивает глубинную языковую систему?

Задача настолько сложна, что некоторым начинает казаться вероятным, что мозг ребенка каким-то образом «настроен» из-

начально на переработку структур такого рода, которые составляют человеческий язык, причем результатом этой переработки является нечто аналогичное трансформационной грамматике родного языка. Это не означает, что грамматическая система как таковая есть некое врожденное знание, но означает, что у ребенка есть какие-то врожденные средства для обработки информации и образования внутренних структур и, когда эти средства применяются к слышимой речи, ребенку удается сконструировать грамматику своего родного языка. Косвенным свидетельством в пользу этой точки зрения служит тот факт, что существует, по-видимому, некоторый биологически детерминированный «критический период» овладения человеком родным языком (в детстве) и что есть, вероятно, особые структуры в человеческом мозгу, которых нет в мозгу всех остальных животных и которые выполняют лингвистические функции <...>.

Эти утверждения еще отнюдь не доказаны и поэтому не могут быть здесь рассмотрены с достаточной подробностью. Возможно, следующие слова Ноэма Хомского вызовут у читателя интерес к спору, который ведется в лингвистике, в философии и в психологии:

«...знание грамматической структуры не может возникнуть в результате последовательного применения индуктивных операций (сегментация, классификация, операции замены, заполнение пустот внутри моделей, ассоциации и т.п.), которые выявлены лингвистикой, психологией или философией... Кажется совершенно очевидным, что овладение языком основано на открытии ребенком того, что с формальной точки зрения является глубокой и абстрактной теорией — порождающей грамматики родного языка, многие понятия и принципы которой весьма отдаленно связаны с реальными явлениями через длинные и запутанные цепочки бессознательных и только внешне логических связей.

Если говорить о типе грамматики, которой овладевает ребенок, то прежде всего бросается в глаза ненормативность и крайняя ограниченность исходных данных, на которых строится эта грамматика, поразительное сходство грамматик, построенных на основании этих данных разными людьми, независимость этих

грамматик от уровня интеллекта, мотивации, эмоционального состояния и множества других факторов, и тогда становится ясно, что вряд ли организм, в котором не заложено абсолютно никакой изначальной информации об общем характере структуры языка, может в такой степени овладеть этой структурой».

«...Исходя из имеющейся у нас теперь информации, разумно предположить, что ребенок не может не строить нечто вроде трансформационной грамматики для того, чтобы контролировать восприятие встречающихся языковых данных, точно так же, как контролируется его восприятие твердых предметов или признаков формы предмета. Поэтому вполне возможно, что общие признаки структуры языка отражают не столько индивидуальный опыт, сколько общие закономерности, определяющие способность человека овладевать знаниями — или, если употребить традиционный термин, врожденные идеи и принципы».

Рассмотрим основные положения психологической теории научения в свете взглядов Хомского. Классический подход к такого типа проблемам научения, который нас здесь интересует, сводится к следующему: ребенок получает «подкрепление» своих действий (как положительное, так и отрицательное), и тогда, на основе этого подкрепления, он «обобщает» схему своего будущего поведения с целью ее максимального приближения к требованиям подкрепляющего агента. Теперь представим себе маловероятную, но теоретически безупречную ситуацию подкрепления: всякий раз, когда ребенок произносит грамматически правильную фразу, он получает положительное подкрепление, а каждая грамматически неправильная фраза получает отрицательное подкрепление. Может ли в результате подкрепления по такой схеме возникнуть грамматически правильная речь? Очевидно, может, но это ничего не говорит нам о том, каким образом ребенок овладевает глубинными понятиями грамматики, обеспечивающими правильную деятельность. Простое установление того факта, что сказанное ребенком предложение неправильно, ничего не говорит ему о том, где именно при порождении этого высказывания он допустил ошибку, и уж во всяком случае, ребенок не получает никакой информации о том, как исправить ошиб-

ку в следующий раз (если ему придется еще раз использовать то же самое предложение). Точно так же и положительное подкрепление не дает никакой информации о том, в чем правильность использованной в данном предложении грамматической конструкции. Мы снова оказываемся перед проблемой, как ребенок постигает нужные правильные связи между звуками и значениями, как он приходит к принципам упорядочения слов и частей слов так, чтобы они передавали значение. <...>

Необходимо сделать еще несколько важных замечаний относительно подкрепления. <...> родители, видимо, очень мало внимания обращают на грамматическую правильность или неправильность речи своих детей. Их больше всего интересует, что хочет сказать ребенок, а не структуры предложений, которые он использует. Роджер Браун из Гарвардского университета исследовал речь трех детей в возрасте от полутора до четырех лет. Каждую неделю в течение нескольких лет производилась магнитофонная запись речевого общения между матерью и ребенком. В своем исследовании Браун и его соавторы анализируют полученные данные с целью выяснения того, насколько мать восприимчива к грамматичности высказываний своего ребенка. Если мать обращает на это мало внимания, вряд ли правомерно утверждать, что речевое развитие является результатом сознательного обучения или подкрепления со стороны матери. Поэтому Браун обратил особое внимание на те случаи, когда высказывание ребенка встречало выражение одобрения или неодобрения со стороны матери. Данных, которые позволили бы утверждать, что реакция родителей может играть роль в формировании чувства грамматичности у ребенка, не оказалось. <...>

Таким образом, понятие «подкрепление» вряд ли может претендовать на то, чтобы служить объяснением языкового развития. Какие же другие понятия имеются в нашем распоряжении? Если спросить пресловутого «среднего человека», как дети научаются говорить, он вряд ли отнесется к этому вопросу серьезно. Скорее всего, он ответит что-нибудь вроде: «Они просто повторяют то, что слышат». Традиционное представление и состояло в том, что дети постигают новые языковые формы из речи

родителей, подражая им: ребенок слышит что-то новое, повторяет это и таким образом овладевает новой формой. И только благодаря такой практике — так всегда считалось — может изменяться речь ребенка. В течение некоторого времени новая форма употребляется в рамках, в которых она используется родителями, а потом освобождается от этих рамок.

Вы уже знакомы с целым рядом аргументов, опровергающих эту упрощенную точку зрения. Даже при рассмотрении двусловных предложений мы видели, что невозможно отнести все высказывания ребенка за счет просто сокращенной имитации речи взрослого, потому что в этих высказываниях встречаются весьма необычные комбинации. Более того, примеры имитации, приводимые Беллуджи-Клима, заставляют предположить, что дети и не могут имитировать структуры, которые они не в состоянии построить сами. Это наблюдение подтверждается и другими данными <...>. Кроме того, если бы даже ребенок и мог успешно имитировать все, что он слышит, это все равно не объяснило бы, каким образом он может создавать новые высказывания, которых никогда не слышал раньше.

Еще более сильным аргументом против доминирующей роли имитации в овладении языком служит тот факт, что дети, которые вообще не могут говорить, но нормально слышат, приобретают нормальную языковую способность — достаточную в смысле понимания. <...> Очевидно, в основе процессов порождения и интерпретации речи должна лежать одна и та же языковая способность. Совершенно ясно, что немой ребенок не может имитировать речь и не получает никаких подкреплений своей речевой деятельности — и все это не препятствует овладению языковой способностью.

<...> Одной из причин, вызвавших постулирование врожденных механизмов овладения языком, является тот факт, что даже весь объем воспринимаемой речи не может служить достаточным источником для конструирования грамматики. То есть, как уже неоднократно указывалось, поверхностные структуры предложений не могут дать достаточной информации для интерпретации этих предложений. <...>

Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков и др.
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ КОГНИТИВНЫХ ТЕРМИНОВ
(М., 1996)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА (...) — теория языка, предполагающая систему принципов и параметров, непременно составляющих свойства всех языков. В качестве теории биологической способности человека У.Г. порождает гипотезы не только о структуре языка, но и последовательности его усвоения и о заполнении его параметров <...>. По [Chomsky 1993], язык составляет часть естественного мира, а грамматика конкретного языка является своеобразной теорией этого языка. У.Г. — общая теория языков и выражений, ими порождаемых; эта теория исходного состояния компонента языковой способности как когнитивного механизма, не совпадающего с концептуальным компонентом и с системой прагматической компетенции. У.Г. задает класс возможных языков, в частности, свойства символьных репрезентаций и процедуры построения — «вычисления», в результате которых эти репрезентации конструируются. С другой стороны [Chomsky 1988], У.Г. — одновременно система принципов, а также связанных с ними параметров и механизмов их взаимодействия. Выявление и объяснение свойств У.Г. входит в исследовательскую программу большинства современных лингвистических концепций.

Сторонники гипотезы об У.Г. считают [Lehmann 1978], что, несмотря на свои внешние различия, языки основаны на одних и тех же внутренних структурах и принципах. Об этом свидетельствует то, что ребенок выучивает в качестве родного любой язык, на котором с ним общаются. И дети, и взрослые могут усваивать дополнительные языки, совершенно отличные по своим внешним свойствам от родного для них языка. Итак, теория У.Г. должна определить класс потенциальных грамматик естественного языка и тем самым объяснить, почему человеческое дитя, нормально развитое, может выучить язык за сравнительно короткое время на основе конечного множества наблюдаемых предложений <...>.

В этом смысле, по [Chomsky 1970, 1972], У.Г.:

- система ограничений на возможные грамматики человеческого языка, которая содержит в скелетной форме отражение правил, входящих в любой человеческий язык, а также условия, предъявляемые к грамматикам, и принципы их интерпретации; она задает схему, определяющую бесконечный класс допустимых грамматик;
- формулирует принципы, определяющие, как каждая из этих грамматик соотносит звук и смысл;
- дает процедуру оценки грамматик подходящего вида: поскольку <...> объяснение, соотносящее факты в двух различных языках, более предпочтительно, чем два разных объяснения для этих языков (принцип максимизации У.Г.), У.Г. может служить и для построения общей теории языка.

Такая У.Г., по [Chomsky 1975], выражает суть человеческого языка и не меняется от языка к языку. В то время как грамматика — теория компетенции, У.Г. — система принципов, задающих природу языковых репрезентаций и правил, с ними работающих, а также процедуры работы правил <...>.

<...> Начало поиску универсалий в когнитивной лингвистике положили работы Н. Хомского, особенно [Chomsky 1966]. По [Chomsky 1994], начиная с 1960-х гг., главной целью порождающей грамматики было выявление общих принципов, исходя из сложных систем правил, которые приходится постулировать для конкретных языков. Предполагалось, что эти правила являются реализацией каких-то более общих, универсальных закономерностей. Обнаружение этих закономерностей позволило бы отказаться от массы деталей в описании конкретных языков, свести эти детали к минимуму, из которого выводима вся конкретика. Поиски в этом направлении и привели к современной концепции параметризации языков.

<...> Сегодня главными являются следующие два подхода <...>:

- *формальный* подход (хомскианский), при котором грамматика считается состоящей из модулей, «подтеорий» (типа: теория связывания переменных в логической структуре предложения, теория падежа, теория категориальной структуры

предложения и т.п.), каждая из которых заложена в ментальности человека от рождения; исследователи констатируют грамматические структуры и различия);

- *функциональный* подход (исследования Т. Гивона, П. Хоппера, С. Томпсон и др.): У.Г. состоит из набора функций, которые обслуживаются языком; здесь мотивация эволюционистская: язык является частью механизма приспособления человека к окружению, а структура языка предназначена для выполнения этих функций; в фокусе внимания находятся конструкции и области их применения.

Врожденность и когнития. Сторонники идеи У.Г. полагают, что когнитивные структуры определяют структуру языка <...>. По [Lenneberg 1967], язык — проявление когнитивной предрасположенности, специфичной для человека, и вытекает из биологических особенностей человеческой когнитии <...>. Когнитивная функция, лежащая в основе языка, состоит в усвоении процедур категоризации и извлечения сходств. Правила У.Г. можно сформулировать как аналоги генетических законов и «врожденных схем» мышления <...>. По [Chomsky 1980], У.Г. — генетическая программа, допускающая только определенный спектр возможных реализаций для человеческих языков и состоящая [Chomsky 1988] из предварительно запрограммированных подсистем, включающих, например, подсистемы значения, составления сочетаний слов в предложениях и т.п. <...>.

МОДУЛЬ (module...) — одно из основных понятий когнитивизма, относящихся к обозначению тех простейших систем или частей, из которых состоит вся **инфраструктура мозга /разума/ языка** и т.п. *Модульность* — представление о поведении человека, объясняющее видимую сложность как результат взаимодействия нескольких достаточно простых подсистем, называемых М.

К характеристикам М. относятся (особенно в отношении речевой деятельности):

- *относительная автономность* его — обмен информацией между М. слабее, чем внутри М., а связи внутри М. достаточно органичны;

- *специализация* модуля — каждый М. обладает своими собственными принципами функционирования, несводимыми друг к другу или какому-либо обобщающему принципу;
- возможно (и здесь необходима большая осторожность), что с каждым М. связана определенная *локализация* или определенный тип связей в мозгу человека;
- *генетическая заданность*;
- *универсальность*: так, определяя тот или иной уровень синтаксической или семантической репрезентации, М. задают понятия **универсальной грамматики**.

Основная идея М. в когнитивизме заключается <...> в следующем. Ментальность разложима на большое число *способностей*, или М., каждый из которых специализируется на **когнитивной переработке** определенного вида **информации**, а потому на выполнении конкретных типов перцептивных или когнитивных заданий (возможно, эта специализация соответствует и тому, как организована нейронная система связей в различных областях мозга). <...>

Концепция функциональной разложимости ментальности на М. разрабатывается, начиная с середины 1970-х гг.: считается, что вся мыслительная деятельность представима как взаимодействие дискретных специализированных компонентов, а разумность — следствие кооперированности этих М. <...>.

Есть как минимум две версии тезиса о модульности:

1. Каждая система восприятия представлена своим М.; есть еще М. управления памятью, языковой способности, зрительного и пространственного восприятия и воображения и т.д.
2. М. автономны (каждый обладает относительно ограниченным доступом к информации, располагаемой другими М.); структура ментальности обладает скорее вертикальным, чем горизонтальным характером: нет общей памяти или общих механизмов решения задач — есть системы, специализирующиеся на конкретных областях: зрения, речи и т.п. <...>

Обычно же мы имеем дело с синтезом этих двух подходов: каждый М. в свою очередь рассматривается как набор более специализированных, более простых М., и так далее, до тех пор, пока мы не дойдем до психологически примитивных компонентов.

Так, по [Racssah 1986], семантика языка как отдельного М. когнитивной системы сама имеет модульную структуру: репрезентация значения, связанного с информацией об определенной ситуации и о мире, приводит к интерпретации смысла высказывания. Главным же предметом семантики является установление принципов, правил и репрезентаций, регулирующих взаимодействие языковой системы с концептуальной системой.

<...> Язык также может быть рассмотрен под таким модульным углом зрения — отсюда концепция модульной, или модулярной грамматики как системы правил и репрезентаций, разложимой на независимые взаимодействующие подсистемы. Эта идея о модульности языка, но в других терминах, лежит уже в теории «двойного членения», когда считают, что функция единиц более низкого уровня, фонологии (звуков языка) состоит только в комбинировании между собой для формирования единиц более высокого уровня — слов.

Развивая эту идею, М. Бирвиш указывает, что первопричина внутренних и внешних условий, формирующих ментальные репрезентации, в конечном счете заключена в материальных свойствах окружающего мира. Отсюда вытекают следующие положения:

- ментальная организация имеет модульный характер, т.е. различные системы и подсистемы ментальной структуры взаимодействуют определенным образом, предопределяя способ реагирования организма на свое окружение;
- каждая ментальная система основана на наборе принципов, приводящих, в результате онтогенетического развития, к системе правил или структур, предопределяющих ментальные репрезентации, лежащие в основе соответствующего аспекта поведения;
- системы языка и понятий являются такими ментальными системами, причем репрезентация языка отвечает за использование естественного языка, а репрезентации понятийной системы предопределяют то, как концептуализируются реальные и вымышленные ситуации, восприятия, действия и системы убеждений.

<...> Гипотеза об универсальности структуры и внутреннего устройства всех М. языковой системы не всем кажется правдо-

подобной. По [Radford 1990], вряд ли все М. языковой способности одинаковы для всех языков: М. падежной системы языков сильно варьируются от языка к языку.

С развитием этих положений связана и грамматическая теория последних лет и *гипотеза об автономности* отдельных М.: различные типы языкового знания (семантическое, синтаксическое, лексическое и прагматическое) образуют различные модули, взаимодействующие при использовании и интерпретации речи. <...>

В то же время, можно выделить две версии тезиса о такой модульности, или *автономности*:

- *внешняя автономность*: грамматика в целом представляет собой автономный когнитивный компонент, который во взаимодействии с другими когнитивными компонентами определяет языковое поведение;
- *внутренняя автономность*: в рамках грамматики выделяются компоненты, обладающие значительной автономией друг по отношению к другу; то есть правила одного компонента могут получить доступ к информации других компонентов только при взаимодействии компонентов; однако это не означает, что разные компоненты, или М. грамматики, обладают совершенно различной природой. Напротив: фонология и синтаксис обладают большим числом фундаментальных формальных свойств.

Среди прочего, выделяются М. *овладения языком у ребенка*, в соответствии с различными задачами, решаемыми человеком при овладении грамматикой. А в стандартной «нативистской» генеративной модели (принимающей гипотезу о врожденной языковой способности) утверждается:

1. Мозг подразделяется на некоторое число независимых врожденных М.
2. Нейронные структуры, предопределяющие когнитивное поведение человека (в частности, языковое), не подвержены дарвинскому естественному отбору.
3. Естественные М., отвечающие за язык и когницию, не созревают по ходу онтогенеза.
4. У всех людей одинаковая языковая компетенция.

Впрочем, критики считают, что эти последние четыре положения противоречат представлениям современной биологии, утверждающей прямо противоположное.

Кроме того, даже если принять только в общих чертах идею модульности при объяснении феноменов усвоения языка, следует признать, <...> что некоторые аспекты языка и его усвоения регулируются не собственно языковым М., а М. обучения. <...>

Дополнительная литература

- *Леонтьев А.А.* Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969.
- *Лурия А.Р.* Язык и сознание. Ростов н/Д, 1998.
- *Пинкер Ст.* Язык как инстинкт. М., 2004.
- *Тестелец Я.Г.* Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- *Уорф Б.Л.* Отношение норм поведения и мышления к языку. О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.
- *Хомский Н.* Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
- *Хомский Н.* Логические основы лингвистической теории // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 4. М., 1965.
- Язык и интеллект. М., 1995.
- Язык и наука конца XX века. М., 1995.

Тема 5

КОГНИТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ



Вопросы, выносимые на обсуждение

- На чем основывается противопоставление (размежевание) когнитивной и генеративной научных парадигм в современной мировой лингвистике?
- Обозначьте основные проблемы, активно обсуждаемые в рамках когнитивных исследований. Разработку каких проблем авторы статей относят к несомненным заслугам когнитивистов?
- Какое место, с точки зрения авторов обсуждаемых статей, занимает когнитивная лингвистика в ряду других когнитивных наук?
- Насколько убедительным представляется вам заключительный тезис статьи В.Б. Касевича: «когнитивной лингвистики не существует — уже потому, что не существует некогнитивной (психо)лингвистики»?



Материал для обсуждения

В.Б. Касевич

О КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

(Общее языкознание и теория грамматики // Материалы чтений, посвященных 90-летию со дня рождения С.Д. Кацнельсона. СПб.: Наука, 1998)

В небольшом сообщении заведомо невозможен детальный анализ того направления в современном языкознании, которое

называют когнитивной лингвистикой, поэтому мы обратимся лишь к некоторым центральным положениям соответствующей теории, особенное внимание уделяя публикациям последних лет.

В отечественной литературе данная теория отражена мало, хотя появился даже «Краткий словарь когнитивных терминов» [Кубрякова и др. 1996], в котором толкуются термины, относящиеся как к когнитивной психологии, так и к когнитивной лингвистике. Между тем указанное течение мировой лингвистики становится все более и более заметным. Налицо все признаки его институализации: созываются международные конференции по когнитивной лингвистике (V конференция состоялась в Амстердаме в 1997 г., VI — будет созвана в 1998 г. в Стокгольме), существует «International Cognitive Linguistics Association», выходит журнал «Cognitive Linguistics»; только в 1997 году в известной серии «Current issues in linguistic theory», издаваемой издательством John Benjamins, появились два основательных тома, написанных с позиций когнитивной лингвистики <...>, и, кроме того, опубликованы учебные пособия <...>. Что немаловажно, представители когнитивной лингвистики активно выступают с пропагандой собственного течения как радикально отличающегося от всех прочих и, более того, как призванного решить проблемы, неразрешимые с позиций «других лингвистик». В науковедческой теории, специально занимающейся становлением и развитием научных направлений <...>, именно использование «риторики, касающейся преемственности или отсутствия преемственности по отношению к предыдущим трудам», принимается, среди прочих, в качестве важного признака оформленности самостоятельного направления <...>. Поэтому полезно обратиться к тому, каким образом авторы, причисляющие себя к когнитивным лингвистам, обосновывают свою особость в противопоставлении иным течениям лингвистической мысли.

Когнитивное направление наибольшее развитие получило в США, поэтому неудивительно, что для когнитивных лингвистов доказательство собственной оригинальности (и преимущества) предполагает отталкивание от генеративной лингвистики.

Сразу бросается в глаза (и это, конечно, замечают сами представители когнитивной лингвистики), что противопоставление

генеративистам затрудняется уже тем, что Хомский не раз провозглашал (генеративную) лингвистику частью когнитивной психологии, см., например, [Хомский 1972]. Более того, так называемую «хомскианскую революцию» нередко называют иначе, «второй когнитивной революцией» — хотя сам Хомский скромно замечает, что, возможно, единственной подлинной когнитивной революцией была первая, связанная с именем Галилея <...>. Наконец, надо сказать, что одним лишь размежеванием с генеративистикой цель когнитивистов не достигается, поскольку активно развивается психолингвистика, в значительной степени также ориентирующаяся на когнитивную психологию.

Приходится констатировать, что в трудах когнитивистов программные заявления, призванные разъяснить специфику подхода соответствующего направления, не всегда помогают читателю достичь необходимой ясности. Так, Р. Гиббс в статье, полемически озаглавленной «What's cognitive about cognitive linguistics?», дает такую интерпретацию: «Я бы предположил, что когнитивная лингвистика является именно таковой (а) в силу специфичности того, каким образом она использует данные других дисциплин и (б) в силу того, что она стремится к изучению специфического содержания концептуального знания человека, а не только архитектуры этого знания». Пункт (а), конечно, «разводит» когнитивистику с ортодоксальной генеративистикой (и постгенеративистикой) по той простой причине, что Хомский и его единомышленники не раз принципиально отвергали использование в лингвистике нелингвистических данных, т.е. именно данных других дисциплин <...>. Но таинственное указание на «специфичность» использования последних, видимо, намекает на отличие от других направлений, которые в противоположность генеративному не чураются данных, находящихся за пределами лингвистических формализмов, однако природа этого отличия остается абсолютно не проясненной.

Что касается пункта (б), где противопоставляется архитектура знания и его содержание (эта обращенность к внутреннему наполнению ментальных структур обычно особо акцентируется когнитивистами), то и здесь только знакомство с конкретными работами, выполненными в русле когнитивной лингвистики,

отчасти помогает понять, что имеется в виду (см. ниже), сам же по себе пункт (б) едва ли намного информативнее пункта (а).

Приведем еще один пример. Л. Глайтман и М. Либерман, аннотируя содержание первого тома компендиума по когнитивным наукам, который (том) специально посвящен языку и лингвистике, выделяют, среди прочего, раздел Б.Х. Парти, в котором «вводится ключевое понятие... интенциональности» <...>. Парти отвергает, пишут авторы, «идею, согласно которой значение слова «красный» — это *его экстенционал*, т.е. *множество* объектов, которые являются красными..., и склоняется к идее, что значение слова «красный» — это *его интенционал*, *признак* красноты...». Вообще говоря, сравнительные плюсы и минусы экстенционального и интенционального подхода к значению обсуждаются в логике и лингвистике в течение чрезвычайно длительного времени, и трудно понять, почему очередной выбор позиции в пользу интенциональной трактовки подается как «введение ключевого (нового) понятия» и, вероятно, как один из отличительных признаков именно когнитивного направления. Сам по себе этот выбор с лингвистической точки зрения представляется вполне адекватным; именно так трактовал семантику сочетаний «определение + определяемое», рассматриваемых Парти и вслед за ней Глайтман и Либерманом, С.Д. Кацнельсон, ср.: «...призначное значение присоединяет к *интенционалу* (курсив наш. — *В.К.*) субстанционального значения новый признак» [Кацнельсон 1972]. Не приходится говорить, что в труде С.Д. Кацнельсона данная трактовка не подавалась как нечто принципиально новое.

Несмотря на не всегда удачное «самопредставление» когнитивных лингвистов, в работах соответствующих авторов действительно можно обнаружить целый ряд интересных подходов, из которых мы кратко остановимся лишь на четырех тезисах, более или менее явно, более или менее последовательно отстаиваемых когнитивистами.

Первый тезис — это отрицание автономности языка: утверждается, что не существует собственно языковых механизмов, языковые операции (речевая деятельность) обслуживаются общекогнитивными структурами и механизмами. Можно провести параллель с артикуляторными органами и органами слуха, которые

генетически предназначены для дыхания, жевания, глотания, ориентации в пространстве и целого ряда иных витальных функций, но в процессе эволюции «приспособлены» для выполнения тонко дифференцированных движений, обеспечивающих порождение звуков речи, и акустических операций, способствующих восприятию речи.

Аналогия, заметим, одновременно показывает неубедительность обсуждаемого тезиса. Даже в этом бесспорном случае мы видим, как своего рода «семиотически-культурная надстройка», складывающаяся в фило- и онтогенезе над генетически заданными структурами, приобретает существенную самостоятельность; так, при определенных речевых расстройствах больной может полностью сохранять способность воспринимать и распознавать неречевые звуки, но при этом не различать те или иные фонемы. Точно так же в собственной продукции больной может, как хорошо известно после классических работ А.Р. Лурия, сохранять способность, например, нарисовать «крестик» и «кружок» — но оказывается не в состоянии написать буквы Х и О, которые физически не отличаются от соответствующих рисунков.

Существуют и более частные свидетельства относительной автономности языковых механизмов. В целом ряде экспериментов было показано, что при восприятии многозначного слова имеет место автоматическая активация всех его словарных значений (примерно так же человек, обратившийся к словарю при чтении текста, получает в свое распоряжение весь набор значений, ассоциированных с данной вокабулой — заглавным словом словарной статьи); лишь впоследствии под влиянием контекста происходит выбор «подходящего» значения и отсеечение всех прочих вариантов как ситуативно неадекватных <...>.

Эти результаты, по-видимому, демонстрируют, что так называемый доступ к словарю обеспечивается автономным *модулем*. Чтобы охарактеризовать это важное понятие, приведем довольно длинную цитату из книги Дж. Фодора, во многом заложившего основы теории модулярности: «Модуль, среди прочего, это информационно изолированная (*encapsulated*) вычислительная система — механизм по получению выводов, у которого доступ к фоновой информации ограничен самими свойствами когнитив-

ной системы, т.е. ограничен на относительно постоянной основе и относительно жестко. Модуль можно представить себе в качестве специализированного компьютера с собственной базой данных, при условии, что (а) для операций, выполняемых компьютером, привлекается *только* собственная база данных (плюс, конечно, характеристики входной стимуляции, действительной на данный момент) и (б) по крайней мере часть информации, доступной [другим] когнитивным процессам, *не* является таковой для данного модуля» [Fodor 1990].

Как можно видеть, акцент делается на относительной изолированности и специализированности модуля. Модули работают независимо, по собственным алгоритмам, в автоматическом режиме, каждый «со своим материалом», они связаны лишь «на уровне выхода». Внешняя по отношению к модулю информация, соответственно, не оказывает воздействия на его функционирование.

Модуль «когнитивно самостоятелен», таким образом, по определению — и если в составе языкового механизма обнаруживаются структуры, работающие по принципу модулей, то вряд ли естественно отказывать языку как таковому в известной когнитивной специфичности и автономности.

Второй тезис, заслуживающий внимания, — это резкое неприятие большинством когнитивистов таких фундаментальных понятий генеративной лингвистики, как глубинная структура, трансформация и, шире, языковое правило. Р. Лангакр, один из основоположников когнитивного направления, уже в своей фундаментальной монографии 1987 года настаивал на том, что к грамматике относятся только те структуры, которые засвидетельствованы в тексте (из чего, в частности, следует, что возведение поверхностной структуры типа *Иван умывается* к глубинной *Иван умывает Ивана* недействительно <...>). В то же время, если под глубинной структурой понимать, в духе так называемой стандартной теории Хомского, сводимость (или, вернее, возводимость), например, трех значений сложной структуры *Дети радуются приглашению артиста* к трем, соответственно, сочетаниям простых структур, то данная трактовка едва ли может вызвать серьезные возражения.

Как известно, в постгенеративной лингвистике вместо понятия глубинной структуры стали использоваться представления о *d*-структурах и логической форме, что мы не можем сейчас обсуждать. Что же касается трансформаций, то здесь ситуация весьма неоднозначна. Если одни когнитивисты их безоговорочно отвергают [Tomasello 1992], то другие используют вполне традиционно [Gleitman & Liberman 1995]. В самом же (пост)генеративизме, как уже упоминалось, общая тенденция заключается как раз в том, чтобы исключить трансформации из структурного описания языковых объектов.

Во многом аналогична ситуация с понятием языкового правила, где мы также можем отметить встречное движение Хомского и его последователей, с одной стороны, и когнитивных лингвистов — с другой. Уже в своей работе 1986 года Хомский высказал предположение о том, что лингвистическое описание может обойтись без использования языковых правил.

Вместе с тем, как представляется, отказ от использования понятия правила не следует принимать слишком серьезно. Хомский сам приравнивает порождающие аспекты языка к «вычислительным» — но вычисление осуществляется по соответствующей программе, и вряд ли можно противопоставить программу системе правил. В других случаях постгенеративисты вместо правил говорят о наборах «ограничений» и т.п., что также, на наш взгляд, связано скорее с терминологическими предпочтениями, нежели с существом дела.

Иначе говоря, «поход» против языковых правил не носит концептуального характера ни в работах Хомского, ни в трудах его когнитивных оппонентов.

Третий тезис, который мы хотели бы кратко обсудить, — это специфичность семантики в ее когнитивной интерпретации. Здесь, безусловно, привлекают настойчивые попытки добиться такого лингвистического описания, которое было бы адекватно ментальным структурам носителя языка. В этой связи можно вспомнить и теорию «естественных классов», и, в еще большей степени, теорию прототипов, и разные редакции семантического описания с помощью структур когнитивных примитивов. Остановимся, по необходимости кратко, лишь на одном конкрет-

ном примере, связанном с экспериментальным изучением того, что понимают носители английского языка под словом «water» [Gibbs 1996].

Эксперимент проводился с участием испытуемых, имеющих образование не ниже среднего, поэтому предполагалось, что всем им хорошо известен химический состав воды: H_2O . Испытуемые должны были оценить процентное содержание H_2O в разных жидкостях, среди которых назывались, наряду с водой, чай, бульон, слезы, болотная вода, водка и целый ряд других. Далее предлагалось ответить, что испытуемые назовут водой, а что — нет.

Оказалось, что простой корреляции между содержанием H_2O и отнесением жидкости к воде не существует. Так, содержание H_2O в дождевой воде и чае оценивалось примерно одинаково (90—91%), но дождевая вода была квалифицирована как вода, а чай — нет. В болотной воде испытуемые находили менее 70% H_2O , но относили ее все же к воде.

В некотором смысле экспериментаторы «ломались в открытую дверь»: трудно было ожидать, что жидкость, которая называется, скажем, чаем или водкой, попадет в класс вод, а болотная вода окажется «неводой»; в конце концов, вода есть то, что называют «вода». Но исследователи получили и некоторые более интересные результаты. Изучение статистики показало, что выделяются кластеры, объединяющие в большей или меньшей степени разные жидкости по их близости к воде. Основанием образования кластеров оказались такие признаки, как «источник» (искусственного/естественного происхождения жидкость), «функция» (как жидкость используется человеком), состав».

Как можно видеть, только последний признак отражает содержание H_2O . Остальные же относятся к своего рода диахронии и функции. Так, в этой же работе приводится пример, когда в воде, зачерпнутой из озера Онтарио, были проявлены фотографии (с видом Онтарио) — но этот, по своему химическому составу, фотореактив назывался все же «водой», ибо в озере по определению «полагается» быть воде, соответствующая квалификация жидкости в рамках наивной (= когнитивной?) семантики определяется ее источником (диахроническим аспектом).

Наконец, четвертый тезис связан с когнитивистскими работами, вскрывающими весьма существенную роль *метафоры* в

структурировании ментального лексикона (и не только лексикона). Эти работы наиболее известны, и мы поэтому не станем излагать их содержание. Дж. Лаков и М. Джонсон, другие авторы убедительно показали, что метафорические переносы отнюдь не ограничены сферой художественных приемов, они пронизывают весь словарь, организуя значимые пласты лексики, распространяясь на грамматику.

Подведем итоги. В области семантики вклад когнитивистов определенно позитивен. Но достаточно ли этого для того, чтобы провозгласить появление «новой лингвистики»? Думается, уместнее утверждать, что разработанные подходы и результаты **обогащают** языкознание, но никак не создают ни нового объекта (точнее, предмета) исследования, ни даже нового метода. Прежде всего, конечно, можно говорить об обогащении психолингвистики — ведь именно психолингвистика, если рассматривать ее как теорию, а не просто как **метод**, призвана адекватно отражать ментальные отношения и операции, реально присущие носителю языка; без этого ее существование просто теряет смысл.

Учитывая сказанное, правомерно полагать, что когнитивной лингвистики **не существует** — уже потому, что не существует **некогнитивной** (психо)лингвистики.

В.И. Писаренко

О КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ И СЕМАНТИКЕ ТЕРМИНА «КОГНИТИВНЫЙ»

(<http://www.dialog-21.ru>)

Когнитивная парадигма в лингвистической науке является сравнительно новым направлением. Для утверждения новой парадигмы знаний всегда требуется определенное время. Тем не менее уже сейчас можно назвать немало интересных работ, свидетельствующих о том, что у нас складывается своя собственная школа, работающая в этом направлении.

К настоящему времени когнитивная лингвистика представлена в мире несколькими мощными направлениями, каждое из

которых отличается своими установками, своей областью и особыми процедурами анализа. Количество зарубежных исследований, выполненных в когнитивном ключе, неуклонно растет. Наличие термина *когнитивный* в составе многочисленных с ним словосочетаний все чаще наблюдается в различных отраслях знаний.

Сама когнитивная наука, под эгидой которой возникла когнитивная лингвистика, все больше дробится не только на разные школы, но и на разные когнитивные науки, среди которых — когнитивная психология, нейронауки, антропология и т.п. Различные ученые дают собственную интерпретацию термина *когнитивный*, в зависимости от того, в какой конкретной науке он используется.

При быстром развитии всех современных наук и даже всех парадигм научного знания тридцать-тридцать пять лет их существования в XX веке — срок довольно большой, а изменения достаточно существенны. Менялись частично и исходные допущения когнитивной науки, и сферы ее интересов, и конкретные задачи, а все это вместе взятое не могло не отразиться и на облике когнитивной лингвистики.

Взяв, например, знаменитый труд А. Пейвио (середина 80-х гг.) о двойном кодировании знаний в процессе ментальной деятельности человека (образном и вербальном), можно удостовериться в том, что сам вопрос о том, каким образом представлено знание в ментальном лексиконе, остается важнейшей проблемой всей когнитивной науки. Изменение целей когнитивной науки влечет за собой частичное изменение характеризующего ее термина.

Приведем еще один пример. Характеризуя развитие ребенка, психологи до 60-х гг. ориентировались, прежде всего, на изучение мышления и выделение в становлении ребенка разных этапов осуществляемой им предметно-познавательной деятельности. С появлением когнитивной психологии и распространением взглядов на человека как обладающего особой когнитивной системой, служащей обработке и переработке информации, ее хранению и т.п., ракурс рассмотрения того, как протекает умственное развитие ребенка, также изменился. И здесь первоначально был сделан акцент на том, как формируются у ребенка менталь-

ные репрезентации мира и в каком виде они существуют в его сознании; но постепенно под когнитивным развитием ребенка (cognitive development) начинает подразумеваться более широкий круг явлений, связанных с овладением ребенком средствами и способами обращения с информацией, со становлением самой когнитивной системы со всеми такими ее составляющими, как восприятие, воображение, умение рассуждать и решать проблемы и т.п. Главным становится вопрос о роли языка во всех этих процессах, о его врожденности или же приобретаемости в процессе научения. В то же время отмечается, что сам термин «когнитивная система», как, впрочем, и термин «информация» (т.е. базовые термины для описания всего процесса развития ребенка), используются без точного определения того, что ими обозначается. У многих специалистов складывается впечатление, что термин «когнитивный» выступает как нечеткий и что по этой причине он зачастую не имеет достаточного наполнения.

Тем не менее существует полная определенность в определении когнитивной функции языка, которая рассматривает язык как орудие познания, как средство овладения знаниями и общественно-историческим опытом и как способ выражения деятельности сознания. Эта функция языка явно и непосредственно связана с исследованием, поиском истины.

Некоторые ученые, рассуждая о вкладе когнитивной лингвистики в современное языкознание, делают вывод о том, что разработанные здесь подходы и результаты, хотя и обогащают языкознание, не создают ни нового объекта (точнее, предмета) исследования, ни даже нового метода и что поэтому «правомерно полагать, что когнитивной лингвистики не существует — уже потому, что не существует некогнитивной лингвистики» [В.Б. Касевич]. Автор настоящей работы хотел бы подчеркнуть обратное: когнитивная лингвистика, конечно, существует (как существует и некогнитивная — например, структурная), а в ее рамках формируется и особое понимание интересующего нас термина, который является многозначным и имеет содержание.

<...> Приведем еще один фрагмент общей оценки когнитивной лингвистики. «Если посмотреть на когнитивную лингвистику не со стороны того, что стимулировало ее появление (изуче-

ние мышления и познавательной деятельности, когнитивной), а с точки зрения ее предметного места в системе языковых уровней языка, то обнаружится, что она в целом занимается исследованием содержательных параметров языка. Это области когнитивной семантики, пространственной семантики, фреймовой семантики. Это изучение категорий и категоризации, концептов и концептуализации, метафоры и метафоризации, референции, информационных аспектов речевой деятельности (выдвижение, активация, фигура-фон), ментального языка и др.» [Л.В. Правикова]. Еще важнее, что в этой же работе автор правильно указывает на то, что «в отечественном языкознании когнитивная лингвистика имеет отчетливую линию своего развития. Если в зарубежной лингвистике когнитивное направление возникло в связи с изучением различных типов обыденных семантик, то в нашей стране когнитивные идеи были высказаны, на наш взгляд, в связи с исследованиями в области номинации... В этой теории рассматривалась взаимосвязь языковой формы и языкового содержания на семасиологическом и ономасиологическом уровнях».

<...> особенно высокую оценку когнитивизму дает Ж. Фоконье: «поразительную успешность» его он связывает с тем, что «по всей вероятности здесь впервые начали связывать подлинную науку о конструировании значения и его динамику», и что хотя в когнитивной лингвистике разделяется старый как мир взгляд на язык как на орудие (формирования и передачи) значения, все ее методы и результаты совершенно новы.

Говоря о связи когнитивной лингвистики с другими науками и об их взаимном влиянии, необходимо подчеркнуть, что когнитивная наука и когнитивная лингвистика бросают вызов всей западной философии и ставят под сомнение многие ее постулаты, демонстрируя огромный прорыв в сфере познания человеческого разума и главных механизмов его ментальной деятельности. Главное развитие когнитивной парадигмы, как считают когнитологи, мы будем наблюдать в течение текущего десятилетия. С этим развитием будет связано возрастающее влияние самой лингвистики на другие фундаментальные науки, поэтому важно разъяснить уже сейчас подлинный смысл этой науки, а значит, и смысл того прилагательного, которое выделяет эту лингвистику

из всего круга других «лингвистик». Анализ источников по проблеме использования термина *когнитивный* позволяет определить диапазон его современного употребления, а также исключить случаи его использования, которые представляются недостаточно оправданными и не могут считаться общепризнанными. Это, во-первых, отождествление его с термином *обыденный*, во-вторых, отождествление его и разъяснение через приравнивание прилагательного *когнитивный* прилагательному *нейрологический*, т.е. полученный в ходе применения нейрологических наблюдений и экспериментов. В-третьих, это такое употребление термина, при котором он лишается реального содержания и выражает одно только желание использовавшего его автора следовать моде или соответствовать по тематике наиболее престижным направлениям своего времени.

Термин *когнитивный* в значении познавательный или соответствующий познанию появился довольно давно в философской литературе. С появлением когнитивной психологии, которая была определена как «изучение ментальных процессов», и с исследованием многих аспектов этих процессов, происходящих в ходе ментальной деятельности, а также в связи с новыми подходами к рассмотрению психических процессов (восприятия, внимания, запоминания, мышления и т.д.), характеризующих ментальную деятельность человека, термин *когнитивный* значительно расширяет свое содержание. Когнитивная теория — это исследование ментальной информации, т.е. информации, хранящейся в ментальном лексиконе внутри мозга и составляющей основу человеческого сознания.

Подведем итоги. Рассмотрение семантики термина *когнитивный* позволяет не только дополнить сведения о терминологии когнитивной парадигмы знания, но и внести большую ясность в понимание того, что представляет собой когнитивная лингвистика. Во-первых, эта наука — одна из главных наук всего когнитивного цикла, — всех наук, развивающихся под эгидой когнитивной науки как таковой. Во-вторых, сегодня когнитивная лингвистика представлена целым рядом достаточно различающихся между собой школ. Вместе с тем их, несомненно, объединяет стремление дать языковым фактам и языковым категориям пси-

хологическое объяснение и так или иначе соотнести языковые формы с их ментальными репрезентациями и с тем опытом, который они в качестве структур знания отражают. В-третьих, когнитивная лингвистика занимается в основном сверхглубинной семантикой и интересуют ее в первую очередь содержательные аспекты языковых форм. В связи с этим очень часто специфику когнитивной лингвистики связывают с ее ориентацией на исследование конструирования значения, его динамики, сложности формирования значения в пределах разных конструкций и в дискурсе и т.д. Включение в ее название термина *когнитивный*, таким образом, весьма значимо и позволяет провести должное разграничение лингвистики когнитивной и лингвистики функциональной, несмотря на некоторые точки пересечения между ними и, в частности, их оппозицию лингвистике формальной.

Дополнительная литература

- *Демьянков В.З.* Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретационного подхода // Вопросы языкознания. 1994. № 2.
- *Кубрякова Е.С.* Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика — психология — когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994. № 2.
- *Кубрякова Е.С.* Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 63. № 3. 2004.
- *Паршин П.Б.* Теоретические перевороты и методологический мятёж в лингвистике XX века // Вопросы языкознания. 1996. № 2.
- *Попова З.Д., Стернин И.А.* Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2002.
- *Фрумкина Р.М.* «Теории среднего уровня» в современной лингвистике // Вопросы языкознания. 1996. № 2.
- *Фрумкина Р.М.* Когнитивная лингвистика, или «Психолингвистика наоборот»? // Язык и речевая деятельность. Т. 2. СПб., 1999 (или: *Фрумкина Р.М.* Психолингвистика. М., 2001. С. 251—267).

Тема 6

ТЕОРИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В РУСИСТИКЕ



Вопросы, выносимые на обсуждение

- 1. Феномен «языковая личность» в трактовке Ю.Н. Караулова:**
 - Какое содержание вкладывается Ю.Н. Карауловым в понятие «языковая личность»? Что понимается под «уровнем организации» языковой личности?
 - Какая роль отводится вербально-семантическому уровню в организации языковой личности в работах Ю.Н. Караулова? Каковы возможные пути собственно лингвистического исследования вербально-семантического уровня?
 - Какое место в рассматриваемой концепции отведено когнитивному (лингвокогнитивному) уровню в организации языковой личности? Определите возможные методы лингвистического исследования этого уровня.
 - Прагматический уровень организации языковой личности, или прагматикон: определите специфику этого уровня, способы его языкового воплощения и пути исследования.
- 2. Теория языковой личности в отечественной психолингвистике**
 - Как модифицируется понятие «языковая личность» в концепции В.В. Красных?
 - Какие признаки «человека говорящего» положены в основу предлагаемой классификации — языковая личность, речевая личность и коммуникативная личность?



Материал для обсуждения

Ю.Н. Караулов

ПРЕДИСЛОВИЕ. РУССКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЗАДАЧИ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ

(Язык и личность. М., 1989)

Интерес к личностному аспекту изучения языка существенно повысился в последние годы во всех дисциплинах, так или иначе связанных с языком, — не только в лингвистике, но и в психологии, философии, лингводидактике. В предлагаемом читателю сборнике «языковая личность» оказывается тем стержневым, определяющим понятием, вокруг которого разворачивается обсуждение наиболее интересных сегодня, как мне представляется, проблем общего и русского языкознания.

Под языковой личностью я понимаю совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью. В этом определении соединены способности человека с особенностями порождаемых им текстов. Три выделенные мною в дефиниции аспекта анализа текста сами по себе всегда существовали по отдельности как внутрилингвистические и вполне самостоятельные задачи.

Действительно, системное описание средств выражения смыслов, семантики в текстах всегда было главной задачей языкознания, и их структурная характеристика однозначно укладывалась в поуровневое представление об устройстве языкового механизма: синтаксис, лексика, морфология, фонология. Такая исследовательская установка, будучи преобладающим в лингвистике типом мышления и подхода к языковому материалу, резюмируется восходящим к идеям Соссюра лозунгом: «За каждым текстом стоит система языка». И возникающий на основании такой установки «образ языка» соотносится с самодовлеющей и автономной «системой» объектов и отношений, системой, тяготеющей к пространственно-геометрическому воплощению.

Что касается содержательной стороны текстов, которая тоже может служить и служит объектом чисто лингвистического интереса (в моей дефиниции речь идет об «отражении действительности»), то надо сказать, что в языкознании в течение последних 30 лет идет постоянное расширение семантической составляющей анализа как отдельных языковых единиц, так и их соединений разного объема: от изучения значения слов и словосочетаний — до исследования значения предложений, семантических полей и целых текстов. То есть расширение идет в направлении от значения к знанию, и поэтому данный уровень, связанный, как было сказано, с отражением действительности и знаменующий переход значения в знание, я называю когнитивным. Знание, оставаясь в основном объектом интереса разных дисциплин философского и психологического циклов, все в большей степени становится и лингвистическим объектом, именно в силу вербального, по преимуществу, своего воплощения и бытования, и мы можем говорить теперь о формировании, наряду с когнитивной психологией, также когнитивной лингвистики.

Наконец, третий аспект анализа текста, отмеченный в приведенной в начале дефиниции и связанный с целевой направленностью, охватывает прагматические характеристики (как самого речевого произведения, так и его автора) и знаменует тем самым диалектический переход от изучения речевой деятельности человека к выводам о его деятельности в широком смысле, а значит, включает и креативные (созидательные и познавательные) моменты этой деятельности. В традиционных филологических дисциплинах такого аспекта анализа до некоторой степени касались всегда стилистика и риторика, но в последние полвека, сдерживаемые деспотизмом общей формулы — «за каждым текстом стоит система языка», — исследования в этом направлении, как правило, не шли дальше установления и классификации формальных средств, передающих отдельные прагматические характеристики высказывания или текста. В разное время в языкознании делались попытки синтеза, попытки целостного подхода, включающего анализ всех трех уровней рассмотрения речевых произведений. Оформившаяся в 70-х годах и к настоящему времени хорошо разработанная в англо- и немецкоязычной литера-

туре «теория речевых актов» своим появлением знаменовала определенный сдвиг от статической фиксации, от гербарийно-коллекционного перечисления языковых средств, выражающих определенные эмоционально-психологические и интеллектуально-оценочные состояния говорящего (досада, радость, заинтересованность, сомнение, убежденность, раздражение и т.п.) — к динамическому их изучению как комплекса языковых средств, характеризующих человеческие интенциональности. Однако недостаточность теории речевых актов обнаруживается сразу же, как только мы выходим за пределы сиюминутных эмоций и намерений авторов речевых произведений. Эта теория не вооружает исследователя инструментом для выявления и описания стабильных, долгосрочных, доминантных установок. Довольно авторитетная французская школа психологов и психоаналитиков, связывающая себя с именем Лакана и получившая (такое полужаргонное) наименование «лаканизма», интересна прежде всего тем, что видит в языке (а точнее — в текстах, которые могут быть порождены определенной личностью) полное и безостаточное выражение всех без исключения особенностей ее сознательной и бессознательной жизни. В экстремально-конструктивном смысле последователи Лакана берутся вербализовать абсолютно все, не оставляя в человеческой душе никаких закоулков, куда бы нельзя было заглянуть с помощью языка, но относя возможность вербализации «бессознательного» только в речи *Другого*. Эта теория опирается в основном на медицинскую психоаналитическую практику и подвергается критике по разным основаниям.

И в «теории речевых актов» и в «лаканизме» (точнее — в его лингвистических предпосылках), так же как в возникшей внутри самой лингвистики «теории текста», мы можем видеть попытки синтеза, разнонаправленные подходы на пути к созданию новой, общей теории языка, не удовлетворяющейся рассмотрением его как самодовлеющей системы формальных средств, а охватывающей связанные с этой системой когнитивные, познавательные, коммуникативно-деятельностные стороны его бытия и функционирования вместе с его носителем. Действительно, теория текста вначале претендовала на такой синтез, но в итоге преврати-

лась в сугубо специальную дисциплину, ограничившую свои притязания рамками самого текста и сосредоточившуюся на внутренних закономерностях его устройства. Правда, надо сказать, что психолингвистика пытается разгерметизировать эту теорию разными путями, в частности, развивая теорию понимания.

Предложенная вначале дефиниция есть основа для еще одной попытки синтеза, и ее противопоставление другим подходам заключается в изменении исследовательского пафоса, который в рамках теории языковой личности формулируется так: «За каждым текстом стоит языковая личность».

Структура языковой личности представляется состоящей из трех уровней: 1) вербально-семантического, предполагающего для носителя нормальное владение естественным языком, а для исследователя — традиционное описание формальных средств выражения определенных значений; 2) когнитивного, единицами которого являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее упорядоченную, более или менее систематизированную «картину мира», отражающую иерархию ценностей. Когнитивный уровень устройства языковой личности и ее анализа предполагает расширение значения и переход к знаниям, а значит, охватывает интеллектуальную сферу личности, давая исследователю выход через язык, через процессы говорения и понимания — к знанию, сознанию, процессам познания человека; 3) прагматического, заключающего цели, мотивы, интересы, установки и интенциональность. Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и обусловленный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению реальной деятельности в мире.

При таком представлении структуры языковой личности и соответственно задач исследователя, воссоздающего эту структуру методами лингвистического анализа, естественно может возникнуть вопрос, а не превышает ли свои возможности языковед, когда вторгается столь глубоко в сферы психологического интереса: ведь в приведенной характеристике, особенно двух последних уровней, содержатся в основном относимые к психологии категории и объекты? Да, это верно, психологический аспект в изучении языковой личности представлен очень сильно, он про-

низывает не только два последние — когнитивный и прагматический уровни, — но и первый, поскольку основывается на заимствованных из психологии идеях его организации в виде ассоциативно-вербальной сети. Но в то же время психологическая глубина представления языковой личности лингвистическими средствами не идет ни в какое сравнение с глубиной представления личности в психологии. Перефразируя крылатое выражение, можно сказать, что лингвист, обращаясь к языковой личности, <...> оставляет вне поля своего внимания важнейшие с психологических позиций аспекты личности, раскрывающие ее именно не как собирательное представление о человеке, а как конкретную индивидуальность.

Языковедческий подход раскрывает и новые возможности для конкретного и конструктивного наполнения некоторых важных, но слишком обобщенных и потому трудных для оперирования ими понятий. Возьмем такое, чисто философское понятие, как мировоззрение. С учетом того содержания, которое я вложил в характеристику уровней в структуре языковой личности, могут дать методическое определение этого понятия: мировоззрение есть результат соединения когнитивного уровня с прагматическим, результат взаимодействия системы ценностей личности, или «картины мира», с ее жизненными целями, поведенческими мотивами и установками, проявляющийся, в частности, в порождаемых ею текстах. Лингвистический анализ этого материала (при достаточной протяженности текстов) позволяет реконструировать содержание мировоззрения личности. Причем для такого анализа вовсе не обязательно располагать связными текстами, достаточен определенный набор речевых произведений отрывочного характера (реплик в диалогах и различных ситуациях, высказываний длиной в несколько предложений и т.п.), но собранных за достаточно длительный промежуток времени. Этот материал я называю дискурсом. Примером дискурса может служить сумма высказываний какого-нибудь персонажа художественного произведения, который выступает в этом случае как модель реальной языковой личности. Возвращаясь к опытам реконструкции мировоззрения конкретной языковой индивидуальности, хочу подчеркнуть, что в этих опытах практически никогда не

удается выявить систему, гармонию и единство, которые любят подчеркивать философские и психологические словари, определяя это понятие. В самом деле, трудно требовать единства и гармонии воззрений от человека, который, с одной стороны, кровно связан со своей эпохой, а в то же время многое заимствует из всевозможных источников прежних эпох для своей «картины мира», и жизненные установки которого складываются под влиянием самых разнообразных условий. Только у плохого писателя или в результате очень пристрастной интерпретации герои оказываются последовательными и гармоничными.

Но в то же время эти опыты и общий итог подводят к мысли о возможности языкового воздействия на формирование мировоззрения, языкового сопровождения процессов становления личности, выработке принципов своеобразного онтолингвогенеза, обеспечивающего языковую сторону воспитания и совершенствования человека. Иными словами, отправляясь от понятия языковой личности, мы приходим к возможности говорить о психологической инженерии (не об инженерной психологии, а, по аналогии с генной инженерией, — о психологической инженерии, психологическом конструировании, в котором языковому компоненту должна принадлежать заметная роль).

Все, что было сказано о языковой личности до сих пор, дает основания, надеюсь, трактовать ее не только как *часть* объемного и многогранного понимания личности в психологии, не как еще один из ракурсов ее изучения, наряду, например, с «юридической», «экономической», «этической» и т.п. «личностью», а как *вид* полноценного представления личности, вмещающий в себя и психический, и социальный, и этический и другие компоненты, но преломленные через ее язык, ее дискурс.

Таким образом, уже в самом выборе языковой личности в качестве объекта лингво-психологического изучения заложена потребность комплексного подхода к ее анализу, возможность и необходимость выявления на базе дискурса не только ее психологических черт, но философско-мировоззренческих предпосылок, этнонациональных особенностей, социальных характеристик, историко-культурных истоков. Далее я предлагаю несколько исследовательских сюжетов, в реализации которых акцентируется та или иная сторона языковой личности.

Первый возникает из таких вопросов, которые встают перед лингвистом: почему мы легко отличаем устную и письменную речь иностранца, относительно неплохо или даже хорошо владеющего русским языком, от речи малообразованного носителя русского языка, представителя того или иного говора?; почему, далее, обнаруживается странное совпадение форм, порождаемых в онтогенезе детьми, овладевающими родным языком, с формами, зафиксированными в диалектах и в истории развития этого языка?; почему, наконец, не подготовленный филологически носитель русского, например, языка XX в. способен понимать тексты, написанные в XI, XII вв.?

В поисках ответа на эти вопросы мы упираемся в теорию врожденности языка или языковой способности, которая граничит уже с мистикой. Исследователь языковой личности может построить на этом пути исследование, в основу которого я предлагаю положить гипотезу о существовании так называемой психоглоссы, под которой понимаю единицу языкового сознания, отражающую определенную характерную черту языкового строя, системы родного языка, которая обладает высокой устойчивостью к вариациям и стабильностью во времени. Исследование такого рода может иметь диахроническое (историческое) измерение, территориальное (синхроническое) и онтогенетическое и в итоге может воссоздать некоторые черты национального языкового типа.

Другой сюжет выводит на первый план социально-психологические характеристики языковой личности и исходит из следующих посылок. Человек проживает в среднем 25 тыс. дней. Большая часть из этих дней в зрелом возрасте строится довольно стандартно для одной личности.

Описав один типовой день, или дневной дискурс, лингвист сможет сделать выводы не только о языке, но и других уровнях организации человека как языковой личности. Результаты такого конкретного лингво-психологического изучения многое дадут всем наукам, занимающимся человеком.

Последний сюжет можно обозначить так: «Эволюция русской языковой личности». Как развивается языковая личность в историческом времени. Что подвержено наибольшему изменению на каждом из уровней, как взаимосвязаны изменяющиеся параметры, например, состав лексикона и жизненные идеалы, или

иерархия ценностей в картине мира и моральные принципы и т.п. Необходимо провести сопоставление дискурсов и реконструированных на их основе параметров языковых личностей разных эпох. Выводы были бы безусловно полезны и для современности.

В.В. Красных

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНОСТЬ?

(М., 1998)

ГЛАВА I

Человек говорящий

XX век ознаменовался особым интересом к человеку, к его внутреннему миру, к его сознанию и подсознанию. Наше столетие отмечено сугубо научными исследованиями физиологии и функций мозга, психики и психологии человека <...>. Возможно, мы имеем дело с неким новым «Возрождением» с его интересом к человеку и с его мировоззрением, в центре которого стоит человек. Однако на новом витке особо притягательной силой обладает не просто *homo sapiens* как некий индивид, но *homo sapiens* — личность, носитель сознания, обладающий сложным внутренним миром. Этим в определенной мере объясняется антропоцентризм в гуманитарных [и не только] исследованиях, развитие таких дисциплин, как психолингвистика, когнитивная лингвистика, все большее значение получает изучение концептосферы, языковой картины мира, языкового сознания.

Феномен языковой личности

В последнее время все большую популярность среди исследователей приобретает учение о языковой личности. Следует признать, что сам термин «языковая личность», введенный Ю.Н. Карауловым, относится к числу «модных» в наше время: он встречается в трудах многих исследователей, воспринимается уже как нечто само собой разумеющееся и не требующее дополнительных расшифровок. Вместе с тем нельзя не отметить, что, хотя сам

термин стал привычным и в некоторой степени устоялся, <...> все-таки не существует еще единой, принятой и признанной всеми трактовки рассматриваемого понятия <...>.

Что касается самого феномена, то еще в 1989 году Ю.Н. Караулов предложил структуру языковой личности. <...> в структуре языковой личности выделяются три уровня, три составляющих: вербально-семантический, когнитивный и прагматический. Первым занимаются давно и успешно, последние два стали объектом пристального внимания исследователей в последние десятилетия, что связано с развитием психолингвистики, теории речевой коммуникации, теории речевых актов, когнитологии и когнитивной лингвистики. Подобное положение дел обуславливается, со всей очевидностью, тем, что представители самых разных научных дисциплин (лингвистики, психологии, философии и т.д.) проявляли и проявляют все возрастающий интерес к тому, что стоит за языком, за речью, за речевой деятельностью, т.е. к самому человеку, при этом не только как к носителю некоего сознания, осуществляющему некую деятельность, но как к носителю — в том числе — сознания языкового, осуществляющему — в ряду других видов деятельности — деятельность речевую.

В связи с проблемой языковой личности вновь оказался актуальным вопрос, над которым размышляли многие ученые еще со времен Фердинанда де Соссюра, — вопрос о соотношении языка и речи. Сегодня эта проблема рассматривается рядом исследователей сквозь призму языковой личности, а языковая личность, соответственно, осмысливается в свете указанной дихотомии. Логичным результатом подобных исследований стал тезис о наличии не только феномена языковой личности, но и феномена речевой личности. <...>

Человек говорящий

<...> языковая личность и речевая личность суть феномены парадигматические, и если языковая личность есть сама парадигма, то речевая личность представляет собой элемент такой парадигмы. Но, как известно, система проявляет себя в функционировании, следовательно, помимо системного аспекта, существует и аспект функциональный. Функционирование системы (парадигмы) — это (в различных лингвистических традициях) «реализа-

ция, Parole, речь», или — в терминах А.А. Леонтьева — «язык как процесс». И этому компоненту соответствует, на наш взгляд, не языковая личность и не речевая личность, но личность, участвующая в коммуникации, причем не вообще, но здесь и сейчас, т.е. «коммуникативная» личность. Таким образом, нам представляется целесообразным разделить и некоторым образом (насколько это возможно на сегодняшний день) определить следующие понятия:

человек говорящий — личность, одним из видов деятельности которой является речевая деятельность;

языковая личность — личность, проявляющая себя в речевой деятельности, обладающая определенной совокупностью знаний и представлений;

речевая личность — личность, реализующая себя в коммуникации, выбирающая и осуществляющая ту или иную стратегию и тактику общения, выбирающая и использующая тот или иной репертуар средств (как собственно лингвистических, так и экстралингвистических);

коммуникативная личность — конкретный участник конкретного коммуникативного акта, реально действующий в реальной коммуникации.

<...> Подобное разграничение возможно и, как представляется, необходимо только в рамках научного исследования в целях теоретического осмысления данного феномена, поскольку очевидно, что каждый человек, как «человек говорящий», в каждый момент своей речевой деятельности выступает одновременно в трех ипостасях: как языковая личность; речевая личность и коммуникативная личность.

Остановимся на явлении языковой личности <...>, т.к. именно эта ипостась человека говорящего связана с когнитивными феноменами, актуализирующимися и проявляющимися в процессе коммуникации, и человек говорящий, рассматриваемый в первую очередь как языковая личность, является носителем определенных знаний и представлений. <...>

✓ **Задание.** Попробуйте реконструировать «речевой портрет» современного носителя русского языка (или охарактеризовать «ус-

редненную» языковую личность), используя в качестве исследовательского материала статьи ассоциативных словарей русского языка, представляющие совокупность реакций на слова-стимулы *Народ* и *Хлеб*. Сопоставьте материалы «Словаря ассоциативных норм (1977) и «Русского ассоциативного словаря» (1994—1996): какие изменения в «лексическом портрете» русских вы наблюдаете? Каковы, с вашей точки зрения, причины этих изменений?

Приводимые ниже фрагменты теоретических работ помогут вам определить возможные направления анализа результатов массового ассоциативного эксперимента.

А.А. Леонтьев

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИЯХ И АССОЦИАТИВНЫХ НОРМАХ

(Словарь ассоциативных норм русского языка. М., 1977)

В основе «Словаря ассоциативных норм русского языка» лежит хорошо известный в психологии **а с с о ц и а т и в н ы й э к с п е р и м е н т**. Он заключается в том, что испытуемому дается слово-стимул и предлагается реагировать на это слово первым «пришедшим в голову» словом или словосочетанием. <...>

<...> теоретическая значимость исследования ассоциаций вообще и типичных для данного языкового коллектива, в частности, громадна. И не последнее место в числе тех, кто может получить необходимую информацию из исследования ассоциаций, занимают специалисты в области обучения языку. Имея объективные данные относительно типичных или стереотипных ассоциаций на слова русского языка, мы можем использовать эти данные в самых различных сторонах обучения — от составления словарей до отбора фразеологизмов, от установления оптимальных способов семантизации до анализа культуроведческих проблем. <...>

Чем удобны ассоциативные данные?

В о - п е р ы х, они дают результаты не избирательного, а действительно массового эксперимента, что позволяет использовать

их как источник лингвистической и психологической информации. Если мы имеем 1000 испытуемых, то совершенно ясно, что, каковы бы ни были индивидуальные особенности этих испытуемых, общая тенденция «пробьется», хотя бы в наиболее частых ответах. Подобрать испытуемых так, чтобы они представляли различные группы внутри языкового коллектива (по различным признакам — возраст, пол, образование и т.д.), мы можем игнорировать все те признаки, все те факторы, которые не типичны для рядового члена языкового коллектива. Если мы используем в качестве испытуемых только официантов, то на слово *стол* они почти наверняка дадут массовую реакцию *накрытый* или *свободный*, или *заказ*. Если только хирургов — они дадут нам реакцию *операция* или *больной*. Задача как раз и заключается в том, чтобы избежать подобных крайностей и подобрать наших испытуемых так, чтобы структура этого «множества» не слишком отличалась от социальной, профессиональной, возрастной структуры языкового коллектива. Только при этом условии мы получим объективные «средние» данные, только при этом условии статистика ассоциаций будет отвечать истинному положению вещей. Впрочем, если нас интересуют только наиболее частые ответы, то они будут, как показывает опыт, весьма мало подвержены влиянию социально-профессиональных, культурных, поло-возрастных факторов. На слово *длинный* три четверти американских испытуемых заведомо отвечают *короткий*, а на слово *небо* столько же испытуемых реагируют словом *голубое* — тенденция не только общая для языкового коллектива, но и, так сказать, общечеловеческая <...>.

В о - в т о р ы х, ассоциативные нормы благодаря своей статистической «благонадежности» легко поддаются математической обработке. <...> фактор частотности слова-стимула весьма существенно, можно сказать, революционно влияет на характер «ассоциативного профиля» этого слова.

В - т р е т ь е х, важно, что ассоциативные нормы дают в очень удобной форме специфический для данного языка и данной культуры «ассоциативный профиль» лексических единиц. Сопоставление ассоциативных норм для разных языков показало, что хотя наиболее частотные стимулы и дают однотипные реакции, но даже в этих случаях «профиль» в целом чрезвычайно различен.

Если нам нужно найти метод, с наибольшей объективностью позволяющий вскрыть «культурную» специфику словарных единиц, вскрыть те побочные, непосредственно не релевантные для обобщения семантические связи, которые имеет данное слово, его семантические «обертоны», — без сомнения, таким методом является ассоциативный эксперимент, а ближайшим источником данных на этот счет — словарь ассоциативных норм. Например, в теннессийских экспериментах обнаружилось, что 31% студентов (не нью-йоркцев!) отвечали на стимул «statue» (статуя) «of Liberty» (...Свободы).

В - ч е т в е р т ы х, ассоциативные нормы представляют собой мощное орудие социологического и социально-психологического исследования. <...>.

Мы не говорили еще об одной существенной стороне ассоциативных норм, а именно — об их использовании в медицине, прежде всего в психиатрии. Дело в том, что многие виды психических заболеваний проявляются, между прочим, в расстройстве системы ассоциаций и относительно легко диагностируются при помощи ассоциативного эксперимента. Однако для того, чтобы иметь возможность судить о характере о т к л о н е н и й, надо хорошо знать, от чего отклоняется больной; если его речевое поведение — это патология, то где лежат границы нормы?

Таким образом, «Словарь ассоциативных норм русского языка» может быть использован для разных целей, как теоретических, так и практических.

Л.Н. Чурилина

КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» КАК ФРАГМЕНТ КОЛЛЕКТИВНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА: АССОЦИАТИВНЫЙ АСПЕКТ

(Лексическая структура художественного текста: принципы антропоцентрического исследования. СПб., 2002)

1.3.0. <...> Уникальным источником материала для реконструкции концептов как фрагментов «коллективного сознания»

является «Русский ассоциативный словарь» [РАС 1—6]. Неоспоримое преимущество **ассоциативного тезауруса как словаря** особого типа в процессе реконструкции концепта определяется тем, что словарь этот, по утверждению Ю.Н. Караулова, «включает весь или почти весь языковой опыт наивно говорящего индивида», и потому «оказывается богаче деталями, а в ряде случаев превосходит толковый словарь и в каких-то семантически существенных моментах» [Караулов]. Это дает основание рассматривать «Русский ассоциативный словарь» в качестве своеобразной **модели сознания человека** и базы «для анализа путей и закономерностей формирования языкового сознания в онто- и филогенезе» [РАС 1: 5].

Специфика массового ассоциативного эксперимента, на материале которого построен [РАС], заключается в том, что в процессе его проведения индивидуальные черты языковой личности неизбежно стираются, «индивидуальность превращается в “коллективную”, или усредненную, языковую личность, что заставляет говорить о “нормах”, свойственных той языковой общности, к которой принадлежит эта личность» [Караулов]. В ассоциативном поле эксплицируется активируемый «у каждой индивидуальности лишь потенциально» [Там же] участок коллективной ассоциативно-вербальной сети. Лишенное конкретных индивидуальных черт «лицо» выступает «как собирательная национально-языковая личность» [Караулов], а ассоциативное поле слова, соответственно, может рассматриваться как «фрагмент образов сознания, мотивов и оценок русских» [РАС 1: 6].

1.3.1. Ассоциативное поле «Любовь» в «Русском ассоциативном словаре» как лексический эквивалент национального концепта. Лексическое наполнение ассоциативного поля «Любовь» определяется составом нескольких статей, представленных в «Русском ассоциативном словаре». Так, в нечетных томах [РАС 1, 3, 5], фиксирующих правонаправленные отношения ($S > R$), нами выявлено 11 словарных статей, прямо связанных с презентацией концепта «Любовь». Каждая из этих статей представляет собой отдельное ассоциативное поле, роль слов-стимулов в структуре этих полей выполняют словоформы: *любовь, о любви, в любви, любить, не люблю, влюбиться, влюбленные, любимая, любимый, любовник,*

любовный. В совокупности эти ассоциативные поля содержат 791 реакцию (словоформу). Кроме того, в четных томах [РАС 2, 4, 6], представляющих левонаправленные отношения ($R < S$), выявлена 371 статья, в составе которых объединены слова-стимулы (2098 словоформ), вызвавшие в качестве реакции какую-либо из форм слов *любовь* / *любить* или членов возглавляемого ими словообразовательного гнезда (типа: *полюбить*, *разлюбить* и под.).

В результате в нашем распоряжении оказался значительный объем материала — более тысячи **разных** словоформ. Направленность исследования на выявление лексических средств презентации национального концепта «Любовь» позволяет рассматривать весь отобранный материал как **совокупное ассоциативное поле** «Любовь», связанное с языковой объективацией основных признаков (граней) концепта. Этот материал не организован логически и иерархически, он представляет собой «мозаический набор скрытых в языковых структурах, конструкциях и текстах сведений и умозаключений об устройстве мира, мотивировки которых зачастую опираются только на традицию, общепринятость, устойчивость, воспроизводимость и повторяемость, — на прецедент» [Караулов]. Такая «мозаичность» и неорганизованность позволяет говорить об ассоциативном поле как о гипертексте, или нелинейном тексте, единой непрерывной текстовой ткани, сеть связей в которой устанавливается «не между элементами, частями изначально единой текстовой конструкции, а между <...> следами фиксации мысли как таковыми» [М.М. Субботин]. Гипертекст дает возможность комбинировать составляющие его единицы «в том или ином порядке, основываясь на задаваемых заранее переменных связях между ними» [Караулов 1999].

Основанием для классификации лексического материала — представленных в ассоциативном поле словоформ — служат *направления ассоциирования*, или направления движения мысли коллективного субъекта, отражающие различные грани концепта как целостного образования.

Избранный подход к классификации составляющих совокупное ассоциативное поле слов позволит описать «верхний» слой концепта «Любовь» как фрагмента «наивной картины мира» но-

сителей русского языка. «Верхний», актуальный на определенной стадии существования, слой концепта являет собой результат его эволюции и предполагает сохранение преемственности формы и содержания [Ю.С. Степанов]. Следовательно, любое звено в развитии концепта неизбежно связано с предшествующими ему звеньями, или слоями, как в формальном, так и в содержательном отношении.

Определению места, занимаемого концептом «Любовь» в национальной картине мира, должно послужить сопоставление семантического и ассоциативного полей «Любовь» как вариантов вербальной презентации концепта с точки зрения способов лексической презентации каждым из них взаимного соотношения концептов в рамках национальной концептосферы.

Заранее оговорим, что в сфере нашего внимания оказываются только ассоциативные биномы, связанные с экспликацией представления о любви как о сфере **межличностных отношений**; поэтому реакции типа «*любить — яблоки, театр, отечество, природу*» и под., реализующие значение «пристрастие к чему-либо, предпочтение чего-либо», остаются за пределами анализируемого материала. <...>

При анализе материалов совокупного ассоциативного поля, представленного в [РАС], мы не будем разграничивать собственно лингвистические (парадигматические и синтагматические) и экстралингвистические (тематические) ассоциации [А.П. Клименко; И.Г. Овчинникова], поскольку те и другие в той или иной мере основываются на «взаимодействии денотата (или сигнификата) слова-стимула с другими объектами реального мира», или «отражении этого взаимодействия сознанием субъекта» [Овчинникова].

1.3.2. Ассоциативное поле «Любовь» как фрагмент картины мира «коллективного субъекта»: состав и структура. В составе совокупного ассоциативного поля «Любовь», может быть выделено ядро — группа словоформ, находящихся с именем поля в гиперо-гипонимических или синонимических отношениях: *чувство, чувствовать, отношение, относиться, состояние, эмоции, ощущать; увлечение, увлекаться, интерес, интересоваться, роман, флирт, нравиться, обожать, привязаться, обольстить, жаловать, втрескаться, втю-*

риться. Очевидно, что ряды синонимически сближенных слов и слов-гиперонимов, используемых в традиционном лексикографическом представлении и в ассоциативном тезаурусе, за небольшим исключением, практически совпадают.

Представлена в ассоциативном поле и своеобразная градационная шкала чувств-антиподов: от привычной, с точки зрения лексической системы, антонимической пары *любовь / ненависть, любить / ненавидеть* к *нелюбви, неприязни, безразличности, отвержению* и, наконец, *равнодушию* и *безразличию*, в традиционном лексикографическом представлении не относимых к прямым антиподам любви.

Любовь рассматривается как источник других, самых разнообразных, эмоций и состояний субъекта, как положительных: *счастье, летать от счастья, радость, радоваться, праздник, удовольствие, наслаждение, сладкий, блаженство, приятно, здорово, хорошо, замечательно* и др.; так и отрицательных: *страдание, страдать, страдалец, горе, горевать, мука, мучиться, мучение, мучительница, тоска, ад, несчастье, разочарование, слеза, терзание, печаль, печалиться* и др. Причем говорить о преобладании положительных или отрицательных эмоций / состояний, связываемых в «наивном» сознании с любовью, нет оснований: они представлены в равной степени (в системном представлении явное предпочтение отдается эмоциям с **положительной** модальностью). Главной причиной возникновения отрицательно окрашенных эмоций являются, по свидетельству тезауруса, **измена, разлука и ревность**: *измена, изменить, обман, забыть, забвение, предательство, пренебречь, бросать, оттолкнуть, уйти, покидать, разлука, далекий, ревность, ревновать* и др.

Любовь выступает в роли объекта оценки, как эмоциональной, так и интеллектуальной. В любовь можно **не верить**: *не верю, нет, не бывает, нам только снится*; можно признавать ее **ложным**, придуманным чувством: *мираж, миф, фантазия, пустота, ложь, вздор, вранье, брехня, глупость*; рассматривать как дань **привычке** или **игру**: *привыкнуть, флирт, игра, поиграть*; и, наконец, как физиологический **инстинкт**: *размножение, семя*.

Оцениваемая рационально, любовь достаточно устойчиво связывается с идеей нарушения нормы — **безумие, болезнь**: *без ума,*

безумно, сойти с ума, обезуметь, без памяти, дурдом, рехнуться; любящие / влюбленные — дураки, дебилы, идиоты, странные, сумасшедшие; болезнь, болеть, больные, недуг, лекарство. Оцениваемая эмоционально, любовь также не относится к разряду чувств с безусловно положительной модальностью; с одной стороны, любовь: это прекрасно, прекрасным чувством, прекрасна, светлая, чистая, чудо, чудесная, редкость, ценность и др.; но с другой стороны: это неприлично, нет ничего хорошего, зло, бесстыдный, бессовестный и др.

Особое место в рассматриваемом ассоциативном поле занимает метафора, или метафорический способ представления концепта. Явление это отнюдь не случайное. Эмоции, по мнению большинства исследователей, концептуализируются в языке именно через метафоры <...>. Как пишет В.Н. Телия, «рождение метафоры тесно связано с концептуальной системой носителей языка, с их стандартными представлениями, с системой оценок, которые существуют вне языка и лишь вербализуются в нем». Склонность носителей языка к использованию метафоры при попытках вербализовать эмоции объясняется в первую очередь тем, что сами эмоции недоступны прямому наблюдению, поскольку их весьма сложно, а иногда и невозможно, «перевести в слова», что заставляет говорящего сравнивать эмоцию, им описываемую, с другим явлением, с его точки зрения, — похожим [В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян].

Метафора, представленная в ассоциативном тезаурусе, т.е. возникшая у испытуемого спонтанно в ходе эксперимента, представляет собой «сгусток» мысли, «еще не оформленную массу мысли» [Телия], требующую «расшифровки», «разгадки».

Наиболее устойчивым способом метафоризации в ассоциативном тезаурусе оказывается уподобление любви различным стихиям, благодаря чему актуализируются такие свойства чувства, как **сила, глубина и неконтролируемость**:

- **Любовь — огонь:** *огонь, огонек, огненная, горячо, пламя, пламенная, гореть, разгореться, жгучая, зажигать, греть, погаснуть* и др. <...>;
- **Любовь — буря:** *буря, ураган, порыв, прорвать*;
- **Любовь — вода:** *океан, море, река, течение, источник, родник, тонуть, утонуть*; роль «водной» метафоры в представлении

концепта заключается и в актуализации непостоянства, «текучести» чувства.

Значимыми для интерпретации концепта оказываются и метафоры другого, не «стихийного», плана:

- **Любовь — живое существо:** с персонификацией любви, с попыткой придать ей статус «существа», независимого от человека — субъекта чувства, связаны ассоциативные пары: *язык любви, вздох любви, голос любви, дыхание любви, любовь гложет, любовь — злодейка*;
- **Любовь — вино:** *до пьяна, опьянять*; эта метафора направлена на актуализацию такого признака, как утрата субъектом способности контролировать себя, свои чувства;
- **Любовь — лабиринт, любовь — туман, любовь — кристалл:** метафоры, объективирующие сложность, запутанность, необъяснимость, многогранность чувства;
- **Любовь — дорога, тропа любви:** многозначные метафоры, имплицитно отсылающие к представлению о любви, как о долгом и трудном пути (= жизни), который любящим предстоит пройти вместе; близкой по смыслу является и метафора **любовь — крест** (ср. идиомы *нести свой крест, тяжелый крест*);
- **Любовь — храм:** метафора, эксплицирующая представление о любви как о чувстве высоком, одухотворенном (ср. также входящие в состав ассоциативного поля признаковые слова: *неземная, святая, чистая, благородная*).

Значимость эмоциональной сферы в жизни человека делает любовь предметом размышлений, разговоров, темой творчества: *вечная тема, мыслить, с мыслями, думать, поэма, роман, повесть, проза, песня, романс, музыка, говорить, все говорят, много сказано* и др. Однако в то же время любовь предстает как чувство, которое «боится» разговоров, требует соблюдения некоторой тайны: *громко не говорят, не надо громких слов, помолчим, ни слова, без слов, скрытность, секрет*. Любовь — это маленький мир для двоих, не терпящий чужого вмешательства: *пара, парочка, двое, для двоих, лишний, мирок, наедине*; ср. также метафорическое представление концепта «*Любовь — остров*».

Любовь предполагает установление между субъектами чувства определенных отношений. С любовью в наивной картине мира

связываются **доверие** (*вера, верить, доверить, довериться, доверять, верно*), **уважение** (*уважение, уважать*), **понимание** (*понимание, понимать*), **честность** (*честность, честный*), **забота** (*заботиться, заботливый, беспокойство, беречь, лелеять*), **жалость** (*жалеть, жалко, сожаление*), **нежность** (*нежность, нежный*).

Любовь относится в русском языковом сознании к разряду жизненно важных чувств, определяющих смысл человеческого существования. Экспликации взаимной соотнесенности концептов «**Любовь**» и «**Жизнь**» служат представленные в ассоциативном поле цепочки реакций типа: **любить** — *смысл* — *жить, жизнь, существовать*; **любовью** — *по жизни, жив*; **любовь** — *потребность, требовать; право; важно, необходимо, необходимость, обязательно, в крови* и др.

Высокая оценка значимости чувства (*главный, святое, истина, настоящее* и др.) предопределяет то, что любовь становится предметом надежд и устремлений человека: **любовь** — *стоит того, чтобы ждать; ждать, ожидание, долгожданный, подождать*; **не люблю** — *а хотелось, хочется; мечта, мечтать, надежда, надеяться, стремление*; **по любви** — *голод; просьба, просить, добиваться, мольба, жажда* и др.

Эксплицируется в совокупном ассоциативном поле и соотнесенность концептов «**Любовь**» и «**Смерть**»: любовь может погубить (*смерть, умереть, покончить с собой* и др.), но может и возродить человека к жизни (*возродить, спасение, бессмертие*). Достаточно последовательно проявляется в ассоциативном тезаурусе связь концептов «**Любовь**» и «**Борьба**»: *завоевание, оружие, солдат, армия, победа, преграда, фронт, уничтожить, интриги, месть* и др. Опасности, с которыми связана любовь-борьба, могут заставить человека избегать этого чувства, бояться его: *бояться, бежать, спрятаться, отвергнуть, отказать* и др. Таким образом, отмечаемая лексикографическими источниками возможность соотнесения семантических полей «**Любовь**», «**Борьба**», «**Смерть**» находит в ассоциативном тезаурусе гораздо более полное и последовательное выражение. Концепты «**Любовь**», «**Жизнь**», «**Смерть**», «**Борьба**» предстают в национальном сознании в неразрывном единстве.

Актуальная в системном представлении связь концептов «**Любовь**» и «**Семья**» подтверждается значительным числом слово-

форм, входящих в рассматриваемое совокупное ассоциативное поле: *семья, семейка, кровь, кровный, родители, мать, мама, отец, дитя, дети, ребенок, родня, жениться, замужество, брак, союз, жених, невеста, супруги, муж, жена* и др. Отражено в ассоциативном тезаурусе и взаимное пересечение концептов «**Любовь**» и «**Дружба**» (*друг, подруга, дружба, товарищ, приятель* и др.), «**Любовь**» и «**Секс**» (*близость, связь, контакт, акт, поцелуй, обнимать* и др.). Такой аспект любви, как «половая любовь», определяет появление в составе ассоциативного поля наименований частей человеческого тела (*тело, грудь, о ногах, рука, лицо, губы* и др.). С актуализацией в сознании испытуемых именно этой ипостаси любви связано появление в качестве ассоциаций и словоформ типа: *в постели, кровать, мягкая кровать, койка, спать, простыня, раздеть, удовлетворение* и др. Синонимами имени поля в этом случае оказываются слова *секс (человек для секса), эротика, страсть*.

Любовь относится в наивном представлении к делу (*дело, делать, деятельность*), причем достаточно сложному, требующему от человека определенных знаний и усилий; экспликации зоны пересечения концептов «**Любовь**», «**Наука**», «**Искусство**» и «**Дело**» служат однословные и не однословные реакции типа: *не могу, мочь, дано не каждому, талант, практика, опыт, уметь, учиться, познание, понятие, представление, азбука, искусство* и др.

Тесно связанными в ассоциативном тезаурусе оказываются концепты «**Любовь**» и «**Время**». Справедливости ради следует отметить, что значительная часть лексических единиц, входящих в ассоциативное поле, характеризует любовь как чувство достаточно протяженное во времени: *вечно, вечность, навеки, всегда, навсегда, долго, всю жизнь, на всю жизнь, до гроба, до конца, бесконечность* и др. (ср.: в состав семантического поля «**Любовь**» вошли преимущественно единицы с семантическим компонентом 'долго'). Однако любовь может быть и достаточно четко локализована на временной оси, о чем свидетельствуют реакции типа: *час, ночь, вечер, месяц, период, пора, сезон, год, отпуск* и др., что исключает представление о любви как чувстве «уникальном», «единственном» в жизни человека (ср. также реакции: *временно, на время, мимолетно, внеочередная, заново*).

Связь концептов «**Любовь**» и «**Пространство**» опирается большей частью на активизацию в сознании испытуемых представления об определенной ситуации, хранящейся в их индивидуальном опыте (*беседка, лавочка, сад, трамвай, сарай, мельница, поля* и др.); однако нельзя исключать и более глубинных связей, проявившихся в упоминаемых уже метафорах: *остров любви, тропа любви, любовь — дорога*.

Взаимно соотносенными, равно как и в лексикографическом представлении, оказываются концепты «**Любовь**» и «**Свобода**»; любовь при этом связывается не только с представлением о долге, но и с утратой человеком личной независимости, что оценивается скорее отрицательно, ср.: *взаимозависимость, долг, неравенство, раб, хозяин, узы, опутать, путы, сети, паутина, цепи, оковы, заключенный, поневоле*. В то же время любовь — чувство абсолютно свободное: *свободная, запретов нет, нет преград, пределов нет*.

Неожиданное сближение, не фиксируемое в семантическом поле, обнаруживают концепты «**Любовь**» и «**Деньги**» (название концепта условно, поскольку состав эксплицирующих его словоформ достаточно пестрый): *экономика, обмен, взамен, платить, и деньги, рубль, достаток, процент, цена, и бедность, сыт не будешь* и др.

Находящаяся на периферии смыслового пространства и практически не отражаемая современными толковыми словарями взаимная соотношенность концептов «**Любовь**» и «**Бог**» отчетливо проявляется в ассоциативном тезаурусе. В качестве средств объективации соотношения этих концептов можно рассматривать и лексические единицы (словоформы), безусловно относящиеся к семантическому полю «Религия» (*Бог, крест, икона, покаяние*), и единицы, составляющие периферийную зону, зону семантического перехода между полями «Любовь» и «Религия» (*сочувствие, сострадание, спасение, милосердие, доброта, помощь*); ср. также реакции типа: **любить** — *всех, люди, ближнего, противника*; **любовь** — *к человеку, к людям, ближний*; **любовь** — *братья, братство*.

Подведем некоторые итоги. Любовь в ассоциативном тезаурусе, отражающем наивное представление «коллективного субъекта» о мире, предстает как чувство крайне противоречивое,

одновременно «духовное» и «телесное». Преобладание «духовной» связи характеризует дружбу и братство, в широком смысле этого слова, — христианскую любовь к людям, к ближнему, являющуюся, по-видимому, неотъемлемой частью концепта «Любовь» в русском национальном сознании. Преобладание «телесного» начала характерно для «половой любви».

Любовь оценивается как чувство, являющееся источником положительно окрашенных эмоций / состояний, и одновременно — как причина страданий, как своего рода недуг. Она одновременно относится к чувствам, составляющим смысл человеческого существования, и к чувствам — мифам. Человек стремится к любви и бежит от нее, оценивая ее как безумие, как потерю личной независимости; говорит о ней и пытается скрыть ее от посторонних.

Отмечаемая в ассоциативном тезаурусе амбивалентность и многогранность чувства любви не является принадлежностью исключительно русского национального сознания и имеет глубокие общечеловеческие корни. Об этом свидетельствуют в частности выводы Л.В. Кульгавовой, основанные на сопоставительном анализе материалов английских толковых словарей и современных английских прозаических художественных текстов: «Толковые словари английского языка определяют имя love через слова *feeling, emotion*, т.е. относят его к лексико-семантическому классу «чувство», «эмоциональное состояние». Анализ фактического материала показывает, что в своих индивидуальных значениях говорящие осуществляют иную категоризацию — индивидуальную, субъективную, т.е. относят слово *love* к лексико-семантическим классам, в которые оно обычно не включается: «болезнь», «мнение», «действие / деятельность», «событие» <...>. К аналогичным выводам приходит и Л.Е. Вильмс в результате исследования семантики сложных слов немецкого языка с компонентом *'liebe-' / '-liebe'*, которые не имеют эквивалентов в русском языке: *Mordsliebe* — «дикая, бешеная любовь» («*der Mord*» — «убийство, **смерть**»); *Liebesmord* — «(само)убийство из-за / по причине **несчастной, неразделенной** любви»; *Affenliebe* — «любовь + презрение, ничтожность, убогость, вульгарность»; *Haßliebe* — «любовь, смешанная, граничащая с **ненавистью**»; *Liebestoll* — «су-

масшедший / дикий / безумный от любви»; *Liebeskummer* — «**несчастье / горе / печаль** от любви».

Проведенный анализ совокупного ассоциативного поля «Любовь» показал справедливость утверждения, что все семантические варианты значений слова, зафиксированные в системе и выявляемые при компонентном анализе, «записаны» в разнообразных сочетаниях стимула с реакциями [Караулов]. Этим определяется обнаруживаемое подобие семантического и ассоциативного полей «Любовь» как средств языковой экспликации одного концепта. Однако очевидно и то, что словарь отличается от внутреннего лексикона, в котором «слово существует как ядро многомерных связей и ассоциаций, притом функционирующих не только в роли отражающих собственно языковые связи, но и стоящие за ними структуры знания» [Е.С. Кубрякова].

Факты взаимного пересечения концепта «Любовь» с целым рядом других концептов, нашедшие отражение в ассоциативном тезаурусе, позволяют рассматривать его как гиперконцепт, ибо через «Любовь» в сознании носителей русского языка все оказывается связанным со всем.



Материал для анализа

Словарь ассоциативных норм русского языка

(М., 1977)

НАРОД — люди 39, великий 19, советский 17, русский 16, могучий, сила 7, толпа 6, масса, много 5, весь, несгибаемый, родной 3, дружба, дружный, земля, мой, наш, нация, планета, творец, труд 2, армия, безмолвствует, большой, борется, борющийся, братия, власть земли, в магазине, воинственный, всех стран, головы, гордый, город, гостеприимный, движущая сила, дело, добрый, дом, единый, звезда, земной шар, знамя, идет, и личность, история, культура, мир, мирный, мощь, народность, непобедим, обширный, общество, партия, партия и правительство, патриотический, победитель, простой, разный, религия, самоотверженный, свет, свободный, скот, собрание, создатель, содру-

жество, сосуществование, трудолюбивый, труженик, фашизм, хороший, человек, чей 1. N = 202.

ХЛЕБ — насущный 123, соль 119, черный 49, белый 38, свежий 19, имя существительное 17, вкусно 16, съесть, черствый 15, булка 14, пшеница, ржаной, рожь 12, мягкий, поле 8, еда 7, пища, розы 6, жизнь, украинский 5, горячий, кушать, масло, печь, стол 4, булочная, горький, купить, магазин, молоко, нож, халва 3, вода, вырастить, голодовка, запас, зерно, колос, колхоз, мука, наш, не бросать, питание, поэзия, пшеничный, растить, резать, русский язык, скоро заработаю, теплый, тяжелый, хлеба, хлебница 2, агроном, аромат, ароматный, батон, буфет, вечный, вино, возраст, Вьетнам, город, голод, дело, дорогой, душистый, завтрак, зерна, колосок, колхозники, корка, кот, круглый, Ленинград, наша жизнь, на корню, не кушать, нищета, нога, обед, печеный, пирожное, полushка, прилавок, работа, разведчик, растет, роза, румяный, ситный, тарелка, урожай, хлебнуть, целина, ценить, 14 коп., человек, яблоко раздора 1. N = 635.

A — bread: butter 610, G — Brot: essen 66, F — pain: vin — 30, N — brood: eten 269, P — chleb: powzedni (офж) 100». [A — английский (американский), G — немецкий, F — французский, N — голландский, P — польский]

Ассоциативный тезаурус современного русского языка.

Русский ассоциативный словарь

(Книга 3; Книга 1)

НАРОД — толпа 16; безмолвствует 6; и партия, русский 5; великий 4; глупый 3; быдло, голодный, массы, митинг, партия, советский, стадо, страны, темный 2; беден, бунт, веселый, вокруг, воля, выборы, говно, гордый, город, дружный, дубовый, дурной, душа, един, Ельцин, жалость, загнанный, злой, и армия едины, и партия едины, исполин, лихой, люди, мир, много, многострадальный, могучий, мой, мудрый, наш, не поймет, непобедимый, озлобленный, очень общее, победитель, пошел, прав, рабочий, русичи, сборище, свобода, свой, СССР, страдает, танец, трудолюбивый, тупой, туча, угнетенный, чей, человек 1; 109...

ХЛЕБ — насущный 58; черствый 37; черный 30; свежий 28; белый 23; мягкий, ржаной 22; вкусный 21; булка, соль 14; всему голова 12; теплый 10; есть 9; горячий, масло 7; богатство, вкусный, голова, душистый, жизнь, пища, поле 6; каравай, молоко 5; батон, буханка, еда, магазин, пшеничный 4; запах, и соль, имя существительное, круглый, кусок 3; вода, да соль, золото, и вода, купить, кушать, народу, наше богатство, печь, пшеница, свободный, труд 2; амбар, ароматный, балалайка, белый за 25 копеек, береги, берегите, беречь, бутерброд, в ведре, в магазине, в тарелке, величина, вещь уникальная, вкус, вкусное, война, всегда, всему голова!, голод, горький, густой, для коров, дорог нам, дорогой, драгоценность, единый, жевать, жена, жесткий, жрать, запах хлеба, зерно, злак; золото, наган; и зрелище, испечь, камень, колосья, корка, корочка, крошки, круг, кухня, лаваш, легкие, льется, мама, мир, на поле, на столе, на ужин, народам, настоящий, науки, наш, не хочу, неурожай, нож, общий, овцы, озимый, орловский, осень, подовый, песок, плохой, продукт, продукт питания, промокашка, промышленности, пышный, работа, равнодушно, радость, резать, нож, русский, с мукой, свет, святыня, сирот, ситный, созрел, сок, соломка, стол, сухарь, сухой, сытость, тепло, хлебороб, хороший, Христос, чай, черный ржаной; черный, мягкий, с хрустящей корочкой; экономить, яд 1; 526...

Дополнительная литература

- *Богуславский В.М.* Человек в зеркале русского языка, культуры и литературы. М., 1994.
- *Залевская А.А.* Индивидуальное знание. Специфика и принципы функционирования. Тверь, 1992.
- *Караулов Ю.Н.* Ассоциативная грамматика русского языка. М., 1993.
- *Караулов Ю.Н.* Активная грамматика русского языка. М., 1998.
- *Караулов Ю.Н.* Русский язык и языковая личность. М., 1987.
- *Леонтьев А.А.* Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969 [и последующие издания].
- *Ляпон М.В.* Языковая личность: поиск доминанты // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность. М., 1995.
- *Сулименко Н.Е.* Антропоцентрические аспекты в изучении лексики. СПб., 1994.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА КАК ДОСТОЯНИЕ ИНДИВИДА: СЛОВО И КОНЦЕПТ, ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ



Вопросы, выносимые на обсуждение

1. Проанализируйте предлагаемые в лингвистике трактовки понятия «концепт».
 - Как соотносятся между собой *концепт* и *слово*, *значение* и *смысл*?
 - Какие собственно лингвистические пути исследования концепта предлагаются современными учеными?
 - Определите специфику собственно лингвистического и лингвокультурологического подходов к исследованию концепта. Насколько перспективны, с вашей точки зрения, разрабатываемые приемы описания концептов через анализ данных языка?
2. Познакомьтесь с предложенными в «Кратком словаре когнитивных терминов» определениями таких «единиц сознания», как *скрипт*, *стереотип*, *схема*, *сценарий*, *фрейм*.
 - В каком соотношении находятся эти ментальные сущности? Чем определяется своеобразие каждой из них? Как каждая из них соотносится с концептом?
 - Как соотносятся «единицы сознания» с языковыми знаниями? Определите специфику языковой репрезентации каждой из «единиц сознания».



Материал для обсуждения

1. **КОНЦЕПТ (concept)** — термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и

той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (*lingua mentalis*), всей картины мира, отраженной в человеческой психике. Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания. Концепты возникают в процессе построения информации об объектах и их свойствах, причем эта информация может включать как сведения об объективном положении дел в мире, так и сведения о воображаемых мирах и возможном положении дел в этих мирах. Это сведения о том, что индивид знает, предполагает, думает, воображает об объектах мира <...>. Концепты сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых явлений к чему-то единому, подводя их под одну рубрику; они позволяют хранить знания о мире и оказываются строительными элементами концептуальной системы, способствуя обработке субъективного опыта путем подведения информации под определенные выработанные обществом категории и классы. Два и более разных объектов получают возможность их рассмотрения как экземпляров и представителей одного класса / категории <...>.

Всю познавательную деятельность человека (когницию) можно рассматривать как развивающую умение ориентироваться в мире, а эта деятельность сопряжена с необходимостью отождествлять и различать объекты: концепты возникают для обеспечения операций этого рода. Для выделения концепта необходимы и перцептуальная выделимость некоторых признаков, и предметные действия с объектами и их конечные цели, и оценка таких действий и т.п., но, зная роль всех этих факторов, когнитологи тем не менее еще не могут ответить на вопрос о том, как возникают концепты, кроме как указав на процесс образования смыслов в самом общем виде.

Считается, что лучший доступ к описанию и определению природы концепта обеспечивает язык <...>. При этом одни ученые считают, что в качестве простейших концептов следует рас-

смаатривать концепты, представленные одним словом, а в качестве более сложных — те, которые представлены в словосочетаниях и предложениях <...>. Другие усматривали простейшие концепты в семантических признаках или маркерах, обнаруженных в ходе компонентного анализа лексики. Третьи полагали, что анализ лексических систем языков может привести к обнаружению небольшого числа «примитивов» (типа НЕКТО, НЕЧТО, ВЕЩЬ, МЕСТО и пр. в исследованиях А. Вежбицкой), комбинацией которых можно описать далее весь словарный состав языка. Наконец, известную компромиссную точку зрения разделяют те ученые, которые полагают, что часть концептуальной информации имеет языковую «привязку», т.е. способы их языкового выражения, но часть этой информации представляется в психике принципиально иным образом, т.е. ментальными репрезентациями другого типа — образами, картинками, схемами и т.п. Мы, например, знаем различие между елкой и сосной не потому, что можем представить их как совокупности разных признаков или же как разные концептуальные объединения, но скорее потому, что легко их зрительно различаем и что концепты этих деревьев даны прежде всего образно.

Не вызывает сомнения, однако, тот факт, что самые важные концепты кодируются именно в языке. Нередко утверждают также, что центральные для человеческой психики концепты отражены в грамматике языков и что именно грамматическая категоризация создает ту концептуальную сетку, тот каркас для распределения всего концептуального материала, который выражен лексически. В грамматике находят отражение те концепты (значения), которые наиболее существенны для данного языка <...>.

Для образования концептуальной системы необходимо предположить существование некоторых исходных, или первичных концептов, из которых затем развиваются все остальные <...>: концепты как интерпретаторы смыслов все время поддаются дальнейшему уточнению и модификациям. Концепты представляют собой неанализируемые сущности только в начале своего появления, но затем, оказываясь частью системы, попадают под влияние других концептов и сами видоизменяются. Возьмем, например, такой признак, как «красный», который, с одной сто-

роны, интерпретируется как признак цвета, а с другой, дробится путем указания на его интенсивность (ср. *алый, пурпурный, багряный, темно-красный* и т.д.) и обогащается другими характеристиками. Да и сама возможность интерпретировать разные концепты в разных отношениях свидетельствует о том, что и число концептов и объем содержания многих концептов беспрестанно подвергаются изменениям. «Так как люди постоянно познают новые вещи в этом мире и поскольку мир постоянно меняется, — пишет Л.В. Барсалоу, — человеческое знание должно иметь форму, быстро приспособляемую к этим изменениям»; основная единица передачи и хранения такого знания должна быть тоже достаточно гибкой и подвижной.

Предметом поисков в когнитивной семантике часто являются наиболее существенные для построения всей концептуальной системы концепты: те, которые организуют само концептуальное пространство и выступают как главные рубрики его членения. Многие разделяют сегодня точку зрения Р. Джекендоффа на то, что основными конституантами концептуальной системы являются концепты, близкие «семантическим частям речи» — концепт ОБЪЕКТА и его ЧАСТЕЙ, ДВИЖЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ, МЕСТА или ПРОСТРАНСТВА, ВРЕМЕНИ, ПРИЗНАКА и т.п. <...>. Эта точка зрения близка и тем концепциям, которые утверждают примат релевантности грамматических категорий для организации ментального лексикона, а следовательно, и тем, что доказывали первостепенную значимость для устройства и функционирования языка тех концептуальных оснований, что маркируют распределение слов по частям речи и которые, по всей видимости, предсуществуют языку, складываясь как главные концепты восприятия и членения мира в филогенезе.

Понятие концепта используется широко и при описании семантики языка, ибо значения языковых выражений приравниваются выражаемому в них концептам или концептуальным структурам <...>; такой взгляд на вещи считается отличительной чертой когнитивного подхода в целом.

Но такое истолкование соотношения концепта и значения не является единственно возможным. Концепты — это скорее посредники между словами и экстралингвистической действитель-

ностью, и значение слова не может быть сведено исключительно к образующим его концептам <...>. Правильнее было бы, наверное, говорить о концептах как соотносительных со значением слова понятиях (counterparts of words) <...>. Значением слова становится концепт, «схваченный знаком». В том же смысле мы не можем согласиться с мнением А. Вежбицкой о том, что значения в определенном отношении независимы от языка <...>. Независимы от языка именно концепты, идеи, и не случайно, что только часть их находит свою языковую объективацию. Отношения между концептами и значениями поэтому достаточно сложны: так, у союза *и* или *но* вряд ли можно постулировать значение, но концепты, которые за ними стоят, достаточно ясны (соединения, противопоставления и т.п.). Точно так же можно предположить, что у всех людей есть общие представления о том, как реагирует человек на контакт с объектом, воздействующим на него своей температурой, но значения, зафиксированные в словах типа *обжечься*, *сгореть*, *тепло*, *жар* и пр., отражают лишь определенную часть этого концепта и являются зависимыми от языка.

Думается, что в когнитивной лингвистике перспективным является то направление в семантике, которое защищает идеи о противопоставленности концептуального уровня семантическому (языковому). Выдвинутые М. Бирвишем и поддержанные его коллегами, эти мысли уже нашли воплощение в так называемой двухуровневой теории значения <...>. Думается, что и указанная монография А. Вежбицкой служит ярким доказательством того, как некие общечеловеческие (если и не универсальные) концепты по-разному группируются и по-разному вербализуются в разных языках в тесной зависимости от собственно лингвистических, прагматических и культурологических факторов, а следовательно, фиксируются в разных значениях [Е.С. Кубрякова].

2. Концепт занимает центральное место в когнитивной теории, и в этом ее отличие, например, от школы формальной, логической семантики. Концепты приписываются самым разным языковым единицам — в первую очередь обозначениям естественных классов (типа *bird*), ситуаций (типа *run*), но и индивидов (типа *George Lakoff*).

Главным свойством концептов нередко считается их неизолированность, связанность с другими такими же — поэтому всякий концепт погружен в **домены** (domains), которые образуют структуру, ближе всего соотносящуюся с филлморовским понятием фрейма <...>. Домены образуют тот (мы бы сказали — семантический) фон, из которого выделяется концепт: концепт ‘дуга’ понимается «с опорой» на представление о круге, ‘гипотенуза’ «опирается» на понятие о треугольнике и т.д. В терминах Р. Лангакера соотношение между концептом и доменом описывается зрительной парой **профиль — база**.

В таком простом случае, как эти, домен у концепта один, но обычно в число доменов входит и время, и пространство, и др. (их множество называют еще domain matrix — матрицей доменов).

Так оказалось, что идеология когнитивной семантики очень тесно связана с визуальными, образными представлениями — обычно концепты, как и другие теоретические конструкты в рамках этой теории, рисуют. Тем самым одновременно иллюстрируется близость визуального и языкового восприятия: действительно, если то, что мы думаем, когда говорим, можно «увидеть» глазами, разные когнитивные системы скорее всего связаны.

В качестве примера невизуального описания концепта обычно приводят всем известные списки свойств, характеризующих слова mother или bachelor по Дж. Лакову <...>. Такой домен содержит набор признаков (dimensions), каждый из которых, впрочем, сам может интерпретироваться как отдельный домен, ср. ‘тон’, ‘яркость’, ‘насыщенность’ для концепта цвета. Как кажется, эти признаки тем хуже организованы, чем менее исходное слово предикативно (и это естественно), но зато концептуальное описание глаголов привычно опирается на их ролевую структуру. Иногда над признаками, над ролевой структурой обнаруживается некая «надстройка» — Лаков называет ее «идеализированной когнитивной моделью» (ИКМ). Это все наши представления об объекте сразу, в целом, некий «нерасчлененный образ», который и порождает признаки, ролевую структуру и т.д.

В этой связи интересна полемика Дж. Тейлора с Р. Джэкендоффом по поводу способа представления концептов running и

jogging. Джон Тейлор — известный представитель когнитивного направления; что касается Джэкендоффа, то его теория близка к когнитивному направлению, но не является его частью. Собственно, данная полемика началась по поводу слов *goose* и *duck*. Джэкендофф предлагал описывать их признаками [–thing], [+animate], [–human], [+bird] — тем самым, различие между ними не отражается в его концептуальной структуре, но он не видит способа, который мог бы исправить это положение. В частности, идея добавить признак [+/– long neck] кажется ему «patently ridiculous», потому что такие признаки, с его точки зрения, должны быть семантически элементарны. Более того, тождество концептуальных структур здесь совершенно оправданно, поскольку синтаксическое поведение этих лексем в целом идентично, а концептуальная структура именно синтаксическое поведение и предсказывает. Однако в дополнение к концептуальной структуре Джэкендофф апеллирует к трехмерному представлению, предложенному Д. Марром (3D-model), которое позволяет схематично представить форму объекта (как видим, модель Джэкендоффа тоже опирается на визуальный ряд).

Интересно, что Дж. Тейлор не возражает по поводу *duck* и *goose* (как если бы различия между концептами утки и гуся в самом деле сводились к длине шеи этих птиц! <...>); между тем концептуальная структура Р. Джэкендоффа его не устраивает, причем именно ее ориентацией на синтаксис, поэтому ему приходится перевести свою аргументацию в иную плоскость. Действительно, если данные языковые образы можно хотя бы «нарисовать», чтобы эксплицировать их различия, — то как быть с противопоставлением между *gunning* и *jogging*? Между тем, согласно модели Джэкендоффа, эти лексемы тоже получают одну и ту же концептуальную структуру — это Тейлор и опровергает.

Для начала он очерчивает ИКМ для *jogging*. *Jogging* ассоциируется со здоровым образом жизни, физической формой и под. преуспевающих людей среднего класса развитых стран. Отсюда следует, что его концепт не совместим с соревнованиями, целевыми ситуациями («если прототипическому джоггеру нужно куда-то попасть, он садится в БМВ» — Taylor), а также с малолетними детьми, стариками, животными и другими концептами,

допустимыми для run. И только вследствие этого возникают синтаксические ограничения, которые «просмотрел» Джэкендофф, потому что начинал с синтаксиса, а не с семантики. Например, не говорят *jog to catch the bus (говорят: run), *jog (но: run) after someone и т.д., и т.п. Таким образом, фактически Дж. Тейлор в данном случае говорит об очень хорошо известной нашей традиции мотивированности синтаксиса языковой единицы ее семантикой. <...> [Е.В. Рахилина]

3. Если исходить из разделяемой многими авторами идеи о том, что стереотипы сознания — это «прежде всего определенное представление о действительности или ее элементе с позиции “наивного”, обыденного сознания» [Прохоров], то окажется, что за любой единицей языка стоит стереотип, стереотипный образ (поскольку очевидно, что для русского, перса или японца, например «стол» будет для каждого свой), а вся ассоциативно-вербальная сеть представляет собой не что иное, как «стереотипное поле», репрезентирующее концептосферу того или иного национально-лингво-культурного сообщества. С данным полем неразрывно связаны концепты, бытующие в том или ином языковом сознании.

Следовательно, для нас оказывается принципиально важным развести такие понятия, как «стереотип» и «концепт».

А. Вежбицкая определяет концепт как «объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий определенные культурнообусловленные представления человека о мире «Действительность». <...> Это русский язык знает, что *ссора и конфликт вспыхивают, а угроза нарастает и нависает*. <...> Концепт имени охватывает преломления всех видов знания о явлении, стоящем за ним <...>, все то, что «подведено под один знак и представляет бытие знака как известной когнитивной структуры» <...>.

Исследования, проводимые в рамках когнитивной лингвистики, ясно показывают, что концепт тесно связан с ассоциативным пространством (полем) имени, в нем проявляясь. Ассоциативная организация связей в простейшей форме репрезентирует одну из моделей хранения знаний в памяти человека, она мыслится как некая форма семантических сетей, существующих в

сознании. С каждым узлом семантических сетей в долговременной памяти человека связаны сведения, ассоциативно с ним вместе возбуждаемые, следовательно, при определении (установлении) места какого-либо понятия из долговременной памяти одновременно «вытаскиваются» все известные сведения и факты, с данным понятием связанные <...>.

Итак, каждая единица обладает неким набором потенциально возможных «векторов» ассоциаций; какие именно векторы выбираются представителем того или иного национально-лингво-культурного сообщества, почему именно тот, а не другой, — зависит от национально-культурной специфики, за этим стоит «стереотип» (в широком смысле), или — если для нас нерелеванна предсказуемость определенных ассоциаций — *национальный концепт*, который может быть определен следующим образом: **национальный концепт** — самая общая, максимально абстрагированная, но конкретна репрезентируемая идея «предмета» в совокупности всех валентных связей, отмеченных национально-культурной маркированностью.

Это своего рода свернутый глубинный «смысл» предмета <...>, он может разворачиваться при возбуждении, активации семантической (в других терминах — и это точнее — ассоциативной) сети.

Концепт, с точки зрения когнитивной лингвистики, есть «парадигматическая структура, выводимая из семантических отношений имени, фиксированных в тексте» [Чернейко, Долинский]. *Стереотип* же представляет собой «социокультурно маркированную единицу ментально-лингвального комплекса представителя определенной этнокультуры, реализуемую в речевом общении в виде нормативной локальной ассоциации к стандартной для данной культуры ситуации общения [Прохоров]. [В.В. Красных]

4. <...> Сам человек пронизан для культуры, более того — он **пронизан культурой**.

И если уж представлять себе это состояние в виде какого-либо образа, то не следует воображать себе культуру в виде воздуха, который пронизывает все поры нашего тела, — нет, это «пронизывание» более определенное и структурированное: оно осуще-

ствляется в виде ментальных образований — **концептов**. Концепты — как бы сгустки культурной среды в сознании человека. <...>

КОНЦЕПТ. Концепт — явление того же порядка, что и понятие. По своей внутренней форме в русском языке слова *концепт* и *понятие* одинаковы: *концепт* является калькой с латинского *conceptus* — «понятие», от глагола *concipere* «зачинать», т.е. значит буквально «поятие, зачатие»; *понятие* от глагола *пояти*, <...> «схватить, взять в собственность, взять женщину в жены» буквально значит, в общем, то же самое. В научном языке эти два слова также иногда выступают как синонимы, одно вместо другого. Но так они употребляются лишь изредка. В настоящее время они довольно четко разграничены.

Концепт и *понятие* — термины разных наук; второе употребляется главным образом в логике и философии, тогда как первое, *концепт*, является термином в одной отрасли логики — в математической логике, а в последнее время закрепилось также в науке о культуре, в культурологии <...>.

Концепт — это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего человек — рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» — сам входит в культуру, а в некоторых случаях влияет на нее.

Возьмем, например, представления рядового человека, не юриста, о «законном» и «противозаконном», — они концептуализируются прежде всего в концепте «закон». И этот концепт существует в сознании (в ментальном мире) такого человека, конечно, не в виде четких понятий о «разделении властей», об исторической эволюции понятия закона и т.п. Тот «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово *закон*, и есть концепт «закон». В отличие от понятий в собственном смысле термина (таких, скажем, как «постановление», «юридический акт», «текст закона» и т.п.), концепты не только мыслятся, они переживаются. Они — предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений. **Концепт — основная ячейка культуры в ментальном мире человека.**

У концепта сложная структура. С одной стороны, к ней принадлежит все, что принадлежит строению понятия <...>; с дру-

гой стороны, в структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры — исходная форма (этимология); сжатая до основных признаков содержания история; современные ассоциации; оценки и т.д. <...> [Ю.С. Степанов]

5. Термин *концепт* для отечественной лингвистики, в отличие от лингвистики зарубежной, относительно нов. Еще в 1974 году он воспринимался как сугубо инородный и требующий комментариев. <...>

Полноправное использование термина *концепт* в русских текстах начинается только в 80-х годах с переводов англоязычных авторов. <...>

<...> использование термина *концепт* вначале было связано с расширением предметного поля лингвистики за счет ее взаимодействия с философией. Далее наполнение термина определилось не столько расширением в сторону психологии, сколько сдвигом ценностных ориентаций.

Когда интересы лингвистов, притом таких влиятельных, как А. Вежбицка, стали фокусироваться на том, что Бенвенист называл «человек в языке», возникла необходимость задуматься о другой трактовке смысла как такового. Разумеется, смысл можно трактовать как *абстрактную сущность*, формальное представление которой не связано ни с автором высказывания, ни с его адресатом. Просто такой подход перестал быть для лингвистов ценным занятием и отошел на задний план. Интерпретация термина *концепт* стала ориентироваться на смысл, который существует в человеке и для человека, на интер- и интрапсихические процессы, на *означивание и коммуникацию*.

Как известно, еще Гумбольдт понимал язык как «мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека». Казалось бы, принимая эту позицию, нельзя изучать смыслы вне того, без чего они лишаются модуса существования — без внутренних миров их носителей. Иными словами, смыслы нельзя исследовать в отвлечении от говорения и понимания как процессов взаимодействия психических субъектов. <...>

По нашим наблюдениям, первый современный автор <...>, реализовавший на обширном материале идеи Гумбольдта и Бенвениста, — это А. Вежбицка. <...>

В данном разделе мы обратим внимание на некоторые положения Вежбицкой, связанные с эпистемологическим статусом терминов *концепт* и *концептуальный анализ*.

<...> [Концепт]: это объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий определенные культурно-обусловленные представления человека о мире «Действительность». Сама же действительность, по мнению Вежбицкой, дана нам в мышлении (но не в восприятии!) именно через язык, а не непосредственно. Близость подхода Вежбицкой к идеям Гумбольдта достаточно хорошо просматривается.

Но если *концепт* — объект идеальный, т.е. существующий в нашей психике, то следует задуматься о том, как соотносятся между собой ментальные образования, соответствующие *одному концепту*, в психике *разных* людей. Естественно думать, что за одним и тем же именем (словом) в психике разных лиц могут стоять разные ментальные образования. Тем самым, не только разные языки «концептуализируют» (т.е. преломляют) действительность по-разному, но за одним и тем же словом одного языка в умах разных людей могут стоять разные концепты.

Подчеркнем, что Вежбицка имеет в виду не различие в интерпретации концептов типа *талант* или *свобода*. Напротив, она акцентирует различия в концептах, стоящих за «простыми» словами типа *чашка*, *картофель*. <...> [Р.М. Фрумкина]

Цитируемые источники

- Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
- Рахилина Е.В. Идеи и идеологи когнитивной семантики // Е.В. Рахилина. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М., 2000.
- Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? М., 1998.
- Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001 [и предыдущее издание].
- Фрумкина Р.М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца XX века. М., 1995.

Краткий словарь когнитивных терминов

СКРИПТ (script) — <...> один из типов структур сознания, вид фрейма, выполняющего некоторое специальное задание в обработке естественного языка: привычные ситуации описываются скриптом как стереотипные смены событий. Большинство скриптов усваивается в детстве, в результате прямого опыта или сопереживания при наблюдении над другими людьми: мало кто лично участвовал в ограблении банка, угоне самолета или в пытках и т.п., — но из книг, телевидения и кино почти все примерно представляют себе, как это делается, т.е. обладают соответствующими скриптами.

Теория скриптов описывает автоматичность, характерную для действий человека, когда сознание (которому не все подконтрольно) отвлекается от второстепенных мысленных событий. Имеет место постоянное внутреннее напряжение, эксплицитная проверка содержания интенций или мнений, а также постоянное стремление к самоконтролю.

Первоначально скрипты, планы и т.п. рассматривались всего лишь как структуры данных, удобные для умозаключений, осуществляемых по ходу реконструкции причинно-следственных отношений, лежащих в основе какого-либо повествования. Но затем появилась надежда на то, что таким же образом можно моделировать память и обработку текста, скрипты представления рассказов. Так, рассказ о культпоходе в ресторан можно представить через указание на скрипт «ресторан». Действие *проглотить* мы запомним, если поймем, что проглатывание обычно встречается именно в скрипте *ресторан*. По ходу чтения рассказа накапливаются множества значений скрипта, но запоминать нужно только необычные, выдающиеся новые сведения, а не стереотипную информацию. Скрипт *РЕСТОРАН* (*омар, Джон, «Метрополь»*) достаточен для того, чтобы воспроизвести простенькое повествование, как Джон ел омара в ресторане «Метрополь», — если, конечно, дополнительно к этому указанию о значении параметров при скрипте «ресторан» не даны еще необычные детали.

<...> Позже пришли к определению скрипта как набора ожиданий о том, что в воспринимаемой ситуации должно произойти

дальше. Многие ситуации в жизни можно интерпретировать так, как будто участники этих ситуаций «играют» свою роль, заранее заготовленную в «тексте» некоторой пьесы. Официантка следует роли официантки, клиент — роли клиента. Жизненный опыт означает часто знание того, как поступать и как другие поступят в конкретных стереотипных ситуациях. Это называется скриптом <...>. Мы живем, следуя своим скриптам, или предписаниям. Чем больше мы знаем, тем в большем числе ситуаций мы чувствуем себя комфортно, т.е. способны эффективно играть разные роли. В большинстве случаев мышление — поиск имеющихся скриптов и сличение со старыми (готовыми) имеющимися, а не порождение новых идей и вопросов. Но скрипты не дают полных ответов. <...>

СТЕРЕОТИП (stereotype) — стандартное мнение о социальных группах или об отдельных лицах как представителях этих групп. Стереотип обладает логической формой суждения, в заостренно упрощающей и обобщающей форме, с эмоциональной окраской приписывающего определенному классу лиц определенные свойства или установки, — или, наоборот, отказывающего им в этих свойствах или установках. Выражается в виде предложения типа <...> *Итальянцы музыкальны. Южане вспыльчивы. Профессора рассеянны. Женщины — это эмоции.* Подобные высказывания описывают стереотипные представления, «расхожие истины», свойственные некоторой группе — носителнице культуры.

В лингвистических и социально-психологических концепциях стереотип трактуется как форма обработки информации и состояния знаний. Функции стереотипа:

- когнитивная — генерализация (иногда чрезмерная) при упорядочении информации — когда отмечают что-либо бросающееся в глаза. Например, при усвоении чужой культуры на занятиях иностранным языком приходится одни стереотипы (регулирующие интерпретацию речи) заменять другими;
- аффективная — определенная мера этноцентризма в межэтническом общении, проявленная как постоянное выделение «своего» в противовес «чужому»;

- социальная — разграничение «внутригруппового» и «внегруппового»: приводит к социальной категоризации, к образованию социальных структур, на которые активно ориентируются в обыденной жизни.

Важную роль играет ориентация по национальному признаку, в наибольшей степени выражаясь (для стороннего наблюдателя, по крайней мере) как предрассудки, с наибольшей остротой реализуемые при межэтническом общении. <...>

СХЕМА (schema) — способ представления операциональной информации. В когнитивной психологии понятиями оперируют как структурами, упорядочивающими поток входящей и исходящей информации. Когнитивно перерабатываемые внешние сигналы (восприятия, ощущения) и внутренние возбуждения (представления о собственных импульсах к действию, чувства и т.п.) в своей временной последовательности составляют этот поток сознания. Конструирование понятий привносит в него порядок, так что сходные отделяются от несходных. В результате получаются схемы (в других терминологиях: когнитивные структуры, концепты). Понятия же упорядочиваются в «иерархии понятий», структуры знаний и скрипты, являясь не столько результатом, сколько факторами упорядочения при обработке информации.

<...> По мнению некоторых ученых, мир, в той мере, в какой он вообще воспринимаем и воспроизводим, представляет собой «функцию», реализацию схем интерпретации, а потому он зависит от нашей интерпретации. Мир может истолковываться в результате употребления знаков, систем понятий и символов, также зависящих от интерпретаций. Вслед за Кантом можно сказать поэтому: мы структурируем мир того, что в принципе воспринимаемо, «мир явлений». Границы интерпретации являются одновременно и границами воспринимаемого мира. Интерпретирование же — когнитивный процесс, в результате которого получают частично осознаваемые структуры, состоящие из сигналов и их совокупностей. Для получения этих структур используются когнитивные конструкты, называемые схемами, которые служат для того, чтобы конкретные переживания и действия соотнести с ментальными репрезентациями (общими понятийными рам-

ками, в которых единичные явления сводятся к общим и опознаваемым).

В этой связи можно говорить о «схеме ситуации» (в иных терминологических системах — о «логической форме» высказывания), задающей соотношения между участниками и обстоятельствами описываемой ситуации. Часть элементов такой формы при этом бывает недоопределенной — представлена «переменными» величинами. Человек обладает алгоритмом переработки языковой формы в формальную, называемую «схемой ситуации» и подаваемой на вход в семантическую интерпретацию. Интерпретация высказывания должна отвечать всем требованиям, налагаемым той схемой, которая описывается «ситуацией высказывания».

Главным признаком схемы является наличие в ней постоянного каркаса, заполняемого переменными, и возможность одной схемы опираться на другие <...>

СЦЕНАРИЙ (scenario) — разновидность структуры сознания (репрезентации), одно из основных понятий концепции М. Минского. Сценарий вырабатывается в результате интерпретации текста, когда ключевые слова и идеи текста создают тематические («сценарные») структуры, извлекаемые из памяти на основе стандартных, стереотипных значений, приписанных терминальным элементам. <...> Уровни сценарной структуры [Minsky]:

1. Поверхностно-синтаксический фрейм — обычно структуры вида «глагол + имя». Отвечает, среди прочего, конвенциям о представлении предложных конструкций и о порядке слов.
2. Поверхностно-семантический фрейм: значения слов, привязанные к действию. Это квалификаторы и отношения, связанные с участниками, инструментами, траекториями движения и стратегиями, с целями, следствиями и попутными эффектами.
3. Тематические фреймы — сценарии, связанные с топином, деятельностью, портретами, окружениями.
4. Фрейм повествования — скелетные формы типичных рассказов, объяснений и доказательств, позволяющие слушающему сконструировать полный тематический фрейм. Такой фрейм содержит конвенции о том, как может меняться фокус вни-

мания, о главных действующих лицах, о формах сюжета, о развитии действия и т.п. <...>

ФРЕЙМ (frame) — <...> Понятию фрейма соответствуют такие понятия, как схема в когнитивной психологии, ассоциативные связи, семантическое поле. Сцены ассоциированы с определенными языковыми фреймами. Под сценой понимаются не только зрительные, но и иные виды внутренних мысленных образов: межличностные процессы общения, стандартные сценарии поведения, предписываемые культурой, институциональные структуры и др.

Общее во всех определениях фрейма — аналогия с модулем технического устройства и с рамкой в кино. <...> Можно так сгруппировать понимания термина:

1. Система выбора языковых средств — грамматических правил, лексических единиц, языковых категорий, — связанных с прототипом сцены. Кроме связей внутри фрейма, есть еще и межфреймовые отношения, существующие в памяти как результат того, что разные фреймы включают один и тот же языковой материал, а элементы сцен сходны, определяются одним и тем же репертуаром сущностей, отношений или субстанций, а также контекстов употребления в жизни человека [Fillmore].
2. В концепции Э. Гоффмана <...> фрейм ассоциирован с английским словом *framework* (каркас) и указывает на «аналитические леса» — подпорки, с помощью которых мы постигаем свой собственный опыт. <...>
3. Общее родовое обозначение набора понятий типа: схема, сценарий, когнитивная модель, «наивная», или «народная», теория <...> как система категорий, структурированных в соответствии с мотивирующим контекстом. Некоторые слова существуют для того, чтобы обеспечить коммуникантам доступ к знанию таких фреймов, а одновременно категоризируют опыт в опоре на систему понятий. Мотивирующий контекст, в свою очередь, — корпус пониманий, структура практик или история социальных установлений, на фоне которых нам кажется постижимым создание конкретной категории в истории языкового коллектива <...>.

4. Единица знаний, организованная вокруг некоторого понятия, но, в отличие от ассоциаций, содержащая данные о существенном, типичном и возможном для этого понятия. Фрейм обладает более или менее конвенциональной природой и поэтому конкретизирует, что в данной культуре характерно и типично, а что — нет. Особенно важно это по отношению к определенным эпизодам социального взаимодействия — поход в кино, поездка на поезде — и вообще по отношению к рутинным эпизодам. Фрейм организует наше понимание мира в целом, а тем самым и обыденное поведение (скажем, когда мы платим за дорогу или покупаем билеты привычным для нас образом) <...>. Фрейм при таком подходе — структура данных для представления стереотипной ситуации (типа: нахождение в комнате, ритуал детского дня рождения), соответствующая обычно частотным, но иногда и непродуктивным стереотипам. С каждым фреймом связано несколько видов информации: об его использовании и о том, что следует ожидать затем, что делать, если ожидания не подтвердятся. <...>

- ✓ **Задание 1.** Сопоставьте предложенную в работах А. Вежицкой реконструкцию концепта «Друг» как элемента русской (советской) национальной концептосферы с материалами соответствующих статей «Словаря ассоциативных норм русского языка» и «Русского ассоциативного словаря».

Каковы результаты ваших наблюдений: насколько удачным, соответствующим современным представлениям русских о дружбе и друзьях, является результат концептуального анализа, проведенного А. Вежицкой? Отразились ли в последнем по времени создании ассоциативном словаре какие-либо модификации русского национального концепта «Друг»?



Материал для анализа

А. Вежбицкая

СЕМАНТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ И ОПИСАНИЕ ЯЗЫКОВ

(М., 1999)

3. Модели «дружбы» в русской культуре

Внимание западных, особенно американских, студентов, изучающих русский язык, часто обращают на себя русские модели «дружбы» «friendship» (я поставила слово «friendship» в кавычки, потому что само это слово воплощает в себе определенную категоризацию и интерпретацию отношений между людьми, отличающую от той, которая отражена в русском языке).

Например, Хедрик Смит в своей получившей заслуженное одобрение книге «Русские» (*The Russians*) писал:

Их [русских] круг общения обычно более узок, нежели круг общения западных людей, особенно американцев, которые придают такое большое значение общественной жизни, но отношения между русскими обычно более интенсивны, требуют большего, оказываются более длительными и часто больше дают людям.

Я слышал о супружеской паре, отправленной на два года на Кубу; другая семья взяла их сына-подростка к себе в двухкомнатную квартиру, и без того переполненную. Когда поэтесса Белла Ахмадулина вышла замуж в третий раз, они с мужем оказались без гроша, и их друзья купили им целую обставленную квартиру. Стоит диссидентствующему интеллектуалу попасть в трудное положение — и истинные друзья преданно отправятся на выручку, невзирая на ужасающий политический риск...

Они вступают в дружеские отношения лишь с немногими, но этих немногих нежно любят. Западные люди находят насыщенность отношений, практикуемых русскими в своем доверительном кругу, и радующей, и утомительной. Когда русские до конца открывают душу, они ищут себе брата по духу, а не просто собеседника. Им нужен кто-то, кому они могли бы излить душу, с кем

можно было бы разделить горе, кому можно было поведать о своих семейных трудностях или о неладах с любовником или любовницей, чтобы облегчить жизненное бремя и не отказывать себе в удовольствии вести бесконечную философскую борьбу с ветряными мельницами. Как журналист, я нахожу это несколько щекотливым, поскольку русские требуют от друга полной преданности.

Подобно многим другим иностранным комментаторам, Смит связывал потребность русских в интенсивных и длительных дружеских отношениях с условиями жизни при советском режиме:

Именно потому, что публичная жизнь находится под столь пристальным надзором, и поскольку русские не могут позволить себе быть откровенными и искренними с большинством людей, они придают дружеским отношениям столь большое значение. Многие из них, по крайней мере в больших городах, были единственными детьми, для которых ближайшие друзья заменяют братьев и сестер, которых им не хватало. Они будут заходить друг к другу почти каждый день, как члены одной семьи...

Дружеские отношения — это не просто компенсация за холодную обезличенность общественной жизни, но и жизненно важный источник самоидентификации личности.

Друзья — это единственное, что нам действительно принадлежит, — признался один математик. — Они составляют ту единственную часть нашей жизни, в которой мы сами делаем свой выбор. Мы не можем выбирать в политике, религии, литературе, работе. Всегда кто-то сверху влияет на наш выбор. Но с друзьями не так. Друзей мы выбираем сами.

Выбор, по крайней мере среди интеллигенции, делается особенно тщательно, поскольку важная составляющая дружеских отношений у русских — испытание на политическое доверие. Это придает им особую глубину и доверительность. Американцам, избавленным от жестокостей советских политических чисток, репрессий и непрекращающегося идеологического давления, не приходится выносить жизненно важные, критические суждения, чтобы отделить подлинных друзей от коварных доносчиков. Советские люди выносят такие суждения часто и всегда безошибочно.

...Чтобы не рисковать, русские держат друг друга на расстоянии. «Мы не хотим завязывать личные отношения с таким большим числом людей», — прямо сказал один человек. <...>

Значимость беззаветной дружбы в русской иерархии ценностей, нашедшая свое отражение в русской литературе и, как мы увидим, в русском языке, подтверждается и социологическими исследованиями. Например, как отмечает советский социолог Кон (1987), одно исследование, проведенное в Америке в начале 1970-х годов, показало, что американцы ставят дружбу на десятое место в списке ценностей, тогда как при аналогичном опросе в России дружба была на шестом месте. Другие исследования, проведенные в конце 1970-х и в начале 1980-х годов, обнаружили, что в России молодые люди, отвечая на вопрос о том, какую они себе ставят цель в жизни, поставили дружбу на первое место.

Напряженные интерперсональные связи типа описанных Смитом и прочими, несомненно, представляют собою продолжение моделей, которые были неотъемлемой частью русской культуры еще в досоветское время, и даже высказывалось предположение, что политический климат в царской России мог также внести сюда свой вклад; но, вообще говоря, по-видимому, все наблюдатели согласны в том, что эти модели интенсифицировались вследствие условий жизни при советском режиме. Шлапентох делает по этому поводу следующий комментарий:

Фактический культ дружбы в царской России в большой степени подтверждает представление, согласно которому отсутствие политической свободы может значительно способствовать развитию и сохранению тесных отношений между людьми. Прославление дружбы в поэзии Пушкина непосредственно связано с политическим противостоянием царскому деспотизму и жадой свободы. ...Советская система, ужесточившая политическое давление на своих граждан, только усилила значимость дружбы в России.

Но политическое давление в царской России в несравненно меньшей степени пронизывало всю жизнь и было намного менее гнетущим, нежели при советском режиме; именно в советское время Россия стала для всех подлинным архипелагом Гулаг.

Поэтому едва ли покажется удивительным, что в XX веке в русском представлении о «дружбе» одной из самых важных характеристик данного вида отношений стало считаться взаимное доверие <...>. Привело ли это к каким-либо изменениям в значении таких слов, как *друзья*, — это вопрос, требующий дальнейшего исследования.

3.1. Русские аналоги английского слова *friend* — общий обзор

Русский язык располагает особенно хорошо разработанной категоризацией отношений между людьми не только по сравнению с западноевропейскими языками, но и по сравнению с другими славянскими языками. Если обилие слов, обозначающих «рис» в языке хануноо <...>, отражает особый (вполне понятный) интерес народа хануноо к этой области действительности, то обилие русских слов, обозначающих различные категории отношений между людьми (в дополнение к родственным отношениям), свидетельствует об особом интересе, проявляемом в русской культуре к сфере отношений между людьми <...>.

Основные именные категории — это *друг*, *подруга*, *товарищ* (в значении *товарищ*, рассматриваемом ниже), *приятель* (жен. *приятельница*) и *знакомый* (жен. *знакомая*). Приблизительно можно было бы сказать, что порядок, в котором указанные слова упоминаются выше, соответствует степени «близости» или «интенсивности» отношения. *Друг* — это кто-то очень близкий для нас (гораздо ближе, нежели *friend* в английском); *подруга* указывает на связь, менее крепкую, нежели *друг*, но все же более крепкую, нежели *friend*; *приятель* (или *приятельница*) отстоит значительно дальше; а *знакомый* (или *знакомая*) еще дальше, хотя все же ближе, чем предполагаемый английский эквивалент *acquaintance*, обычно приводимый в русско-английских словарях. (*Товарищ* в том смысле, который имеется в виду, по-видимому, может быть как «интенсивнее», так и «слабее» *приятеля* — в зависимости от контекста.)

Собственно говоря, как мы вскоре увидим, семантические различия между словами этой группы качественные, а не количественные, а впечатление некоторых различий в «степени» интенсивности или близости вытекает из наличия различных семантических компонентов в значении этих слов.

Ни одно из этих русских слов не соответствует в точности какому бы то ни было из английских слов. Чтобы дать читателю некоторое представление о значении этих русских слов, мы могли бы сказать, что *друг* можно сравнить с чем-то вроде *close friend* (мужского или женского пола), *подруга* — с *girlfriend* (девушки или женщины), *приятель* (жен. *приятельница*) — просто с *friend* (без уточнения), а *знакомый* (жен. *знакомая*) — с *close acquaintance*; тогда как *товарищ* (в том смысле, который имеется в виду) можно сравнить только со связанной морфемой *-mate* (как в словах *classmates* «товарищи по классу» или *workmates* «товарищи по работе») или же с именным определителем *fellow* (как в *fellowprisoners* «сокамерники [товарищи по заключению]»). Но это только приблизительные аналогии.

Итак, в ситуации, когда носитель английского языка может описать кого-либо «a friend of mine», носитель русского языка вынужден подвергнуть отношение значительно более глубокому анализу и решить, следует ли описывать человека, о котором идет речь, как *друга*, *подругу*, *приятельницу* или *знакомую* (если речь идет о женщине) или же как *друга*, *приятеля*, *товарища* или *знакомого* (если речь идет о мужчине). В английском языке можно проводить дифференциацию между разнообразными видами «друзей» («friends»), если это желательно, но никто не обязан этого делать: адъективные определители представляют собою лишь факультативные дополнительные средства; но наличие разных существительных (как в русском языке) задает иную сетку и вынуждает говорящих делать более определенный выбор. <...>

3.2. Друг

Друг (мн. *друзья*) — это одно из самых важных слов в русском лексиконе. Даже его частотность в русской речи потрясюще огромна. В корпусе Засориной (1977) на 1 миллион словоупотреблений частотность слова *друг* равна 817, тогда как частотность слова *friend* в сопоставимом корпусе для американского английского языка равна 298 <...>. Частота слов *friend* в английском языке также относительно высока; <...>. Тем не менее слово *друг* гораздо более употребительно, нежели *friend*; а частотность абстрактного существительного — *дружба* (155) во много раз выше, нежели частотность *friendship* (27).

Нерегулярная форма множественного числа слова *друг* (*друзья*, как *братья* от *брат*) дает еще один интересный ключ к значению этого слова: *друзья*, как и *братья*, представляет собою старую собирательную форму и предполагает группу лиц. Действительно, с точки зрения индивида, чьи-либо *друзья* образуют важную социальную категорию: это люди, на которых можно положиться, когда надо найти помощь и поддержку. Ни слово *подруга*, ни слово *приятель* не имеют этой импликации, но для *друга* она очень важна.

Хотя я не располагаю никакими данными касательно относительной частотности форм единственного числа *друг* и множественного числа *друзья*, я бы высказала суждение, что множественное число является даже более употребительным и более значимым для русской речи, нежели *друг*. В отношении форм *приятель* (ед.) и *приятели* (мн.), вероятно, верно обратное: *друзья* человека образуют группу поддержки, жизненно важную для него, а *приятели* не образуют какой бы то ни было собирательной категории (можно скорее сказать *все мои друзья* и даже *все мои знакомые*, чем *все мои приятели*). В качестве формы обращения *друзья* также вполне обычны, а **приятели* неприемлемы.

Общеупотребительные словосочетания, такие, как *родные и друзья* и *помощь друзей*, также подтверждают впечатление, что форма множественного числа *друзья* составляет выделенную концептуальную категорию, подтверждаемое и тем фактом, что слово *друзья* обычно используется без притяжательного местоимения, тогда как *приятели* лучше звучит с притяжательным местоимением <...>.

(Это не означает, что все носители языка отвергают форму *приятели* без притяжательного местоимения, но обычно они предпочитают сочетание *его приятели*. В случае с формой *друзья* дело обстоит иначе.) <...>

Важность концепта *друзья* в русской жизни прекрасно иллюстрируется следующими шестью предложениями, которые все взяты с одной страницы воспоминаний о двух знаменитых русских диссидентах, Анатолии Марченко и Ларисе Богораз <...>:

Друзья помогли Ларе с Толей тоже купить в Тарусе кусок дома.

В 73-м году и позже я туда [в Тарусу] приезжала навестить друзей, гулять, купаться и работать.

Гостили Саня и Катя, приезжали и родители, навещали друзей...

Летом поблизости селились Ларины родители и друзья — Лавуты, Кулаевы.

Приезжавшие на день-два друзья тоже старались помогать [строить дом].

Пока же они, вдвоем или вчетвером, и многочисленные родные и друзья, освобожденные из заключения и преследуемые, которые приезжали к ним, — все ютились в маленькой избушке, разделенной на три части дощатыми перегородками.

Эти шесть предложений, два из которых повествуют о том, как была оказана значительная помощь, а четыре — о длительных визитах, весьма характерны, и они показывают, что значат *друзья*: видеть своих *друзей*, беседовать с ними, проводить с ними много времени — это одна из наиболее важных составляющих русской жизни; и сюда же входит и помощь *друзьям*, когда они в ней нуждаются. Снова процитируем Шлапентоха:

Понятие друга в Советском Союзе отличается от представления о друге в Соединенных Штатах. Американцы используют слово «друзья» («friends»), даже говоря о людях, с которыми они поддерживают лишь поверхностные отношения («... соседи рассматриваются... как друзья»). Но для советских людей друг — это человек, с которым у вас глубокие эмоциональные, близкие отношения. Друзья в советском обществе в типичном случае поддерживают весьма интенсивные контакты. Когда Семен Липкин, советский литератор, подружился с Василием Гроссманом, известным писателем, они стали «видеться каждый день»... и никакого советского читателя это не удивляет.

<...> Будучи русским, Шлапентох полагает, что обязанность помогать «другу», хотя и оказывается особенно ясно артикулированной в русской культуре, является универсальной для всех людей:

Во всех обществах от друга склонны ожидать, что в чрезвычайной ситуации — когда в опасности твоя жизнь, свобода или

выживание — друг будет в полной мере предоставлять тебе помощь и успокоение. В советском обществе ожидания, что друзья будут активно помогать тебе, даже когда это будет связано с риском для них, особенно высоки. Здесь опять-таки необычайно высокие требования, предъявляемые к друзьям, в большой степени обусловлены политическим произволом властей.

Но весьма сомнительно, чтобы во всех обществах ожидалось, что «друзья» будут «в полной мере предоставлять тебе помощь и успокоение». Конечно, никакое ожидание такого рода не входит как составная часть в непосредственное значение ближайших аналогов русского слова *друг* в других языках, в том числе и в значение английского слова *friend*. Однако такое ожидание, по-видимому, действительно составляет часть непосредственного значения русского слова *друг*.

Интересно, что оба указанных ключевых элемента русского концепта *друг* (интенсивное и задушевное личное общение и готовность помогать) включены в художественное определение Толстого (данное в словах Пьера, обращенных к Наташе в «Войне и мире»):

...но об одном прошу вас — считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь — не теперь, а когда у вас ясно будет в душе, — вспомните обо мне.

Связь, предполагаемая словом *друг*, гораздо крепче, чем связь, предполагаемая словом *приятель*, не говоря о связи, предполагаемой словом *знакомый*, как показывают следующие отличия в степени приемлемости:

настоящий друг, *истинный друг
настоящий приятель, *истинный приятель
настоящий знакомый, *истинный знакомый,

где *настоящий* (-ая) соответствует английскому «*real*», или «*genuine*», а *истинный* (-ая) — английскому «*true*». Только *друг* может быть охарактеризован как «настоящий», или «истинный», потому что из всех трех слов только *друг* подразумевает наличие крепкой глубинной связи, которую можно подвергнуть испытанию.

Академический «Словарь синонимов» (ССРЯ) определяет *друга* как «человека, близкого по духу, по убеждениям, на которого можно во всем положиться», а ССРЛЯ («Словарь русского литературного языка») — как «человека, тесно связанного с кем-либо взаимным доверием, преданностью, любовью». Согласно этим определениям, для *друга* определяющими элементами, по-видимому, также являются, грубо говоря, готовность открыть другому человеку свои мысли и чувства, полное доверие, готовность помочь и интенсивные «добрые чувства»:

С приятелями в кино ходят, футбол гоняют, а с другом все напололам идет — и радость и горе (Михалков, ССРЛЯ);

Через два-три дня мы стали уже друзьями, ходили всюду вместе, поверяли друг другу свои намерения и желания, делили поровну все, что перепало одному из нас (Горький, ССРЛЯ).

Друг — это тот, на чью помощь можно полагаться. Об этом свидетельствует выражение *будь другом*, используемое «для выражения усиленной просьбы» (ССРЛЯ), т.е. «чтобы усилить просьбу»:

На святках Львов стал уговаривать Платона:

— Ты — храбрый, будь другом, помоги мне (Горький, ССРЛЯ).

Выражение *не в службу, а в дружбу* указывает в том же направлении.

Интересно, что русское *друг* часто используется как форма обращения, особенно в письмах, которые часто начинаются такими обращениями, как «Наташа, мой друг», и заканчиваются аналогичными выражениями *дружбы*, такими, как «твой друг Андрей».

Может показаться, что использование слова *друг* в качестве формы обращения имеет параллель в английском обращении *my friend* «мой друг», которое иногда используется в разговоре, но это не более чем иллюзия: в английском языке, когда словосочетание *my friend* используется как форма обращения, его употребление является ироничным, саркастичным или покровительственным. Нельзя таким образом обратиться к настоящему другу. Напротив того, в русском такие выражения, как *друг, мой друг*

и *дорогой друг*, можно использовать как нежные обращения, адресованные настоящим друзьям (и даже членам семьи).

Тот факт, что слово *друг* можно использовать таким образом (в какой-то степени сходно с обращениями *darling* «дорогой» или *sweetheart* «милый» в английском), заставляет предположить, что оно содержит эмотивный семантический компонент, нечто вроде «когда я думаю о тебе, я чувствую нечто хорошее». Ни для английского *friend*, ни для русских слов *подруга* или *приятель* (или *приятельница*) постулирование такого компонента не было бы оправданным.

Большая часть общеупотребительных коллокаций со словом включает прилагательные, указывающие на «близость» и «особость» связи, например: *близкий друг*, *задушевный друг*, *лучший друг*, *единственный друг* и *неразлучные друзья*, — и на надежность, например: *верный друг*, *надежный друг*, *преданный друг* и *истинный друг*.

Основываясь на всех указанных соображениях, я бы предложила следующее толкование концепта *друг*:

(мой) *друг*

(a) всякий знает: многие люди думают о каких-то других людях так:

(b) я очень хорошо знаю этого человека

(c) я думаю об этом человеке очень хорошие вещи

(d) я хочу часто бывать с этим человеком

(e) я хочу часто разговаривать с этим человеком (говорить ему какие-то вещи)

(f) я знаю: я могу сказать этому человеку что угодно

(g) из-за этого не случится ничего плохого

(h) я хочу, чтобы этот человек знал, что я думаю

(i) я хочу, чтобы этот человек знал, почему я это думаю

(j) я хочу, чтобы этот человек знал, что я чувствую

(k) я хочу делать хорошие вещи для этого человека

(l) когда что-то плохое случается с этим человеком,

я не могу не сделать нечто хорошее для этого человека

(m) я знаю, что этот человек думает обо мне то же самое

(n) когда люди думают так о других людях, они чувствуют нечто очень хорошее

(o) я так думаю об этом человеке.

Как и в ряде последующих толкований, первый компонент (а) показывает, что слово *друг* указывает на общую модель отношений между людьми, а последний компонент — на то, что эта модель мыслится как формирующая данное конкретное отношение. Компоненты (b) и (c) отражают допущение, что это отношение основано на очень хорошем (не просто хорошем, но очень хорошем) знании другого человека, а (с) — также общее предположение, что субъект высоко ценит этого человека. Компоненты (f) и (g) вместе выражают нечто вроде полного доверия, компонентами (d) и (e) представлена потребность в частом общении лицом к лицу, компоненты (f) — (i) соответствуют желанию «излить душу» другому лицу, компоненты (k) и (l) выражают желание, и более того — обязанность, помочь, (m) указывает на допущение, что это отношение является симметричным, и компонент (n) обозначает интенсивность эмоции.

«Толково-комбинаторный словарь русского языка» (ТКС, Мельчук & Жолковский 1984) предлагает следующее тщательно сформулированное и весьма подробное определение слова *друг*:

X — друг Y-а — человек X такой, что люди X и Y, хорошо зная друг друга, эмоционально расположены друг к другу, понимают друг друга, духовно близки, преданы друг другу и готовы помогать друг другу, и это каузирует то, что X и Y хотят иметь контакты (обычно очные) в сфере личных интересов, причем все это — не в силу каких-либо иных отношений [например, родственных] между X-м и Y-м.

Очевидно, что это толкование не претендует на то, чтобы использовать элементарные смыслы или простые синтаксические модели, но содержательно оно близко к предложенному здесь толкованию. В нем содержатся, хотя и в несколько иной форме, все компоненты предложенного мною толкования и добавлены еще два: исключение родства как базы рассматриваемого отношения и включение духовной близости.

В принципе я согласна с общим духом указанных двух дополнительных компонентов, но я не думаю, что их следует в явном виде упоминать в толковании: член семьи вполне может быть

охарактеризован по-русски как *друг*, а поскольку семейные связи просто не релевантны для данного отношения, нет необходимости вообще упоминать его в толковании.

Вопрос о «духовной близости» более проблематичен, в значительной степени потому, что не вполне ясно, что под этим подразумевается. Однако я полагаю, что соответствующая фраза в толковании предназначена для того, чтобы указать на область моральных суждений, и, вероятно, она должна имплицировать, что в русской культуре, от *друзей* ожидается согласие, когда речь идет о важных вещах, в отношении того, что «хорошо» и что «плохо». Если мы согласимся, что указанный компонент действительно представляет собою необходимую составную часть русского концепта *друг* (*друзья*), то мы можем эксплицировать его в следующем направлении:

когда я думаю, что хорошо, если кто-то нечто делает;
этот человек часто думает то же самое;
когда я думаю, что плохо, если кто-то нечто делает,
этот человек часто думает то же самое.

Принимая во внимание другие свидетельства того, что для русской культуры важны абсолютные моральные суждения, мысль о том, что моральное единство такого рода считается необходимой составной частью русской «дружбы», кажется привлекательной; однако вопрос о том, действительно ли это необходимый компонент значения слова *друг*, я бы предпочла оставить открытым.

Я бы добавила, что духовную близость как составную часть «дружеских» отношений (отношений между *друзьями*) упоминает также Шлапентох, с точки зрения которого отношения между *друзьями* (особенно мужчинами) часто ближе и более открыты, нежели между членами одной семьи и даже между мужем и женою: <...>

...очень часто духовная близость между друзьями больше, чем близость между мужем и женою, а роль друзей в таком межличностном общении, вероятно, больше. Это в особенности относится к мужчинам.

Однако мне кажется, что компоненты «я знаю: я могу сказать этому человеку что угодно» и «из-за этого не случится ничего плохого» (в сочетании с прочими компонентами предложенного мною толкования) в достаточной степени объясняют все аспекты концепта «друг», подразумеваемые этим словом как таковым. <...>

Словарь ассоциативных норм русского языка

(М., 1977)

ДРУГ — товарищ 39, враг 30, верный 29, хороший 16, мой 10, недруг 9, близкий 5, настоящий, старый 4, брат, дорогой, надежный, преданный, приятель 3, закадычный, лучший, любимый, он, собака 2, большой, вечный, в нужде, волк, давний, далекий, девушка, детства, добрый, дорога, друга, единственный, желанный, женщина, любовь, мальчик, милый, Мишка, муж, навсегда, не верится, нет, общий, откровенный, парта, первый, плохой, подлость, подруга, предатель, приходит, противник, сердечный, сестра, синий, собака — друг человека, честный, чудеса 1.

Русский ассоциативный словарь

(Книга 1. М., 1994)

ДРУГ: верный 69, враг 47, детства 33, мой 28, товарищ 27, лучший 20, собака 17, близкий, хороший 16, милый 12, брат, подруга 10, единственный, надежный, настоящий, недруг 9, закадычный 8, детство, человека 5, круг, любимый, приятель, семьи, сердечный, старый, хорошо, человек 4, большой, вдруг, верность, жизни, преданный 3, дорогой, дружба, и враг, любовь, на всю жизнь, навеки, навсегда, нет, по несчастью, рядом, товарищ и брат, ушел 2, бесценный, близкий по духу, близкий человек, будет, вечный, вместе, Вовка и Славка, враки, врач, всегда, выручать, говорит, груша, до гроба, до гробовой доски, добрый, доверяю, дорогой человек, друг, друга, друзей, если не враг, желанный, женщина, животное, защита, зверей, зверь, здорово, и брат, и недруг, измена, или больше, или враг, коричневый, которого уважаю, крепкий, ладонь, липовый, ложный, любезный, любовник, мальчик, мама, машина, надежность, Надя, на всю жизнь, не оставит в беде,

недоверие, незаменимый, нужный, обращение, общий, одноклассник, оказался вдруг, он, отличный, парень, первый, песни Высоцкого, печали, письма, по парте, погиб, познается в беде, покойный, помог, помощь, понимание, портянка, постоянный, прекрасный, прогулка, редкий, редко, родной, рыжий, самый близкий человек, самый дорогой человек, самый лучший, скука, собрат, собутыльник, советчик, спина, счастье, Таня, твой, телефон, тепло, ты мой единственный, уехал, улыбка, умер, умный, хороший человек, хуже врага, ценность, чей, школьный, это друг, Юра 1;

ДРУЖБА: крепкая, народов 17, любовь 6, верная, навеки 5, взрость 4, вечная, долгая, друг, навек, навсегда, наша, понимание, улыбка 2, Freundschaft, вместе, врага, газопровод, две руки — рукопожатие, дружбой, жвачка, колбаса, Лумумбы, людей, между людьми, международная, мир, не служба, ненадолго, песня, побеждает, подруга, радость, редко, с кем-то, служба, сотрудничество, ссора, счастье, сырок, товарищество, хорошее слово, чувство, школа, Щербаченко 1;

ДРУЖИТЬ: любить 8, долго 7, гулять, с человеком 4, с девочкой, с парнем, с собакой, семьями 3, верно, вечно, крепко, с девушкой, с кем-либо, с мальчиком, со всеми, со мной 2, в студии, весело, вместе, вместе пить, водиться, всем, глупость, дерево, детство, до смерти, домами, дорожить, друг, другом дорожить, дружить, дружить и бритвой по горлу, жить, и любить, импотенция, испытание, комната, людям, народами, не с кем, нельзя, подруги, преданно, с верблюдом, с головой, с дятлом, с индейцем, с кем-нибудь, с ним, с ровесником, с соседом, с тобой, сестренка, ссорится, телефон, товарищ, уважать, халява, ходить, хорошо 1;

ДРУЗЬЯ: верные, товарищи 11, мои 9, враги 7, близкие, по несчастью, приятели, хорошие 3, все, детства, компания, люди, неразлучные, отличные 2, беда, братва, верность, весело, веселье, вечные, вино, вместе, возвращаются, двое, до гроба, дорога, единственная (одна из значительных) ценность, закадычные, зима, идут, ласка, лучшее в жизни, много, может быть, мои!, на всю жизнь, навеки, народа, настоящие, не разлей вода, плохие, подруги, поют, прекрасен наш союз, пришли, родной, рюмка, самые близкие люди, собрались, старые, там, уходят как-то незначай, фронтовики, школа 1.

✓ **Задание 2. Раскройте на конкретных примерах (собственных или взятых из литературы) суть таких приемов лингвистического анализа концептов, как:**

- анализ материалов лингвистических словарей;
- анализ лексической сочетаемости ключевого слова;
- анализ материалов ассоциативных словарей;
- анализ паремий и афоризмов, объективирующих концепт;
- анализ художественного текста.

Дополнительная литература

- *Арутюнова Н.Д.* Язык и мир человека. М., 1999.
- *Бабушкин А.П.* Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж, 1996.
- *Болдырев Н.Н.* Когнитивная семантика. Тамбов, 2000.
- *Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
- *Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. М., 1997.
- *Воркачев С.Г.* Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы // *Филологические науки.* 2001. № 1.
- *Воркачев С.Г.* Национально-культурная специфика концепта любви в русской и испанской паремиологии // *Филологические науки.* 1995. № 3.
- *Залевская А.А.* Слово в лексиконе человека. Воронеж, 1990.
- *Касевич В.Б., Кулакова Н.И.* Семантические примитивы: эмпирическая верификация, психологические и логические аспекты // *Язык и речевая деятельность.* 2001. Т. 4, Ч. I. СПб., 2001.
- *Кубрякова Е.С.* Язык и знание. М., 2004.
- *Логический анализ языка. Культурные концепты.* М., 1990.
- *Попова З.Д., Стернин И.А.* Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2002.
- *Телия В.Н.* Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.
- *Фрумкина Р.М.* Концептуальный анализ с точки зрения лингвиста и психолога [концепт, категория, прототип] // *Научно-техническая информация. Серия 2.* 1992. № 3.
- *Чернейко Л.О.* Лингво-философский анализ абстрактного имени. М., 1997.

«МЕТАФОРЫ, КОТОРЫМИ МЫ ЖИВЕМ»: ТЕОРИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ



Вопросы, выносимые на обсуждение

- 1. Метафора как элемент концептуальной картины мира и как принадлежность естественного языка**
 - Какие традиционные представления о метафоре, считавшиеся неоспоримыми, объявляются в рамках когнитивной теории метафоры ложными, не соответствующими реальному положению вещей?
 - Какова, с точки зрения авторов теории, роль метафоры в естественном языке, в мышлении и в деятельности человека?
 - Определите цель исследования метафорических выражений, проводимого авторами теории концептуальной метафоры и их сторонниками. Какими видятся вам перспективы подобного анализа?
 - Каким новым содержанием наполняется термин *метафора*, каковы основные свойства метафоры? Что отличает новое представление о метафоре от риторических, философских и традиционных лингвистических теорий метафоры?
- 2. Метафорический подход в рамках семантических исследований**
 - В чем видят В.Ю. Апресян и Ю.Д. Апресян преимущество метафорического подхода к лексикографическому истолкованию эмоций перед семантическим?
 - Что представляет собой предлагаемая авторами *система концептуализации эмоций в языке*? Каковы законы организации этой системы?
 - Каким модификациям подвергается концептуальная теория метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона в работе представителей Московской семантической школы?



Материал для обсуждения

Дж. Лакофф, М. Джонсон

МЕТАФОРЫ, КОТОРЫМИ МЫ ЖИВЕМ

(Теория языковой метафоры. М., 1990)

1. Мир понятий, окружающий нас

Для большинства людей метафора — это поэтическое и риторическое выразительное средство, принадлежащее скорее к необычному языку, чем к сфере повседневного обыденного общения. Более того, метафора обычно рассматривается исключительно как принадлежность естественного языка — то, что относится к сфере слов, но не к сфере мышления или действия. Именно поэтому большинство людей полагает, что они превосходно могут обойтись в жизни и без метафор. В противоположность этой расхожей точке зрения мы утверждаем, что метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути.

Понятия, управляющие нашим мышлением, вовсе не замыкаются в сфере интеллекта. Они управляют также нашей повседневной деятельностью, включая самые обыденные, земные ее детали. Наши понятия упорядочивают воспринимаемую нами реальность, способы нашего поведения в мире и наши контакты с людьми. Наша понятийная система играет, таким образом, центральную роль в определении повседневной реальности. И если мы правы в своем предположении, что наша понятийная система носит преимущественно метафорический характер, тогда наше мышление, повседневный опыт и поведение в значительной степени обуславливаются метафорой.

Однако понятийная система отнюдь не всегда осознается нами. В повседневной деятельности мы чаще всего думаем и действуем более или менее автоматически, в соответствии с определенными схемами. Что представляют собой эти схемы, для нас совсем не очевидно. Один из способов их выявления состоит в обращении к естественному языку. Поскольку естественно-язы-

ковое общение базируется на той же понятийной системе, которую мы используем в мышлении и деятельности, язык выступает как важный источник данных о том, что эта система понятий собой представляет.

Наш вывод о том, что наша обыденная понятийная система метафорична по своей сути, опирается на лингвистические данные. Благодаря языку, мы получили также доступ к метафорам, структурирующим наше восприятие, наше мышление и наши действия.

Для того чтобы дать читателю наглядное представление о том, что такое метафорическое понятие и как оно упорядочивает повседневную деятельность человека, мы рассмотрим понятие ARGUMENT «СПОР» и понятийную метафору ARGUMENT IS WAR «СПОР — ЭТО ВОЙНА». Эта метафора представлена в многочисленных и разнообразных выражениях обыденного языка:

ARGUMENT IS WAR «СПОР ЕСТЬ ВОЙНА»

Your claims are *indefensible* «Ваши утверждения не выдерживают критики (букв. *незащищаемы*)».

He *attacked every weak points* in my argument «Он *напал на каждое слабое место* в моей аргументации».

His criticisms were *right out target* «Его критические замечания *били точно в цель*».

I *demolished* his argument «Я *разбил* его аргументацию».

I've never won an argument with him «Я никогда не *побеждал* в споре с ним».

You disagree? Okay, *shoot!* «Вы не согласны? Отлично, ваш *выстрел!*»

If you use that *strategy*, he'll *wipe you out* «Если вы будете следовать этой *стратегии*, он вас *уничтожит*». <...>

Крайне важно иметь в виду, что мы не просто говорим о спорах в терминах войны. Мы можем реально побеждать или проигрывать в споре. Лицо, с которым спорим, мы воспринимаем как противника. Мы атакуем его позиции и защищаем собственные. Мы захватываем территорию, продвигаясь вперед, или теряем территорию, отступая. Мы планируем наши действия и используем определенную стратегию. Убедившись в том, что позиция

незащитима, мы можем ее оставить и принять новый план наступления. Многое из того, что мы реально делаем в спорах, частично осмысливается в понятийных терминах войны. В споре нет физического сражения, зато происходит словесная битва, и это отражается в структуре спора: атака, защита, контратака и т.п. Именно в этом смысле метафора СПОР — ЭТО ВОЙНА принадлежит к числу тех метафор, которыми мы «живем» в нашей культуре: она упорядочивает те действия, которые мы совершаем в споре.

Постараемся вообразить другую культуру, в которой споры не трактуются в терминах войны, в споре никто не выигрывает и не проигрывает, никто не говорит о наступлении или защите, о захвате или утрате территорий, пусть в этой воображаемой культуре спор трактуется как танец, партнеры — как исполнители, а цель состоит в гармоничном и красивом исполнении танца. В такой культуре люди будут рассматривать споры иначе, вести их иначе и говорить о них иначе. Мы же, по-видимому, соответствующие действия представителей этой культуры вообще не будем считать спорами: на наш взгляд, они будут делать нечто совсем другое. Нам покажется даже странным называть их «танцевальные» движения спором. Возможно, наиболее беспристрастно описать различие между данной воображаемой и нашей культурами можно так: в нашей культуре некая форма речевого общения трактуется в терминах сражения, а в той другой культуре — в терминах танца.

Разобранный пример показывает, каким образом метафорическое понятие, а именно метафора СПОР — ЭТО ВОЙНА, упорядочивает (по крайней мере частично) наши действия и способствует их осмыслению в ходе спора. *Сущность метафоры состоит в осмыслении и переживании явлений одного рода в терминах явлений другого рода.* Дело вовсе не в том, что спор есть разновидность войны. Споры и войны представляют собой явление разного порядка — словесный обмен репликами и вооруженный конфликт, и в каждом случае выполняются действия разного порядка. Дело в том, что СПОР частично упорядочивается, понимается, осуществляется как война, и о нем говорят в терминах войны. Тем самым понятие упорядочивается метафорически, соответствующая деятельность упорядочивается метафорически, и, следовательно, язык также упорядочивается метафорически.

Более того, речь идет об обыденном способе ведения спора и его выражения в языке. Для нас совершенно нормально обозначать критику в споре как атаку: *attack a position* «атаковать позицию». В основе того, что и как мы говорим о спорах, лежит метафора, которую мы едва ли осознаем. Эта метафора проявляется не только в том, как мы говорим о споре, но и в том, как мы его понимаем. Язык спора не является ни поэтическим, ни фантастическим, ни риторическим: это язык буквальных смыслов. Мы говорим о спорах так, а не иначе потому, что именно таково наше понятие спора, и мы действуем в соответствии с нашим осмыслением соответствующих явлений.

Наиболее важный вывод из всего сказанного выше состоит в том, что метафора не ограничивается одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны. Именно это имеем мы в виду, когда говорим, что понятийная система человека упорядочивается и определяется метафорически. Метафоры как языковые выражения становятся возможны именно потому, что существуют метафоры в понятийной системе человека. Таким образом, всякий раз, когда мы говорим о метафорах типа СПОР — ЭТО ВОЙНА, соответствующие метафоры следует понимать как метафорические понятия (концепты).

II. Системность метафорических понятий

Споры ведутся по определенным моделям. Это означает, что мы делаем одни ходы и не делаем другие. Тот факт, что мы осмысливаем споры частично в терминах сражения, системно обуславливает и саму форму спора, и способ обозначения наших ходов. Поскольку метафорическое понятие системно, системен и язык, используемый для его раскрытия.

На примере метафоры СПОР — ЭТО ВОЙНА мы видели, что выражения, взятые из лексикона войны, например *attack a position* «атаковать позицию», *indefensible* «неспособный к обороне», *strategy* «стратегия», *new line of attack* «новый план наступления», *win* «побеждать», *gain ground* «захватывать территорию» и т.п., образуют системный способ выражения «военных» аспектов спора. Отнюдь не случайно, что эти выражения сохраняют свое обыч-

ное значение, когда мы пользуемся ими, говоря о спорах. Некоторый фрагмент понятийной сети сражения частично характеризует понятие спора, и язык следует этому образцу. Поскольку метафорические выражения нашего языка системно связаны с метафорическими понятиями, мы можем обратиться к первым в целях исследования природы метафорических понятий и уяснения метафорической природы наших действий.

Для демонстрации того, как метафорические выражения повседневного языка могут прояснять метафорическую природу понятий, упорядочивающих наши повседневные действия, рассмотрим метафорическое понятие TIME IS MONEY «ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ» так, как оно отражается в современном английском языке.

TIME IS MONEY «ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ»

You are *wasting* my time «Вы отнимаете (букв. *растрчиваете* мое) у меня время».

This *gadget* will *save* you hours «Это приспособление *экономит* вам много времени».

I don't *have* the time to *give* you букв.: «Я не *имею* времени, чтобы *дать* вам».

How do you *spend* your time these days? «Как вы проводите (букв. *тратите*) ваше время в эти дни?»

That flat tire *cost* me an your «Эта спустившая шина *стоила* мне часа работы». <...>

В нашей культурной среде время особенно ценится. Его ресурсы для нас ограничены. Поскольку в современной западной культуре понятие труда обычно связывается со временем, затрачиваемым на его выполнение, а время подлежит точному количественному измерению, труд людей обычно оплачивается согласно затраченному времени — по часам, неделям или годам. В нашей культуре метафора ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ проявляется весьма многообразно: повременная оплата телефонных разговоров, почасовая оплата труда, тарифы за пользование гостиницей, годовые бюджеты, проценты по займам, выполнение общественных обязанностей, связанное с «выделением» для них определенного времени. В истории человечества эти общественные уста-

новления относительно новы и существуют далеко не во всех культурах. Возникшие в современных индустриальных обществах, они глубоко пронизывают нашу повседневную деятельность. Мы *относимся* ко времени как к очень ценной вещи — как к ограниченным ресурсам и даже как к деньгам — и соответствующим образом *осмысливаем* его. Тем самым мы понимаем и переживаем время как нечто такое, что может быть истрачено, израсходовано, рассчитано, вложено разумно или безрассудно, сэкономлено или потрачено напрасно.

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, ВРЕМЯ — ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС, ВРЕМЯ — ЦЕННАЯ ВЕЩЬ — все это метафорические понятия. Метафорические потому, что наш повседневный опыт обращения с деньгами, ограниченными ресурсами и ценными вещами мы используем для осмысления понятия времени. Это отнюдь не обязательный для всех людей способ осмысления времени, но с нашей культурой он тесно связан. Существуют культуры, где время осмысливается в других категориях.

Метафорические понятия **ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ, ВРЕМЯ — ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС, ВРЕМЯ — ЦЕННАЯ ВЕЩЬ** образуют единую систему, основанную на категориальном вложении понятий, поскольку в нашем обществе деньги входят в понятие ограниченных ресурсов, а ограниченные ресурсы — в понятие ценных вещей. Эти отношения характеризуют и импликации метафор: **ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ** имплицирует метафору **ВРЕМЯ — ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС**, а **ВРЕМЯ — ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС** имплицирует метафору **ВРЕМЯ — ЦЕННАЯ ВЕЩЬ**.

Мы принимаем практику использования наиболее специфического (узкого) метафорического понятия, в данном случае — понятия **ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ**, для характеристики всей системы понятий. Из тех выражений, которые приведены выше для иллюстрации метафоры **ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ**, одни относятся собственно к деньгам (*spend, invest, budget, profitably, cost*), другие — к ограниченным ресурсам (*use, use up, have enough of, run out of*), а третьи — к ценным вещам (*have, give, lose, thank you for*). Здесь мы имеем пример того, как импликации метафор характеризуют связную систему метафорических понятий и соответствующую им связную систему метафорических выражений.

III. Метафорическая системность: освещение и затемнение

Системность, благодаря которой мы можем осмысливать некоторые аспекты одного понятия в терминах другого понятия (например, спора в терминах сражения), по необходимости затемняет другие аспекты данного понятия. Позволяя нам сосредоточиться на одном аспекте понятия (например, на «военном» аспекте спора), метафорическое понятие может мешать сосредоточиться на других аспектах этого понятия, несовместимых с соответствующей метафорой. Например, в пылу бурного спора, когда мы стремимся разбить нашего противника и защитить наши собственные позиции, мы можем упустить из виду, что в споре есть и сотрудничество. Можно считать, что ваш противник в споре затрачивает свое время, то есть ценную вещь, стремясь достичь взаимопонимания. Когда же мы поглощены исключительно «военным» аспектом спора, мы часто упускаем из виду аспекты сотрудничества.

Гораздо более тонкий пример того, как метафорическое понятие может затемнять тот или иной аспект нашего опыта, можно усмотреть в явлении, которое М. Редди назвал «*conduit metaphor*» — «метафора передачи» («метафора канала связи»). Редди указывает, что тот язык, который мы используем, когда мы говорим о самом языке, структурно упорядочивается в соответствии со следующей составной метафорой:

ИДЕИ (ИЛИ ЗНАЧЕНИЯ) СУТЬ ОБЪЕКТЫ.

ЯЗЫКОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ СУТЬ ВМЕСТИЛИЩА.

КОММУНИКАЦИЯ ЕСТЬ ПЕРЕДАЧА (ОТПРАВЛЕНИЕ).

Говорящий помещает идеи (объекты) в слова (вместилища) и отправляет их (через канал связи — *conduit*) слушающему, который извлекает идеи / объекты из слов / вместеилищ. Редди демонстрирует эту метафору на примерах многочисленных типов выражений английского языка (более сотни типов), что покрывает, по его оценке, по меньшей мере 70% общей совокупности выражений, используемых нами, когда мы говорим о языке. Приведем примеры:

МЕТАФОРА КАНАЛА СВЯЗИ

It's hard to *get* an idea across to him «Ему трудно *втолковать* (любую) мысль».

I gave you that idea «Я *подал* вам эту мысль».

Your reasons *came through* to us букв.: «Ваши доводы *дошли до нас*».

It's difficult to *put* my ideas *into* words «Мне трудно облечь мои мысли *в слова*». <...>

The meaning is right there *in* the words «Смысл *заключен* как раз *в* этих словах». <...>

Your words seem *hollow* «Ваши слова кажутся *пустыми*».

The sentence is *without* meaning «Эта фраза *без смысла*». <...>

Читая подобные примеры, непросто увидеть в них метафорический смысл, даже заметить в них метафору. Такое осмысление языка настолько вошло в привычку, что подчас трудно себе представить, что оно может не соответствовать действительности. Однако если мы обратим внимание на следствия, вытекающие из метафоры КАНАЛА СВЯЗИ, то увидим, что она маскирует некоторые аспекты коммуникативного процесса.

Прежде всего, из второго компонента метафоры КАНАЛА СВЯЗИ — ЯЗЫКОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ СУТЬ ВМЕСТИЛИЩА ДЛЯ ЗНАЧЕНИЙ — вытекает, что слова и фразы обладают значением сами по себе — вне зависимости от контекста или от говорящего. Из первого положения этой метафоры — ЗНАЧЕНИЯ СУТЬ ОБЪЕКТЫ — вытекает, в частности, что значения существуют независимо от людей и от контекстов употребления. По существу, аналогичное следствие вытекает и из второго положения — ЯЗЫКОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ СУТЬ ВМЕСТИЛИЩА ДЛЯ ЗНАЧЕНИЙ. Эти метафоры оказываются приемлемыми для многих речевых ситуаций, а именно для тех, в которых контекстуальные различия не играют никакой роли и все участники речевого акта понимают фразы одинаково. Упомянутые два следствия нашей метафоры иллюстрируются фразами типа *The meaning is right there in the words* // «Смысл *заключен* как раз *в* этих словах»; в соответствии с метафорой КАНАЛА СВЯЗИ, это может быть сказано относительно любой фразы. Однако во многих случаях весьма существенную роль играет контекст речевого акта. Вот известный пример: *Please sit in the apple-juice seat* букв.: «Садитесь, пожалуйста, на место яблочного сока». Взятая изолированно, эта

фраза вообще лишена содержания, поскольку выражение *apple-juice seat* не является нормальным способом обозначения какого-либо объекта.

Однако эта фраза приобретает полноценный смысл в том контексте, в котором она была произнесена. Гость, оставшийся на ночлег, утром спустился к завтраку. Накануне вечером стол был накрыт на четыре персоны: против трех мест стоял апельсиновый сок, а против одного — яблочный. Тогда было очевидно, к чему следует отнести выражение *apple-juice seat* «место, против которого стоит яблочный сок». И на следующее утро, когда уже не было на столе яблочного сока, было по-прежнему ясно, которое из мест за столом может быть обозначено как *apple-juice seat*.

Кроме тех фраз, которые не имеют смысла вне контекста речевого акта, представляют интерес случаи, когда одна и та же фраза означает разное для разных людей. Рассмотрим пример: *We need new alternative sources of energy* «Мы нуждаемся в новых альтернативных (запасных) источниках энергии».

Эта фраза означает разное для президента нефтяной компании и для президента общества друзей земного шара. Смысл этой фразы заключен не только в ней самой: здесь для его уяснения существенно и то, кто говорит или кто слушает, и то, каковы социальные или политические статусы участников речевого акта. Метафора КАНАЛА СВЯЗИ не охватывает те случаи, в которых необходимо привлечение контекста для выяснения того, имеет ли фраза смысл вообще, и если имеет, то каков этот смысл.

Приведенные примеры показывают, что рассмотренные метафорические понятия дают лишь частичное осмысление того, какова суть коммуникации, что такое спор, что такое время; при этом они затемняют (маскируют) некоторые аспекты этих понятий. Важно учитывать, что метафорическое упорядочивание реальности носит в этих случаях не всеобъемлющий, а лишь частичный характер. Если бы оно было всеобъемлющим, одно понятие было бы тождественно другому понятию, а не просто осмысливалось бы в его терминах. Например, время реально не тождественно деньгам. Если вы *затрачиваете ваше время* <...>, стремясь к достижению некоторой цели, но не достигаете этой цели, вы не можете вернуть ваше время назад. В реальном мире

банков времени нет. Я могу *уделить вам много своего времени* <...>, но вы не можете вернуть мне назад то же самое время, хотя можете *вернуть мне то же самое количество времени* <...>. И так далее. Таким образом, метафорическое понятие не отражает и не может отражать все без исключения аспекты исходного понятия.

Однако метафорические понятия могут выйти за пределы обычного буквального способа мышления в область, называемую фигуральным, поэтическим, красочным или причудливым мышлением и языком. Так, если мысли суть объекты, то мы можем *облачать их в причудливые одежды* <...>, *жонглировать ими* (*juggle them*), *выстраивать их стройно и красиво в шеренгу* (*line them up nice and neat*) и т.п. Поэтому мы, говоря, что некоторое понятие упорядочивается метафорой, имеем в виду, что оно частично упорядочивается и может получить расширительное употребление не произвольным, но вполне определенным способом.

IV. Ориентационные метафоры

До сих пор мы рассматривали явления, которые можно назвать **структурными метафорами**, то есть те случаи, когда одно понятие структурно метафорически упорядочивается в терминах другого. Существует и другой тип метафорического понятия, когда нет структурного упорядочивания одного понятия и терминах другого, но есть организация целой системы, понятий по образцу некоторой другой системы. Такие случаи мы назовем **ориентационными метафорами**, так как большинство подобных понятий связано с пространственной ориентацией; с противопоставлениями типа «верх — низ», «внутри — снаружи», «передняя сторона — задняя сторона», «глубокий — мелкий», «центральный — периферийный». Подобные ориентационные противопоставления проистекают из того, что наше тело обладает определенными свойствами и функционирует определенным образом в окружающем нас физическом мире. Ориентационные метафоры придают понятию пространственную ориентацию; например, HAPPY IS UP «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ ВЕРХ». Тот факт, что понятие СЧАСТЬЕ (УДАЧА, УСПЕХ) ориентировано на ВЕРХ (the concept, HAPPY is oriented UP), демонстрируется такими английскими выражениями, как *I'm feeling up today* «Я чувствую себя сегодня превосходно (на подъеме)».

Подобные метафорические ориентации отнюдь не произвольны — они опираются на наш физический и культурный опыт. Хотя полярные оппозиции «верх — низ», «внутри — снаружи» и т.п. имеют физическую природу, основанные на них ориентационные метафоры могут варьировать от культуры к культуре. Например, в одних культурах будущее находится впереди нас, а в других — позади нас. Иллюстрируя наши положения, мы будем рассматривать пространственные метафоры типа «верх — низ», которые были тщательно изучены Уильямом Надем. В каждом случае мы будем хотя бы бегло отсылать к нашему физическому или культурному опыту. Эти отсылки весьма правдоподобны, но отнюдь не безусловны.

HAPPY IS UP; SAD IS DOWN «СЧАСТЬЕ — ВЕРХ; ГРУСТЬ — НИЗ»

I'm feeling *up* «Я в приподнятом настроении». That *boosted* my spirits «Это подняло мое настроение». My spirits *rose* «У меня поднялось настроение». You're in *high* spirits «Вы в хорошем (букв.: высоком) настроении». Thinking about her always gives me a lift «Мысли о ней всегда воодушевляют (букв.: приподнимают) меня». I'm feeling *down* «Я пал духом (букв.: чувствую себя внизу)». I'm *depressed* «Я подавлен (букв.: опущен)». <...>

Физическая основа. Грусть и уныние гнетут человека, и он опускает голову, а положительные эмоции распрямляют его и заставляют поднять голову.

CONSCIOUS IS UP, UNCONSCIOUS IS DOWN «СОЗНАНИЕ ОРИЕНТИРУЕТ ВВЕРХ; БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ — ВНИЗ»

Get *up* «Вставайте». Wake *up* «Проснитесь». I'm *up* already «Я уже проснулся». He rises early in the morning «Он *встает* рано утром». He *fell* asleep «Он заснул (букв.: упал в сон)». <...>

Физическая основа. Человек и большинство млекопитающих спят лежа, а просыпаясь, встают.

HEALTH AND LIFE ARE UP; SICKNESS AND DEATH ARE
DOWN

«ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ОРИЕНТИРУЮТ ВВЕРХ; БОЛЕЗНЬ
И СМЕРТЬ — ВНИЗ»

He's at the *peak* of health «У него прекрасное здоровье» (букв.: «Он на *вершине* здоровья»). Lazarus *rose* from the dead «Лазарь *восстал* из мертвых». He is in *top* shape «Он в *наивысшей* спортивной форме». <...> He *fell* ill «Он заболел (букв.: *упал* больной)». He is *sinking* fast «Он умирает (букв.: *опускается* быстро)». He came *down* with the flu «Он схватил простуду (букв.: пришел *вниз* с простудой)». His health is *declining* «Его здоровье ухудшается (букв.: *наклоняется*)». <...>

Физическая основа. Серьезная болезнь вынуждает человека лежать. Мертвый падает вниз. <...>

RATIONAL IS UP; EMOTIONAL IS DOWN
«РАЦИОНАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНО ВВЕРХ;
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ — ВНИЗ»

The discussion *fell to the emotional* level but I *raised it* back up to the *rational* plane «Дебаты приняли эмоциональный характер (букв.: упали до эмоционального уровня), но я ввел их снова в рациональную колею (букв.: поднял их снова на рациональную плоскость)». <...> He couldn't *rise above* his emotions «Он не смог стать выше своих эмоций».

Физическая и культурная основа. В нашей культуре люди считают, что они способны к контролю над животными, растениями и окружающей средой, именно эта уникальная способность ставит человека над животными и обеспечивает власть над ними. Метафора ВЛАСТЬ — ВЕРХ, таким образом, составляет основу для метафоры ЧЕЛОВЕК — ВЕРХ и, следовательно, для метафоры РАЦИОНАЛЬНОЕ — ВЕРХ.

Выводы. Разобранные примеры приводят нас к следующим выводам относительно эмпирических оснований, связности и системности метафорических понятий:

- Большинство наших фундаментальных понятий организуется в терминах одной или нескольких ориентационных метафор.
- Каждая пространственная метафора обладает внутренней системностью. Например, метафора HAPPY IS UP «СЧАСТЬЕ —

ВЕРХ» определяет некоторую связную систему, а вовсе не ряд разрозненных и случайных метафор. (Пример распада системы мы имели бы в том случае, если бы, скажем, фраза *I'm feeling up* значила «Я чувствую себя счастливым», а фраза *My spirits rose* — «Я становлюсь печальнее».)

- Разнообразные ориентационные метафоры объемлет общая система, согласующая их между собой. Так, метафора ХОРОШЕЕ — ВЕРХ задает ориентацию ВЕРХ для общего состояния благополучия, и эта ориентация согласована с частными случаями типа СЧАСТЬЕ — ВЕРХ, ЗДОРОВЬЕ — ВЕРХ, ЖИВОЕ — ВЕРХ, КОНТРОЛЬ — ВЕРХ. Метафора СТАТУС — ВЕРХ согласована с метафорой КОНТРОЛЬ — ВЕРХ.
- Ориентационные метафоры коренятся в физическом и культурном опыте; они применяются отнюдь не случайно. Метафора может служить средством осмысления того или иного понятия только благодаря ее эмпирическому основанию. (Некоторые сложности, связанные с эмпирическим основанием метафоры, обсуждаются в следующем разделе.)
- В основе метафоры могут лежать разные физические и социальные явления. Как представляется, согласованность внутри общей системы отчасти объясняет выбор одного из них. Например, состояние счастья в физической сфере, как правило, коррелирует с улыбкой и общим состоянием экспансивности (открытости). В принципе это могло бы служить основанием для метафоры HAPPY IS WIDE; SAD IS NARROW «СЧАСТЬЕ — ШИРОКОЕ; ГРУСТЬ — УЗКОЕ». И действительно, встречаются отдельные выражения, отвечающие этой метафоре, — например, *I'm feeling expansive* приблиз.: «Я чувствую, что радость бьет через край; Я не могу сдерживать радости»; подобные выражения выделяют другой аспект состояния счастья, нежели выражения типа *I'm feeling up*. Однако в нашей культуре главной для соответствующего состояния является ассоциация счастья с верхом; можно привести обоснование того, почему мы говорим о «вершине счастья», а не о «ширине счастья». Метафора СЧАСТЬЕ — ВЕРХ максимально согласована с метафорами ХОРОШЕЕ — ВЕРХ, ЗДОРОВЬЕ — ВЕРХ и т.п.

- В некоторых случаях ориентация в пространстве составляет столь существенную часть понятия, что нам трудно вообразить какую-либо другую метафору, которая могла бы упорядочить данное понятие. В нашем обществе таким понятием является «высокий статус». Другие случаи, типа «счастье», носят менее определенный характер. Независимо ли понятие счастья от метафоры СЧАСТЬЕ — ВЕРХ или же вертикальная пространственная ориентация составляет неотъемлемую часть данного понятия? Мы полагаем, что в рамках данной концептуальной системы она составляет его часть. Метафора СЧАСТЬЕ — ВЕРХ помещает счастье внутри согласованной метафорической системы, и часть содержания этого понятия вытекает из его роли в этой системе.
- Так называемые сугубо интеллектуальные понятия, например, понятия в научной теории, часто — а возможно, и всегда — основаны на метафорах, имеющих физическое и/или культурное основание. Прилагательное high в выражении high-energy particles «частицы высоких энергий» основано на метафоре MORE IS UP «БОЛЬШЕ — ВЕРХ». High в выражении high-level functions «функции высокого уровня», используемом в физиологической психологии, основано на метафоре RATIONAL IS UP «РАЦИОНАЛЬНОЕ — ВЕРХ». Слово low в low-level phonology «фонология низкого уровня» (та фонология, которая ведает детальными фонетическими аспектами звуковых систем в естественных языках) основано на метафоре MUNDANE REALITY IS LOW «МИРСКАЯ (ПРИЗЕМЛЕННАЯ) РЕАЛЬНОСТЬ — НИЗ» (ср. выражение down-to-earth «направленный вниз к земле, приземленный»). Интуитивная привлекательность научной теории связана с тем, насколько хорошо ее метафоры отражают наш опыт.
- Наш физический и культурный опыт дает множество оснований для ориентационных метафор. Выбор тех или иных метафор и выделение среди них главных могут варьировать от культуры к культуре.
- Задача разграничения физического и культурного оснований метафоры весьма сложна, поскольку выбор одного конкретного физического основания среди множества возможных должен согласовываться с общим культурным фоном.

Эмпирические основания метафор. Об эмпирических основаниях метафор нам известно немного. Из-за недостатка знаний в этой области мы описывали каждую метафору отдельно от других и лишь затем привели некоторые спекулятивные соображения по поводу возможных эмпирических оснований метафор. Мы избрали такой порядок изложения исключительно вследствие недостатка наших знаний, но отнюдь не из принципа. В действительности же мы полагаем, что ни одна метафора не может восприниматься и даже не может быть адекватно представлена независимо от ее эмпирических оснований. Например, эмпирическое основание метафоры БОЛЬШЕ — ВЕРХ весьма существенно отличается от эмпирического основания метафор СЧАСТЬЕ — ВЕРХ или РАЦИОНАЛЬНОЕ — ВЕРХ. Хотя во всех этих метафорах фигурирует одно и то же понятие ВЕРХ, области опыта, на которых основаны эти метафоры, существенно различны. Дело вовсе не в том, что имеется много разных понятий ВЕРХ; правильнее сказать, что вертикальность входит в наш опыт многими разными способами и тем самым порождает много различных метафор.

Неотделимость метафор от их эмпирических оснований можно было бы акцентировать посредством включения эмпирических оснований в сами представления метафор. <...>

Роль эмпирического основания важна и при понимании функционирования тех метафор, которые не согласуются друг с другом вследствие того, что они основаны на разных типах опыта. Возьмем, например, метафору НЕИЗВЕСТНОЕ — ВЕРХ; ИЗВЕСТНОЕ — НИЗ и рассмотрим примеры *That's up in the air* «Это носится в воздухе» и *The matter is settled* «Дело улажено». Эта метафора имеет в качестве эмпирического основания нечто вроде UNDERSTANDING IS GRASPING «ПОНИМАНИЕ ЕСТЬ СХВАТЫВАНИЕ (УЛАВЛИВАНИЕ)», как в примере *I couldn't grasp his explanation* «Я не мог схватить суть его объяснения». В сфере физических объектов, если вы можете схватить что-либо и удержать в руках, то вы можете тщательно рассмотреть этот предмет и достаточно хорошо освоить его. Схватывать руками и тщательно рассматривать легче те предметы, которые находятся на земле в фиксированном положении, чем те, которые плавают

в воздухе (подобно листьям или клочкам бумаги). Тем самым метафора НЕИЗВЕСТНОЕ — ВЕРХ; ИЗВЕСТНОЕ — НИЗ согласуется с эмпирическим основанием ПОНИМАНИЕ ЕСТЬ СХВАТЫВАНИЕ.

Однако НЕИЗВЕСТНОЕ — ВЕРХ не согласуется с такими метафорами, как ХОРОШЕЕ — ВЕРХ и ЗАКОНЧЕННОЕ — ВЕРХ <...>. Естественно ожидать, что ЗАКОНЧЕННОЕ сочетается с ИЗВЕСТНЫМ, а НЕЗАКОНЧЕННОЕ сочетается с НЕИЗВЕСТНЫМ. Однако в свете вертикально ориентированных метафор данные соотношения не выполняются. Объяснение этому состоит в том, что метафоры НЕИЗВЕСТНОЕ — ВЕРХ и ЗАКОНЧЕННОЕ — ВЕРХ имеют разные эмпирические основания.

V. Метафора и культурный фон

Наиболее фундаментальные культурные ценности согласованы с метафорической структурой основных понятий данной культуры. В качестве примера рассмотрим некоторые ценностные суждения, принятые в нашем обществе, которые — в отличие от противоположных им утверждений — согласованы с пространственными метафорами типа ВЕРХ — НИЗ.

«Больше (по количеству) — лучше» согласовано с БОЛЬШЕ — ВЕРХ и ХОРОШЕЕ — ВЕРХ.

«Меньше (по количеству) — лучше» не согласовано с этими метафорами.

«Большее (по размеру) — лучше» согласовано с БОЛЬШЕ — ВЕРХ и ХОРОШЕЕ — ВЕРХ.

«Меньшее (по размеру) — лучше» не согласовано с этими метафорами.

«Будущее будет лучше» согласовано с БУДУЩЕЕ — ВЕРХ и ХОРОШЕЕ — ВЕРХ.

«Будущее будет хуже» не согласовано с этими метафорами.

«В будущем будет больше» (There will be more in the future)» согласовано с БОЛЬШЕ — ВЕРХ и БУДУЩЕЕ — ВЕРХ.

«Ваш статус должен повыситься в будущем» согласовано с ВЫСОКИЙ СТАТУС — ВЕРХ и БУДУЩЕЕ — ВЕРХ.

Все эти ценности глубоко укоренились в нашей культуре. «Будущее будет лучше» — утверждение прогресса. Для утверждения

«В будущем будет больше» в качестве особых случаев можно указать накопление товаров потребления и повышение заработной платы. «Ваш статус должен повыситься в будущем» — утверждение карьеризма (продвижения по служебной лестнице). Эти утверждения согласуются с нашими пространственными метафорами, а противоположные им утверждения с ними не согласуются. Поэтому можно предположить, что наши культурные ценности существуют не изолированно друг от друга, а должны образовывать согласованную систему вместе с метафорическими понятиями, в мире которых протекает наша жизнь. Мы не утверждаем, что все культурные ценности, согласованные с метафорической системой, реально существуют; мы утверждаем лишь то, что те ценности, которые реально существуют и глубоко укоренились в культуре, согласуются с метафорической системой.

Перечисленные выше ценности имеют силу для нашей культуры в общем смысле — при прочих равных условиях. Однако, поскольку условия меняются, нередко возникают конфликты между этими ценностями и, следовательно, конфликты между метафорами, которые ассоциируются с ними. Для объяснения подобных конфликтов между ценностями (и им соответствующими метафорами) мы должны обнаружить различные индексы приоритетов, присваиваемых этим ценностям и метафорам той субкультурой, которая их использует. Например, метафора БОЛЬШЕ — ВЕРХ, как представляется, всегда имеет наивысший приоритет, поскольку ей отвечает наиболее очевидное физическое основание. Превосходство приоритета метафоры БОЛЬШЕ — ВЕРХ над приоритетом ХОРОШЕЕ — ВЕРХ можно видеть на примерах типа *Inflation is rising* «Инфляция повышается» и *The crime rate is going up* «Преступность растет». Инфляцию и преступность естественно оценивать как отрицательные явления; при этом данные фразы обладают присущим им смыслом вследствие того, что метафора БОЛЬШЕ — ВЕРХ всегда имеет максимальный приоритет.

В общем случае индекс приоритетов ценностей определяется частично субкультурой, в которой живет индивид, а частично его личными оценками и пристрастиями. Различные субкультуры в составе некоторой магистральной культуры обладают базисны-

ми ценностями, но присваивают им разные индексы приоритетов. Например, БОЛЬШЕЕ — ЛУЧШЕ может вступить в конфликт с утверждением В БУДУЩЕМ БУДЕТ БОЛЬШЕ, когда встанет вопрос о том, покупать ли большой автомобиль в данное время с последующей выплатой крупной денежной суммы, которая поглотит будущее жалование, или довольствоваться покупкой автомобиля меньшего размера, но более дешевого. В США есть субкультуры, в рамках которых покупка большого автомобиля не является основанием для беспокойства о будущем, а есть и другие субкультуры, в рамках которых будущее выступает на первый план при покупке даже небольшого автомобиля. Было время (до инфляции и энергетического кризиса), когда владение небольшой машиной имело высокий статус в субкультуре, где принципы ДОБРОДЕТЕЛЬ — ВЕРХ и ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ ДОБРОДЕТЕЛЬНА имели приоритет над БОЛЬШЕЕ — ЛУЧШЕ. В наши дни число владельцев небольших машин резко увеличилось, так как имеется большая субкультура, в которой принцип ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ — ХОРОШО превалирует над принципом БОЛЬШЕ — ЛУЧШЕ.

Кроме субкультур, существуют также социальные группы, определяющее свойство которых состоит в том, что их члены разделяют некоторые важные ценностные принципы, противоречащие ценностям магистральной культуры. Другие же ценности магистральной культуры членами таких групп сохраняются подспудно. Нечто подобное можно наблюдать в монашеских орденах, например, в ордена траппистов. В нем ценности МЕНЬШЕ — ЛУЧШЕ и МЕНЬШЕЕ — ЛУЧШЕ справедливы по отношению к материальной собственности, рассматриваемой монахами как препятствие к искреннему исполнению самого важного в жизни — долга перед Богом. Трапписты разделяют ценностный принцип магистральной культуры ДОБРОДЕТЕЛЬ — ВЕРХ, придавая ей наивысший приоритет. Принцип БОЛЬШЕ — ЛУЧШЕ для них также остается в силе, но применяется не к материальным благам, а к добродетели; так же обстоит дело с ценностным принципом СТАТУС — ВЕРХ, но он относится не к земному, а к высшему миру — к Царству Божию. Далее, ценностный принцип БУДУЩЕЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ справедлив относительно духов-

ного роста (ВЕРХ) и в конечном счете спасения духа (подлинно ВЕРХ). Подобная ситуация типична для социальных групп, находящихся вне магистральной культуры. Добродетель, благо, доброта и статус могут быть коренным образом переосмыслены, оставаясь при этом в положении ВЕРХА. В таких социальных группах по-прежнему лучше располагать большим количеством того, что в них считается важным, по-прежнему БУДУЩЕЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ относительно того, что важно, и т.д. Принимая во внимание аспекты, важные для религиозной группы, можно сказать, что ее система ценностей обладает как внутренней согласованностью, так и согласованностью с главными ориентационными метафорами магистральной культуры.

Отдельные люди, как и социальные группы, отличаются своими системами приоритетов и теми способами, которыми они осмысливают то, что для них хорошо или добродетельно. В этом смысле каждое лицо представляет собой подгруппу из одного члена. Его индивидуальная система ценностей, хотя и с некоторыми поправками, согласована с главными ориентационными метафорами магистральной культуры.

Отнюдь не все культуры располагают приоритеты на ориентационной шкале «верх — низ», как это делаем мы. Есть культуры, в которых понятия равновесия или расположенности относительно центра играют гораздо более существенную роль, чем у нас. Или возьмем непространственную ориентацию АКТИВНОЕ — ПАССИВНОЕ. Для нас в большинстве случаев АКТИВНОЕ — ВЕРХ и ПАССИВНОЕ — НИЗ; однако в некоторых культурах пассивность оценивается выше активности. Вообще говоря, главные ориентационные шкалы «верх — низ», «внутри — вне», «центральное — периферийное», «активное — пассивное» и т.п. представляются общими для всех культур, однако виды ориентации, принятые для конкретных понятий, и роль ориентационных принципов, с точки зрения их важности, варьируют от культуры к культуре.

VI. Онтологические метафоры

Метафоры сущности и субстанции. Пространственные ориентационные шкалы типа «верх — низ», «перед — зад», «нахожде-

ние на чем-л. / около чего-л. — удаление» (on — off), «центр — периферия» и «близкое — далекое» составляют богатую основу для осмысления понятий в ориентационных терминах. Это, конечно, немало, но не следует преувеличивать сферу распространения ориентационных принципов. Наш опыт восприятия физических объектов и вещества составляет другую основу для осмысления понятий, выходящую за пределы простой ориентации. Осмысление нашего опыта в терминах объектов и веществ позволяет нам вычленять некоторые части нашего опыта и трактовать их как дискретные сущности или вещества некоторого единого типа. Коль скоро мы можем представить данные нашего опыта в виде предметов или веществ, мы можем ссылаться на них, объединять их в категории, классифицировать их и определять их количество, тем самым мы можем рассуждать о них.

Если объекты недискретны или не обладают четкими контурами, например, горы, перекрестки, живые изгороди и т.п., мы все же зачисляем их в соответствующие категории. Подобный способ трактовки явлений физического мира необходим для удовлетворения определенных целей — установления местоположения гор, назначения встреч на перекрестках улиц, подстригания живых изгородей. Такие чисто человеческие цели обычно требуют от нас наложения искусственных границ на физические явления для придания им дискретности, каковой обладаем мы сами как физические объекты, ограниченные некоторой поверхностью.

Подобно тому как данные человеческого опыта по пространственной ориентации порождают ориентационные метафоры, данные нашего опыта, связанные с физическими объектами (в особенности с нашим собственным телом), составляют основу для колоссального разнообразия онтологических метафор, то есть способов трактовки событий, действий, эмоций, идей и т.п. как предметов и веществ.

Онтологические метафоры обслуживают разнообразные цели; типы этих целей отражаются посредством разнообразных типов метафор. Возьмем, например, такое явление, как повышение цен, которое может быть метафорически осмыслено как некая самодовлеющая сущность (entity), предмет и обозначено существи-

тельным inflation «инфляция». Это дает нам возможность говорить о данном явлении нашего опыта:

ИНФЛЯЦИЯ ЕСТЬ СУЩНОСТЬ

Inflation is lowering our standard of living «Инфляция понижает наш жизненный уровень». If there's much *more inflation*, we'll never survive «Если инфляция будет расти (букв.: если будет *больше инфляции*), мы не выдержим». We need to *combat inflation* «Нам нужно бороться с инфляцией». *Inflation is backing us into a corner* «Инфляция загоняет нас в угол». <...>

Во всех этих случаях взгляд на инфляцию как на самодовлеющую сущность позволяет нам рассуждать о ней, характеризовать ее количественно, выделять тот или иной ее аспект, рассматривать ее как причину событий, учитывать инфляцию в наших действиях и даже воображать, что мы понимаем ее природу. Подобного рода онтологические метафоры необходимы для рационального обращения с данными нашего опыта.

Диапазон онтологических метафор, используемых нами для этих целей, поистине огромен. <...>

Как и в случае ориентационных метафор, носители языка даже не замечают метафоричности большинства приведенных выше выражений. Это отчасти объясняется тем, что онтологические метафоры, подобно ориентационным, имеют крайне узкий диапазон использования — способ обозначения явления, его количественную характеристику и т.п. Одного лишь взгляда на нефизический объект как на сущность или субстанцию недостаточно для того, чтобы получить полное представление о его природе. Однако онтологические метафоры могут быть еще более усложнены и углублены. Ниже мы приведем два примера усложнения онтологической метафоры THE MIND IS AN ENTITY «ПСИХИКА — ЭТО СУЩНОСТЬ», свойственной нашей культуре.

ПСИХИКА (MIND) — ЭТО МАШИНА

<...> My mind just isn't *operating* today «Мой ум просто не *работает* сегодня».

Boy, the *wheels are turning* now! «Ну вот, сейчас колесики завертелись!»

I'm a little rusty today «Я сегодня что-то туповат (букв.: *немного заржавел*)».

We've been working on this problem all day and now we're *running out of steam* «Мы проработали над этой задачей весь день, а теперь наши пары иссякли».

ПСИХИКА (MIND) — ЭТО ХРУПКИЙ ПРЕДМЕТ

Her ego is very *fragile* «Ее психика (букв.: ее “я”) очень *хрупка*».

You have to *handle him with care since his wife's death* «Вы должны *обращаться с ним с осторожностью* после смерти его жены».

He *broke under cross-examination* «Перекрестный допрос сломил его».

She is *easily crushed* «Ее легко *сломить*».

The experience *shattered him* «Это переживание *сломало* его».

I'm *going to pieces* «Я разваливаюсь на части».

His mind *snapped* букв.: «Его рассудок *сломался*».

Эти метафоры задают объекты различного типа. Они представляют нам разные метафорические модели психики человека и тем самым позволяют сосредоточить внимание на разных аспектах ментального опыта. Метафора ПСИХИКА — ЭТО МАШИНА относится к ментальному аспекту психической жизни, и отсюда вытекает следующая концепция интеллекта: он может находиться в рабочем или выключенном состоянии, обладает определенным уровнем оперативности («коэффициентом полезного действия»), производительностью, внутренним устройством, источником энергии и эксплуатационными условиями. Метафора ПСИХИКА — ЭТО ХРУПКИЙ ПРЕДМЕТ не столь богата: она позволяет нам говорить лишь о психологической устойчивости, силе духа индивида. Однако есть такая область внутреннего мира человека, которая может быть осмыслена в терминах обеих метафор. Мы имеем в виду примеры следующего типа:

He *broke down* «Он *сломался*» (ПСИХИКА — ЭТО МАШИНА).

He *cracked up* «Он *свихнулся* (букв.: *треснул*)» (ПСИХИКА — ЭТО ХРУПКИЙ ПРЕДМЕТ).

Однако эти две метафоры не относятся к разным аспектам духовного опыта. Когда выходит из строя машина, она просто

прекращает работать. Когда разбивается хрупкий предмет, его куски разлетаются в разные стороны и могут ранить окружающих. Так, например, когда кто-либо сходит с ума и становится буйным или неистовым, вполне уместно сказать: *He cracked up*. С другой стороны, если человек становится вялым, апатичным и не способным нормально функционировать по психологическим причинам, мы скорее скажем: *He broke down*.

Подобные онтологические метафоры столь естественны и столь глубоко пронизывают наше мышление, что они воспринимаются как самоочевидные, как прямые описания явлений внутреннего мира. Тот факт, что они представляют собой метафорические выражения, никогда не приходит в голову большинству носителей языка. Мы воспринимаем высказывания типа *He cracked under pressure* «Он свихнулся под напором обстоятельств» как непосредственно истинные или ложные. Это выражение реально использовалось многими журналистами для объяснения того, почему Дэн Уайт пронес револьвер в здание городского магистрата в Сан-Франциско и застрелил мэра Джорджа Москоуна. Объяснения подобного рода кажутся большинству из нас совершенно естественными и понятными. Причина такой естественности состоит в том, что метафоры типа ПСИХИКА — ЭТО ХРУПКИЙ ПРЕДМЕТ составляют неотъемлемую часть модели внутреннего мира, присущей нашей культуре; именно в терминах этой модели большинство из нас мыслит и действует.

Метафоры, связанные с вместилищами

Ограниченные пространства. Мы представляем собой физические существа, ограниченные в определенном пространстве и отделенные от остального мира поверхностью нашей кожи; воспринимаем остальной мир как находящийся вне нас. Каждый из нас есть вместилище, ограниченное поверхностью тела и наделенное способностью ориентации типа «внутри — вне». Эту нашу ориентацию мы мысленно переносим на другие физические объекты, ограниченные поверхностями. Тем самым мы также рассматриваем их как вместилища, обладающие внутренним пространством и отделенные от внешнего мира. К явным вместилищам относятся комнаты и дома. Переходить из комнаты в ком-

нату — значит перемещаться из одного вместилища в другое, то есть переходить *из* одной комнаты *внутри* другой. Эту модель мы придаем даже твердым сплошным предметам, например, тогда, когда мы разбиваем на части булыжник, чтобы увидеть, что находится внутри него. Мы налагаем эту ориентацию на окружающую нас естественную среду. Лесная поляна воспринимается нами как замкнутое пространство, и мы можем мыслить себя *внутри* поляны (на поляне) или вне поляны, в лесу или вне леса. Лесная поляна действительно имеет нечто, что мы можем воспринимать как естественную границу, а именно нечеткую область, в которой идут на убыль деревья и начинается открытое пространство. Но даже там, где нет естественной физической границы, которую можно было бы воспринимать как замыкающую пространство некоторого вместилища, мы налагаем свои искусственные границы, отделяя территорию с ее собственным внутренним пространством и ограничивающей поверхностью, будь то стена, забор или некоторая воображаемая линия или плоскость. Немногие человеческие инстинкты имеют более базисную природу, чем чувство пространства. Отграничение некоторой территории, наложение границы вокруг нее представляет собой акт количественной характеристики. Ограниченные объекты, будь то люди, камни или территории, обладают размерами. В силу этого их можно характеризовать по количеству образующей их или содержащейся в них субстанции. Например, Канзас есть ограниченная область, а значит — **ВМЕСТИЛИЩЕ**, и поэтому мы можем сказать: *There's a lot of land in Kansas* «В Канзасе — обширная территория».

Вещества (субстанции) тоже можно рассматривать как вместилища. Возьмем, например, ванну с водой. Садясь в ванну, вы погружаетесь в воду. И ванна, и вода воспринимаются как вместилища, но вместилища разного рода. Ванна есть **ОБЪЕКТ-ВМЕСТИЛИЩЕ**, тогда как вода есть **ВЕЩЕСТВО-ВМЕСТИЛИЩЕ**.

Поле зрения. Мы осмысляем *поле* нашего зрения как вместилище, а видимое нами — как содержимое этого вместилища. Это вытекает даже из самого термина «*visual field* (поле зрения)». Это естественная метафора; она мотивирована тем, что, когда вы обо-

зреваете некоторую территорию (земельное пространство, пространство пола и т.п.), поле вашего зрения очерчивает границу видимого. Исходя из того, что ограниченное физическое пространство есть вместилище и что поле нашего зрения соотносится с подобным ограниченным физическим пространством, мы естественным образом приходим к метафорическому понятию ПОЛЕ ЗРЕНИЯ — ЭТО ВМЕСТИЛИЩЕ. Так, мы можем сказать:

The ship is *coming into view* «Корабль уже видно (букв.: *входит в поле зрения*)».

I have him *in sight* «Я держу его в *поле зрения*».

I can't see him — the tree is *in the way* «Я не могу его видеть — мешает (букв.: находится *на пути*) дерево».

He's out *of sight* now «Он вне поля зрения сейчас».

That's *in the center of my field of vision* «Это находится в *центре* моего *поля зрения*».

There's *nothing in sight* «В поле зрения *ничего нет*».

I can't get *all of the ships in sight at once* «Я не могу держать все корабли в поле зрения одновременно».

События, действия, занятия и состояния. Мы используем онтологические метафоры и для постижения событий, действий, занятий (деятельностей) и состояний (events, actions, activities and states). События и действия метафорически осмысляются как объекты, занятия (виды деятельности) — как вещества, состояния — как вместилища. Например, соревнование по бегу (race) представляет собой некоторое событие, которое воспринимается как дискретная сущность (объект). Соревнование по бегу проходит во времени и пространстве, имеет четко очерченные границы. Поэтому мы и рассматриваем соревнование по бегу как ОБЪЕКТ-ВМЕСТИЛИЩЕ, который содержит в себе участников (в свою очередь являющихся объектами), события типа старта или финиша (являющиеся метафорическими объектами) и деятельность, состоящую в беге (к которой приложима метафора вещества). Так, мы можем сказать о соревновании по бегу:

Are you *in the race on Sunday*? «Вы участвуете в соревновании по бегу в воскресенье?» (соревнование как ОБЪЕКТ-ВМЕСТИЛИЩЕ).

Are you *going to the race*? «Вы *идете на* соревнование по бегу?» (соревнование как ОБЪЕКТ).

Did you *see the race*? «Вы *видели* соревнование по бегу?» (соревнование как ОБЪЕКТ).

The *finish of the race* was really exciting «*Финиш* забега был поистине захватывающим» (финиш как ОБЪЕКТ-СОБЫТИЕ внутри ОБЪЕКТА-ВМЕСТИЛИЩА).

There was *a lot of good running in the race* «На соревнованиях по бегу многие показали прекрасные результаты (букв.: *много хорошего бега*)» (бег как ВЕЩЕСТВО во ВМЕСТИЛИЩЕ).

I couldn't do *much sprinting* until the end «Я не мог показать хороший спринт (букв.: не мог делать *много спринта*) до конца дистанции» (спринт как ВЕЩЕСТВО).

Halfway into the race, I ran out of energy «На половине дистанции (букв.: *наполовину внутри забега*) я выдохся» (соревнование как ОБЪЕКТ-ВМЕСТИЛИЩЕ).

He's *out of the race now* «Он не участвует в соревновании (букв.: вне соревнования) сейчас» (соревнование как ОБЪЕКТ-ВМЕСТИЛИЩЕ).

Занятие (деятельность) в общем плане осмысливается метафорически как ВЕЩЕСТВО и тем самым как ВМЕСТИЛИЩЕ:

In washing the window, I splashed water all over the floor «Когда я мыл окно (букв.: в мытье окна), я расплескал воду».

How did Jerry *get out of* washing the windows? «Каким образом Джерри избежал (букв.: *вышел из*) мытья окон?»

Outside of washing the windows, what else did you do? «Кроме мытья окон (букв.: *за пределами* мытья окон), что еще вы делали?» <...>

How much window-washing did you do? «Сколько окон вы вымыли?» (букв.: «Сколь много мытья окон вы сделали?»).

Таким образом, занятие (деятельность) рассматривается как вместилище для действий и других занятий, которые входят в его состав. Они также рассматриваются как вместилища для энергии и материалов, необходимых для их осуществления, и для их побочных продуктов, которые *можно* представить как находящиеся в них или *выходящие из* них:

I *put a lot of energy into* washing the windows «Я *вложил много энергии* в мытье окон».

I *get a lot of satisfaction out of* washing windows «Я получаю большое удовлетворение от мытья (букв.: из мытья) окон». <...>

Различные типы состояний также могут быть осмыслены как вместилища. Так, мы располагаем следующими примерами:

He's *in* love «Он влюблен (букв.: Он *в* любви)».

We're *out of* trouble now «У нас нет никаких неприятностей (букв.: Мы *вне* неприятностей) сейчас».

He's *coming out of* the coma «Он *выходит из* комы».

I'm *slowly getting into* shape «Я *медленно вхожу в форму*».

He *entered* a state of euphoria «Он *впал в* состояние эйфории».

He *fell into* a depression «Он *впал в* депрессию». <...>

В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян

МЕТАФОРА В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЭМОЦИЙ

(Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995)

1. Два подхода к описанию эмоциональной лексики

До недавнего времени внутренний мир человека занимал психиатров, философов, поэтов, но мало интересовал лингвистов. Положение стало меняться с возникновением в 60-х годах современной лингвистической семантики, когда появились первые опыты лексикографического описания эмоциональной лексики. С тех пор интерес к словам, обозначающим эмоции, непрерывно возрастал и в теоретическом, и в лексикографическом плане <...>. Любопытные данные об эмоциях, которые могут представлять ценность и для лингвистики, содержатся в ряде современных психологических, физиологических, социологических и других исследований <...>. Хотелось бы надеяться, что и лингвистические результаты изучения эмоций будут небезынтересны для представителей других дисциплин. В языке закреплен опыт тысячелетий психологической и культурной интроспекции его носителей, данные которого по своей надежности никак не уступают данным экспериментальных исследований.

Несколько схематизируя реальное положение вещей, можно сказать, что в лингвистике сложились два подхода к описанию эмоций, которые мы условно назовем смысловым и метафорическим. В рамках этих подходов по-разному решается главная трудность, с которой сталкивается исследователь при описании эмоциональной лексики. Как известно, сами эмоции недоступны прямому наблюдению. В этом отношении они подобны другим внутренним состояниям, например, ментальным. Однако в отличие от ментальных состояний, которые достаточно легко вербализуются самим субъектом, эмоции очень непросто перевести в слова. Эта онтологическая трудность порождает трудность лингвистическую: слову, обозначающему эмоцию, почти невозможно дать прямое лексикографическое истолкование.

Как правило, в тех случаях, когда прямое объяснение какого-либо явления по той или иной причине невозможно, говорящий использует различные окольные пути, обращаясь при этом к тем знаниям, которые, по его предположению, уже имеются в опыте адресата. Наиболее употребительными, а может быть, и единственно возможными являются следующие два приема объяснения: либо говорящий указывает на известную адресату ситуацию, в которой обычно возникает данное явление, либо он сравнивает это явление с похожим на него другим явлением, знакомым адресату. В сущности, именно эти принципы лежат в основе двух упомянутых нами лингвистических подходов к описанию эмоций.

1.1. Смысловой подход

Этот подход был предложен в первых работах А. Вежбицкой и Л.Н. Иорданской, где эмоции описывались через прототипические ситуации, в которых они возникают. Приведем примеры (английские примеры А. Вежбицкой заменены соответствующими русскими).

X испытывает стыд = «X чувствует то, что чувствует человек, когда он думает, что он сделал нечто плохое или смешное, и когда он хочет, чтобы никто об этом не знал».

X испытывает гордость = «X чувствует то, что чувствует человек, когда он думает, что он сделал нечто большее, чем просто хорошее, и когда он хочет, чтобы другие люди об этом знали».

А *огорчается из-за В* = «А испытывает такое пассивно-отрицательное эмоциональное состояние, которое обычно каузируется у среднего человека *i* следующей его оценкой некоторого события *j*: 1) *i* уверен в осуществлении события *j*; 2) *j* нежелательно для *i*; указанное состояние каузируется у А указанной оценкой со стороны А события В».

В последующих работах А. Вежбицкой и Л.Н. Иорданской, а также других авторов, принявших смысловой подход, эти и другие подобные толкования были усовершенствованы, но принцип сведения к прототипу сохранился. <...>

Принцип сведения к прототипу и сейчас представляется нам в высшей степени ценным, но его одного недостаточно для полного и адекватного лексикографического представления эмоциональной лексики.

Во-первых, нуждается в дальнейшей спецификации качество самой эмоции <...>. По существу, различия в состояниях души, как они описаны в приведенных толкованиях, сводятся к различиям в причинах, которые их вызывают. Можно, однако предполагать <...>, что состояния души даже в случае таких близких по прототипу эмоций, как *страх* и *опасение*, — разные. Равным образом различаются отрицательные чувства в случае *горя* и *скорби*, тоже практически совпадающих по прототипу: оба в качестве нормальной причины предполагают большую утрату.

Во-вторых, хотелось бы найти такие семантические представления эмоций, которые позволили бы дать принципиальное (семантически мотивированное объяснение «симптоматической» лексики. Это — выражения типа *похолодеть от страха*, *покраснеть от стыда*, *задохнуться от возмущения* <...>.

1.2. Метафорический подход

Дж. Лаков и М. Джонсон <...> отмечают, что языковые средства выражения эмоций в высшей степени метафоричны. Эмоция практически никогда не выражается прямо, но всегда уподобляется чему-то. Поэтому наиболее адекватным лингвистическим описанием эмоций авторы считают описание через метафоры, в которых эти эмоции концептуализуются в языке. Например, эмоции *счастье* (HAPPY) и *грусть* (SAD) в английском

языке метафорически противопоставлены как ВЕРХ и НИЗ. Этой метафоре дается, с одной стороны, физическая мотивировка — человек поднимает голову, когда радуется, и опускает, когда грустит. С другой стороны, предлагается языковая мотивировка: данная метафора является частным случаем метафоры вида ХОРОШЕЕ — ВЕРХ, ПЛОХОЕ — НИЗ. Таким образом, у Дж. Лакова и М. Джонсона описание строится в виде иерархий метафор, в которых метафоры низшего порядка наследуют структуру метафор — «предков». <...>

Безусловное достоинство этого подхода состоит в том, что он дает возможность отразить внутреннюю семантическую компаративность слов, обозначающих эмоции, и ввести в описание, помимо самих этих слов, большие группы связанных с ними метафорических выражений.

Недостаток состоит в том, что метафора принимается за конечный продукт лингвистического анализа, и собственно семантическая мотивация того, почему та или иная метафора ассоциируется с определенной эмоцией, отсутствует. Между физической мотивацией и самой метафорой отсутствует языковое, семантическое звено.

Кроме того, специфичность метафор, относящихся именно к эмоциям (в основном к «симптоматической» лексике), не получает никакого объяснения.

Наконец, некоторые метафорические сближения кажутся продиктованными не столько устоявшейся языковой практикой, сколько единичными употреблениями. Например, на основании таких окказиональных и периферийных высказываний о характере любовных отношений, как *Мы на перекрестке*, *Мы зашли слишком далеко*, *Ты торопишь события*, *Ты едешь по скоростной полосе на автостраде любви* (последний пример заимствован из неопубликованной работы Дж. Лакова), Дж. Лаков предлагает для любви образ путешествия. Более точно, он представляет любовь в виде средства передвижения, в котором влюбленные движутся к своей общей цели. Очевидно, что с таким же успехом путешествию или средству передвижения могут быть уподоблены многие виды человеческой деятельности (споры, переговоры, решения, критика, похвалы и т.п.), так что ценность этой метафоры как описания именно любви уменьшается.

Интересные идеи на ту же тему были выдвинуты В.А. Успенским, рассмотревшим <...> поведение абстрактных существительных *авторитет*, *страх*, *горе* и *радость* в составе метафорических выражений типа *прочный авторитет*, *хрупкий авторитет*, *дутый авторитет*, *авторитет лопнул*, и т.п.; *Страх нападает на человека*, *охватывает его*, *душит*, *парализует*, *бороться со страхом*, *победить в себе страх* и т.п.; *глубокое горе*, *тяжелое горе*, *испить горя*, *хлебнуть горя*, *Горе обрушивается на человека*, *давит его*, *Человек придавлен горем* и т.п.; *Радость разливается в человеке*, *бурлит*, *играет*, *искрится*, *переплескивается через край* и т.п.

В.А. Успенского интересовало, стоят ли за подобными словосочетаниями единые мотивирующие их образы, способные служить основой для «считывания» с них новых метафорических выражений с данным ключевым словом. На этот вопрос он отвечает положительно. Авторитет, с его точки зрения, мыслится в русском языке как «сплошной шар, в хорошем случае большой и тяжелый, в плохом — маленький и легкий. Ложный авторитет — полый внутри, с настолько тонкими стенками, что может *лопнуть*». «...страх можно мыслить в виде некоего враждебного существа, подобного гигантскому членистоногому или спруту, снабженному жалом с парализующим веществом». «Горе — это тяжелая жидкость», заполняющая «некоторый бассейн, на дне которого находится человек». Наконец, радость — «это легкая светлая жидкость», «по-видимому, она легче воздуха».

Мысль о том, что следует искать мотивирующие образы для больших классов симптоматических и других метафорических выражений, представляется нам в высшей степени плодотворной. Нам хотелось бы, однако, связать такое метафорическое описание с собственно смысловым, <...> а с другой стороны, найти независимые свидетельства в пользу предлагаемых для эмоций метафорических прообразов. В противном случае они могут выглядеть произвольными.

Действительно, заключение о том, что *авторитет* концептуализуется в русском языке как полый шар, сделано, в сущности, на том основании, что он может *лопнуть* и быть *дутым*. Но, во-первых, *лопаться* и быть *дутыми* могут не только шарообразные физические предметы; ср. *банка* < *веревка*, *струна*, *шина*, *перчат-*

ка > лопнула, стекло лопнуло; дутая трубка, устар. дутый пирог. Следовательно, сочетаемость с *дутый* и *лопнуть* не является достаточным основанием для утверждения, что *авторитет* мыслится в виде шара. Во-вторых, быть *дутыми* и *лопнуть* в переносном смысле могут, например, *судебное дело, план, репутация*; ср. также *дутые цифры, дутый отчет, Фирма лопнула, Затея лопнула* и т.п. Если считать это достаточным основанием для вывода, что соответствующие объекты тоже концептуализуются носителями русского языка как полые шары, общая картина получится чересчур непоследовательной и неспецифичной для ключевых слов.

2. Толкование эмоций

2.1. Сценарий возникновения и развития эмоций

Как легко заметить, приведенные в 1.1 толкования структурированы. В них выделяются следующие три части: причина эмоции (интеллектуальная оценка какого-то положения вещей), собственно эмоция и ее следствия. <...>

Мы бы хотели дополнить этот сценарий несколькими новыми деталями. Их необходимость диктуется некоторыми общими соображениями о системах, из функционирования и взаимодействия которых складывается поведение человека, во всяком случае, в «наивной» картине мира, которая и является предметом нашего описания. Для каждой системы мы укажем орган или органы, в которых она размещена, и семантический примитив, описывающий элементарную форму ее деятельности.

<...> мы будем считать, что таких систем семь: 1) восприятие (органы тела, «воспринимать»; <...>); 2) физиология (тело в целом, «ощущать»); 3) моторика (части тела, «делать»); 4) желания (воля, «хотеть»); 5) интеллект (ум, «думать о»); 6) эмоции (душа, «чувствовать»); 7) речь (язык, «говорить»). Некоторые системы обслуживаются одним и тем же органом — ср. тело; у некоторых других систем есть как будто альтернативные органы — ср. ум и голову, душу и сердце.

Обратим внимание на одну особенность устройства этих семи систем. Они образуют не однородное множество, а последовательность, где каждая следующая система сложнее, чем предыдущая. Самой примитивной системой является восприятие. Оно

объединяет человека со всей остальной живой природой. Самая сложная система — речь. Она отличает человека от всей остальной живой природы.

Весьма сложной системой являются и эмоции. Во-первых, за исключением некоторых фундаментальных эмоций типа страха, ярости, удовольствия, они свойственны исключительно человеку. Во-вторых, почти всякое эмоциональное переживание активирует все другие системы человека.

Действительно, чтобы испытать, например, *страх*, человек должен (1) **воспринять** или хотя бы **умственно представить** некоторое положение вещей и (2) **оценить** его как опасное для себя или каких-то других объектов, находящихся в его личной сфере. Результатом этого является собственно эмоция — (3) **неприятное чувство**, вызванное (1) или (2). Это чувство может проявляться (4) в неподконтрольных субъекту **физиологических** реакция его тела (бледность, дрожь и т.п.) и/или (5) в **желаниях** (например, в желании спрятаться, сжаться и т.п.), которые могут в свою очередь влечь за собой контролируемые субъектом (6) **моторную** активность или (7) **речевую** деятельность.

Этот сценарий возникновения и развития эмоций является одним из факторов, определяющих структуру их толкования.

2.2. Симптоматические выражения: телесная метафора состояний души

Другой фактор, определяющий структуру и состав толкования эмоций, — чисто языковой. Это — симптоматические выражения двух типов. К первому относятся выражения, описывающие физиологическую, непосредственно наблюдаемую реакцию человека на страх: *белеть* <бледнеть> *от страха*, *дрожать* <трястись> *от страха*, *сжаться от страха*, *цепенеть* <застывать, не мочь даже пальцем пошевелить> *от страха*, *онеметь от страха*, *Язык заплетается от страха*, *Зубы стучат от страха*, *Голос дрожит* <прерывается> *от страха*, *Мурашки пробегают по телу* <спине, коже> *от страха*, *Дрожь пробегает по телу* <по спине, по коже> *от страха* и некоторые другие; <...>. Ко второму относятся метафорические выражения, отражающие не реально наблюдаемые эффекты, а концептуализацию страха говорящими: *каменеть*

<столбенеть> от страха, Страх сковывает <парализует> кого-л., Страх пронизал его душу, Страх леденит кровь кому-л., Кровь стынет <леденеет> в жилах от страха и т.п. Есть и такие выражения, которые образуют промежуточное звено между двумя группами и с равным успехом могут классифицироваться как буквальные или метафорические; ср. *холодеть от страха*.

Анализ этого материала приводит к следующему заключению: **реакция души на страх очень сходна с реакцией тела на холод**. Действительно, почти все «симптоматические» глаголы, описывающие физические проявления страха, используются и для описания эффектов холода; ср. *Кончик ее носа побелел от холода, дрожать <трястись> от холода, сжаться от холода, цепенеть <стыть, не мочь даже пальцем пошевелить> от холода, Руки онемели от холода, Зубы стучат от холода, Дрожь пробегает по <по спине, по коже> от холода*.

Сходство страха и холода простирается и на область метафоры. Эффекты двух состояний метафоризируются в одних и тех же выражениях; ср. *Холод сковал все его члены, Холод парализует, Кровь стынет в жилах от холода, Холод пронизал его тело*.

Возникает вопрос: является ли такое совпадение сочетаемости у слов со значением психологического и физического состояний (т.е. состояний души и тела) случайным, или это проявление какой-то общей закономерности? Некоторые факты указывают на то, что верно второе.

Приведем примеры других эмоций, которые концептуализуются в языке так же, как физические состояния.

Отвращение: поморщиться <сморщиться, скривиться> от отвращения, сделать гримасу отвращения, передернуться от отвращения, тошнит от отвращения, плевать от отвращения и т.п. Легко заметить, что физиологическая реакция человека на отвращение совпадает с его реакцией на очень неприятный (например, кислый или горький) вкус. Не станем приводить очевидных примеров.

Жалость: Жалость кольнула <пронзает, щемит>, острая жалость; ср. сочетания *Боль кольнула, Боль пронзает, В груди щемило <о физической боли>, острая боль*. Близость эмоции и физического ощущения настолько велика, что жалость часто восприни-

мается как боль, а слово *боль* развивает значение «жалость»; ср. *щемящее чувство жалости, Сердце разрывалось от жалости, В «Известиях» <...> была опубликована серия очерков об этих изгнанниках — боль за них, сострадание к ним — это был главный и единственный мотив «Парижских дневников»* (Независимая газета, 23.06.92). Мне просто до боли жалко людей, которые не видят в жизни хорошего (М. Горький).

Большая группа эмоций (в частности, страсть, ярость, гнев) ассоциируется с болезнью или жаром. Бывает *горячка страсти, лихорадка страсти, От страсти сохнут <сгорают>, Страстью горят <пылают>, Страсть остужают, страсть остывает, От гнева <ярости> закипают <кипят>, От гнева <ярости> горят глаза, Ярость клокочет в ком-то.*

Ср. также отмеченную В.А. Успенским концептуализацию *горя* как тяжести, засвидетельствованную симптоматикой (*Человек согнулся от горя*) и словосочетаниями типа *Горе давит <придавливает> кого-л., Горе обрушивается на кого-л.* и т.п., см. выше.

Рассмотренный материал можно обобщить следующим образом:

1) Предложенные для эмоций телесные аналоги (страх — холод, отвращение — неприятный вкус, жалость — физическая боль, страсть — жар и т.п.) представляются более мотивированными, менее случайными, чем те, что предлагались ранее (любовь — путешествие, радость — легкая жидкость, страх — спрут и т.п.). Они позволяют объяснить существенно больший круг симптоматических и иных словосочетаний, включая метафорические.

Более того, подобно всякой другой продуктивной модели, например модели словообразования, они обладают и предсказательной силой. Очевидно, например, что такие не встречающиеся в узусе выражения, как *Его знобило от страха* и *Ему стало жарко от гнева*, будут с большей готовностью приняты и с большей легкостью проинтерпретированы, чем выражения ^{??}*Его знобило от гнева* и [?]*Ему стало жарко от страха*. Дело в том, что два первых выражения эксплуатируют правильные образы, опирающиеся на массовое языковое сознание, а вторые два — неправильные, за которыми не стоит ничего, кроме, быть может, личного опыта конкретного человека (ср. у В. Набокова в «Даре»: *Когда же он*

сердился, гнев его был как внезапно ударивший мороз; впрочем, здесь речь идет не о внутренних ощущениях человека, а о действии его эмоции на окружающих).

2) Образы «любовь — путешествие», «радость — легкая жидкость», «страх — спрут» как возможные претенденты на место в толковании вызывают сомнение еще и потому, что относятся к чересчур различным областям природы и деятельности человека. Они не складываются ни в какую единую картину.

Предложенные в данной работе образы выстраиваются в более последовательную систему концептуализации эмоций в языке. В основе этой системы лежит единый принцип уподобления того, что недоступно прямому наблюдению (реакции души), тому, что может наблюдаться непосредственно (реакции тела). Реакции тела, пусть в ограниченном числе случаев, оказываются ключом к тому, что происходит в душе человека.

3) Указанные мотивирующие образы составляют настолько весомую часть языкового сознания говорящих, что в какой-то форме они должны быть введены в толкования соответствующих эмоций.

2.3. Структура толкований

В этом разделе нам предстоит обсудить две проблемы, связанные со структурой толкования: о месте метафоры в толковании и о логическом строении прототипической части толкования.

Прежде всего, мы предлагаем ввести в состав толкований сравнения типа «душа человека при эмоции X чувствует нечто подобное тому, что ощущает тело человека, когда оно находится под действием физического фактора Y или в физическом состоянии Y».

«Телесную метафору души» следует включать в толкования лишь тех эмоций, для которых ее можно подтвердить достаточно представительным и последовательно организованным материалом. Существуют большие классы эмоций с ярко выраженной симптоматикой, для которых нет никаких аналогов в области физических явлений. Таково, например, *удивление* и родственные ему эмоции; ср. *широко раскрыть глаза от удивления, выпучить глаза от удивления* (нельзя назвать такого физического яв-

ления, которое заставляет человека широко раскрывать глаза). Ясно, что различие между *удивлением* и, например, *страхом* не надо нивелировать подгонкой *удивления* под общую схему толкования.

По нашим наблюдениям, метафору М разумно включать в толкование эмоции А, если удовлетворяется хотя бы одно из следующих двух условий: а) по данному симптоматическому выражению, используемому и для описания реакции души, и для описания реакции тела, единственным образом реконструируется тип эмоции; ср. *У него зубы стучат, Он похолодел* (эмоция типа страха); б) имеется метафорическое выражение, которое само по себе, даже в отсутствие названия эмоции, способно ее обозначать; ср. *Он по ней сохнет* (эмоция типа любви).

Тезис о том, что в лексикографические описания слов можно и нужно вводить метафору, не нов. Имеются большие классы выражений, которые иначе, как метафорически, описать нельзя. Таковы, как известно, выражения, описывающие изменение времени. Труднее решить вопрос о том, как распределить различные типы метафор между различными частями лексикографического описания слова.

Мы не можем предложить сейчас общего решения этого вопроса. Заметим, однако, что в силу сформулированного выше принципа случайную метафору типа «радость — легкая жидкость», «горе — тяжелая жидкость» и т.п. не следует включать в толкование. Лингвистический статус такой метафоры не может превышать статуса коннотации, хотя и этот статус следует приписывать лексеме с очень большой осторожностью. По-видимому, даже для установления коннотации недостаточно наличия в языке одного устойчивого словосочетания, одного деривата, одного переносного значения, в котором гипотетическая коннотация какой-то лексемы предстает как элемент лексического значения. Требуется хотя бы несколько согласованных по одному и тому же признаку фактов такого рода.

Перейдем к вопросу о логическом строении прототипической части толкований.

Как известно, входом толкования предикатных лексем в работах Московской семантической школы служит пропозицио-

нальная форма вида XPY , где P — толкуемая предикатная лексема, а X и Y — переменные, обозначающие участников соответствующей ситуации. По умолчанию предполагается, что эти переменные связаны квантором существования.

Прототипическая часть толкования устроена иначе. Она содержит ссылку на общий или, по крайней мере, обычный случай, т.е. на опыт многих людей, возникающий по конкретному поводу. Это значит, что в прототипической части толкования субъект эмоции должен быть связан квантором множественности («многие люди», «обычный человек»), а причина эмоции — квантором единственности или определенности. Из этого в свою очередь следует, что для обозначения субъекта и причины эмоции в прототипической части необходимо использовать новые переменные, отличные от X и Y , а затем устанавливать соответствие между этими переменными, с одной стороны, и парой (X, Y) — с другой.

Относительно строгое толкование, учитывающее все эти тонкости, могло бы иметь следующий вид: $XPY =$ «такое-то чувство, вызванное у X -а Y -ом; такое чувство бывает у обычного человека A , когда A воспринимает или представляет конкретный и определенный объект B , который он оценивает или ощущает как имеющий такое-то свойство; душа A чувствует нечто похожее на то, что ощущает его тело, когда A находится в таком-то физическом состоянии, и тело A реагирует на это, как оно реагирует на это физическое состояние; A -у, испытывающему такое чувство, хочется делать то-то и то-то; X в связи Y -ом испытывает то же, что испытывает A в связи с B ».

Ясно, что такие толкования, при всех их логических достоинствах, концептуально чересчур сложны для словаря. Между тем нашей целью является выработка **лексикографически** приемлемой схемы толкования эмоций. Поэтому в прототипической части толкования мы пользуемся менее строгими обозначениями. Однако при желании их нетрудно развернуть в формально безупречную нотацию.

Этой цели отвечает и совершенно естественная для лексикографа (и лингвиста вообще) установка на описание «наивной» (языковой, этнолингвистической) картины мира, в нашем случае — наивной картины эмоций (см. об этом выше, раздел 2.1).

2.4. *Опыты толкования некоторых эмоций*

С учетом всего сказанного выше предлагаются следующие истолкования упоминавшихся нами эмоций <...>.

Страх X-а перед Y-ом (Он испытывал страх перед будущим) = «неприятное чувство, вызванное у X-а Y-ом; такое чувство бывает, когда кто-то воспринимает или представляет нечто, что он оценивает или ощущает как очень опасное для себя; душа человека чувствует нечто подобное тому, что ощущает его тело, когда ему холодно; тело реагирует на это как на холод; тому, кто испытывает такое чувство, хочется стать незаметным; если ощущение опасности усиливается, он может потерять контроль над своим поведением и побежать или закричать».

Отвращение X-а к Y-у (Он испытывал отвращение к таким забавам) = «очень неприятное чувство, вызываемое у X-а Y-ом; такое чувство бывает, когда человек воспринимает или представляет нечто крайне неприятное; душа человека чувствует нечто подобное тому, что ощущают его телесные органы от горького или кислого вкуса, очень плохого запаха или прикосновения к грязной вещи, которая может его испачкать; тело человека реагирует на это как на горький или кислый вкус, очень плохой запах или соприкосновение с грязным; человеку, который испытывает такое чувство, хочется уйти в другое место или как-то иначе прервать контакт с неприятным объектом; ему трудно скрыть свое чувство, если он продолжает находиться в контакте с неприятным объектом или представлять его себе».

Жалость X-а к Y-у (Его жалость к больным была поистине беспредельной) = «чувство, нарушающее душевное равновесие X-а и вызванное у X-а Y-ом; такое чувство бывает у человека, когда он думает, что некто находится в плохом положении и что это положение хуже, чем он заслуживает; душа человека чувствует нечто подобное тому, что ощущает тело человека, когда ему больно; тело человека реагирует на такое чувство как на боль; человеку, который испытывает такое чувство, хочется изменить положение другого существа так, чтобы оно стало менее плохим».

Страсть X-а к Y-у (Его страсть к этой женщине толкала его на безумные поступки) = «очень сильное чувство, нарушающее душевный покой X-а и вызванное у X-а Y-ом; такое чувство бы-

вает у человека, когда он ощущает непреодолимое плотское влечение к другому человеку; душа человека чувствует нечто подобное тому, что ощущает тело человека, когда у него жар; такое чувство действует на душу человека, как болезнь действует на его тело; тело человека реагирует на такое чувство, как на жар; если такое чувство не удовлетворяется, человек очень страдает; такое чувство может лишать человека способности здраво мыслить и толкает его на необдуманные поступки».

- ✓ **Задание.** Предложите свой вариант семантического истолкования какой-либо эмоции, опираясь на рассмотренную методикку. В качестве исследовательского материала могут использоваться статьи «Русского ассоциативного словаря», «Русского семантического словаря».

Дополнительная литература

- *Арутюнова Н.Д.* В сторону семиотики и стилистики // Н.Д. Арутюнова. Язык и мир человека. М., 1998.
- *Баранов А.Н., Караулов Ю.Н.* Русская политическая метафора. Материалы к словарю. М., 1991.
- *Баранов А.Н., Караулов Ю.Н.* Словарь русских политических метафор. М., 1994.
- *Лакофф Дж.* Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. М., 2004.
- *Маккормак Э.* Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. М., 1990.
- *Метафора в языке и тексте / Под ред. В.Н. Телия.* М., 1988.
- *Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира.* М., 1988. [Главы «Картина мира в жизнедеятельности человека» и «Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира»]
- *Телия В.Н.* Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. М., 1981.
- *Теория метафоры / Под ред. Н.Д. Арутюновой.* М., 1990.
- *Чудинов А.П.* Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991—2000). Екатеринбург, 2001.

Тема 9

МЕНТАЛЬНЫЙ ЛЕКСИКОН: МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА



Вопросы, выносимые на обсуждение

- Чем объясняется возрастающий интерес представителей разных отраслей науки к словарю индивидуума? На решение каких задач в этой связи направлены усилия лингвистов?
- Что послужило поводом к пересмотру соотношения между грамматикой и лексиконом? На чем основывается традиционное для лингвистики противопоставление словаря и грамматики? Какой видится эта привычная оппозиция современным исследователям лексикона?
- Сопоставьте встречающиеся в обзорах Е.С. Кубряковой и А.А. Залевской определения лексикона (ментального лексикона, внутреннего лексикона и т.д.). В чем специфика каждой из предлагаемых интерпретаций этого феномена? Что может рассматриваться в качестве элемента (элементов), объединяющего все существующие концепции?
- В чем видится авторам рассматриваемых теоретических концепций специфика *единицы* ментального лексикона? В каком соотношении оказываются лексикон как часть концептуальной системы (когнитивной системы, долговременной памяти) человека, с одной стороны, и лексикон как компонент языка, с другой стороны?
- Модульный и холистический подходы к трактовке ментального лексикона: какие теоретические предпосылки кладутся в основание оппозиции? Как решается в каждом случае вопрос о существовании «языкового модуля»?
- Какова роль экспериментальных исследований в разработке понятия «ментальный лексикон»?



Материал для обсуждения

*Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац,
Л. Г. Лузина*

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ КОГНИТИВНЫХ ТЕРМИНОВ

(М., 1996)

МЕНТАЛЬНЫЙ ЛЕКСИКОН <...> — система, отражающая в языковой способности знания о словах и эквивалентных им единицах, а также выполняющая сложные функции, связанные не только с указанными языковыми единицами, но и стоящими за ними структурами представления экстралингвистического (энциклопедического) знания. Развитие когнитивного подхода, как и развитие генеративной грамматики и когнитивной лингвистики, характеризуется возрастающим интересом к этому компоненту языка, противопоставляемому обычно грамматике, поскольку, по признанию большинства лингвистов, свойства лексических единиц оказались гораздо более существенными для грамматики и синтаксиса, чем то полагали ранее. Целое направление так называемых лексических грамматик (Дж. Бреснан, Р. Хадсона, Ст. Старосты и др.) исходит из положения о первостепенной важности для порождения и восприятия речи такой единицы, как слово, признаваемой центральной единицей хранения и использования информации, доступа к ней и ее извлечения из памяти говорящих и т.п. <...>

Для обозначения рассматриваемого понятия используются нередко и такие названия как «внутренний лексикон», «словесная память» и даже «информационный тезаурус человека» <...>. Последнее обозначение относится, однако, к вместилищу всех знаний человека, а значит, имплицитно объединяет вербальных и невербальных знаний о мире, что чаще интерпретируется с помощью понятий модели или картины мира или же понятий концептуальной системы (в отличие от ментального лексикона, отражающего знания о лексических единицах, концептуальная система трактуется скорее как совокупность концептов или ментальных репрезентаций разного типа, т.е. не только репрезентаций лексем). <...>

В центре внимания когнитивных исследований лексикона находятся как вопросы о когнитивных функциях слова <...>, так и проблемы организации словаря, ибо на смену представлениям о лексиконе как неупорядоченном наборе и даже простом списке слов конкретного языка пришли многочисленные теории относительно устройства и формального и семантического строения лексикона как принимающего заметное место в обработке и переработке языковых знаний. Для психологии эти теории обладают тоже огромной значимостью, ибо они помогают понять, как соотносятся слова с объективацией (лексикализацией, по терминологии генеративной лингвистики) структур знания и как вербализуются разные концепты. В то же время исследования по структуризации лексикона, по типам представленных в нем отношений и связей, формирующимся здесь более крупным разрядам слов (лексическим полям, категориям, фреймам и т.п.) требуют зачастую специальных экспериментов, что способствует выработке совместных научно-исследовательских программ по изучению лексикона в рамках когнитивной науки. <...>

Хотя считается, что ментальный лексикон хранит сведения и о форме, и о содержании ментальных репрезентаций лексических единиц <...>, особое внимание уделяется сегодня определению лексического значения и вообще семантике слов, так что многочисленные сборники и исследования разрабатывают эти проблемы <...>. Вместе с тем актуальными проблемами остаются и вопросы о том, в каком виде хранятся в ментальном лексиконе репрезентируемые в нем слова — целостно или же по их частям. Особенно сложен этот вопрос применительно к разного рода дериватам и композитам, ибо мнения относительно отдельного хранения основ и аффиксов не всегда поддерживаются экспериментально. Нередко полагают, что, в то время как многие дериваты хранятся в уже «собранном» виде, словоформы, напротив, при необходимости создаются заново, т.е. порождаются вместе с порождаемым высказыванием.

Многие наблюдения подобного типа заставляют поставить еще раз вопрос о том, как вообще соотносится описание лексического компонента, данное в результате обычного лингвистического анализа, с когнитивной организацией внутреннего лек-

сикона, выявляемой в процессе специальных экспериментов, т.е. вопрос о том, в терминах Н. Хомского, каково соотношение Э-языка и И-языка.

Если рассматривать ментальный лексикон как часть долговременной памяти человека, в которой репрезентирована информация исключительно о словах и их составляющих, то возникающие в связи с этим проблемы касаются не только организации лексикона в целом и не только способов хранения (а значит, и доступа к этим единицам), но и вопроса о том, где же сосредоточена остальная часть сведений о языке и в чем именно она заключается <...>. Еще в начале 80-х гг. Н. Хомский говорил о языковом знании (компетенции) как о правилах и репрезентациях <...>, притом в виду имелось в значительной степени знание синтаксиса. С развитием генеративной грамматики понятию правила, однако, оставалось все меньше места <...> и все большее внимание уделялось принципам и параметрам, которые считались в значительной степени врожденными. Но о том, как все-таки они репрезентированы в голове человека и где, в какой части когнитивной системы, они репрезентированы, мнения расходятся. С точки зрения Н. Хомского, они, несомненно, являются составляющими интериоризованного, т.е. внутреннего, ментального языка (И-языка), но противостоят ли они ментальному лексикону или же составляют его собственную ингерентную часть, достаточно неясно. Один выход из этой ситуации — противопоставить лексикону грамматикон (ср. работы Ю.Н. Караулова) или выделить знания о синтаксисе и грамматике в отдельный модуль языковой компетенции, другой — считать, что вся информация о языке «записана» при слове и что слово проецирует все свои, в том числе и синтаксические, свойства в формирующееся высказывание в процессах порождения речи <...>. Можно, наконец, отнести сведения об операциях со словами, о схемах построения предложений и текста и пр. «крупных» единицах-правилах к системе ментальных репрезентаций. Тогда среди разнообразных форм репрезентаций вербального порядка надо найти место схемам реализаций пропозиций или аргументно-предикативных структур, которые тоже считаются составляющими репрезентационной системы в голове человека — его памяти <...>.

А.А. Залевская
**МЕНТАЛЬНЫЙ ЛЕКSIKON С ПОЗИЦИЙ
РАЗНЫХ ПОДХОДОВ**

(Залевская А.А. Психолингвистические исследования.
Слово и текст: Избранные труды. М., 2005)

В последние годы стало весьма популярным обсуждение различных вопросов, связанных с «ментальным лексиконом», «внутренним лексиконом», «лексиконом индивида», «индивидуальным тезаурусом» и т.п. Большое разнообразие подходов к трактовке лексикона и наличие противоречивых мнений по ряду фундаментальных проблем, без решения которых установление специфики лексикона и принципов его функционирования представляются невозможными, побуждает кратко рассмотреть динамику основных подходов к трактовке лексикона и остановиться на некоторых наиболее актуальных спорных вопросах.

Динамика подходов к трактовке ментального лексикона в значительной мере соотносится с общими тенденциями развития психолингвистики и других наук о человеке, со сменой доминирующих научных метафор <...>. На смену попыткам прямого перенесения в психолингвистику тех или иных лингвистических, психологических, нейрофизиологических и нейролингвистических и т.д. представлений и теорий приходит стремление понять и объяснить специфику накопленных результатов наблюдений и экспериментов, что заставляет осознать необходимость разработки **психолингвистической теории лексикона как достояния индивида**. Вполне естественно при этом наличие «остаточных явлений» в виде сохранения тех или иных устаревших определений и утверждений в некоторых современных работах. <...> здесь будут обозначены лишь отдельные особенности более ранних подходов к лексикону, чтобы можно было акцентировать внимание на публикациях последнего десятилетия.

В психолингвистических работах 50—60-х годов на развитие представлений о ментальном лексиконе основное влияние оказывали, с одной стороны, популярные в то время лингвистические концепции, а с другой — формировавшееся под воздействи-

ем идей Ч. Осгуда и Дж. Диза стремление обнаружить внутреннюю (категориальную) структуру лексикона и выявить особенности ее становления у детей. Публикуются результаты экспериментальных исследований с акцентированием внимания на коннотативном значении слова и на лежащей за словом единой вербально-когнитивной структуре <...>; на том, что слова являются средством организации опыта, чтобы сделать его доступным для осмысления, а набор ассоциируемых со словом признаков репрезентирует большую часть его значения <...>; на множественности оснований для организации единиц лексикона и на необходимости учета специфики организации субъективного лексикона при разработке семантической теории <...>. Можно полагать, что исследования такого рода в значительной мере подготовили то, что позже стало квалифицироваться как когнитивный подход к проблеме ментального лексикона. <...>

По мере развития идей трансформационной порождающей грамматики Н. Хомского лексикон стал рассматриваться частью исследователей как компонент порождающей модели языка, выполняющий подсобную роль по отношению к грамматике. В качестве примера можно назвать подготовленное в русле такого подхода диссертационное исследование Р. Либер <...>, где ставилась цель разработать с позиций порождающей грамматики теорию словообразования, способную дать единое объяснение разнообразным случаям словообразования и словоизменения через описание *формальных механизмов* соответствующих процессов. При этом за основу было взято определение слова как значимой единицы, которую можно выделить в синтаксической цепочке, при трактовке лексикона как перечня всех не поддающихся дальнейшему членению конечных элементов, к которым применяются морфолексические правила.

Следует отметить, что первоначально в теории Н. Хомского такой компонент вообще не выделялся. Включение лексикона в общую структуру базового компонента порождающей грамматики имело место в книге [Chomsky 1965]. Можно, однако, согласиться с мнением А. Вежицкой относительно того, что хотя в последних версиях хомскианской лингвистики не запрещается упоминать о значении, это не меняет ее фундаментальной асемантической ориентации <...>.

Определение лексикона как словаря значимых элементов языка, входящего в базовый компонент грамматики [Slobin 1971], или как компонента грамматики, включающего всю фонологическую, морфологическую, семантическую и синтаксическую информацию, т.е. все, что говорящие знают об отдельных словах и морфемах <...>, оказалось очень устойчивым и фигурирует во многих публикациях.

Весьма симптоматичным для изменения трактовки роли лексикона и его соотношения с грамматикой представляется появление работы Ч. Осгуда [Osgood 1980], которую он назвал «Abstract Performance Grammar» (возможно, в данном случае можно говорить об «абстрактной грамматике *речепроизводства*» <...>). В названной работе лексикону уделяется особое внимание. Подчеркнув неправомочность отождествления лингвистических научных построений («грамматик компетенции») с «глубинной ментальной грамматикой», Ч. Осгуд оперирует понятием **глубинной когнитивной системы**, которая трактуется как высокоструктурированная система переработки семантической информации, *семантическая по своей природе и вовлекающая синтаксис лишь при переходах между этой структурированной семантической системой и поверхностными формами продуцируемых и получаемых предложений*. При этом подчеркивается, что наиболее «естественные» когнитивные структуры складываются в доязыковом познании, поэтому легче перерабатываются предложения, соответствующие таким структурам; глубинная когнитивная система является общей для переработки языковой и неязыковой (перцептивной) информации при взаимодействии обоих каналов не только у детей, но и у взрослых; познание и (как следствие) коммуникация направляются не только и не столько логическими (денотативными), сколько психологическими (аффективными) основополагающими движущими силами; понимание и продуцирование предложений в обычной коммуникации всегда зависят от контекста и испытывают вероятностное воздействие языковых и неязыковых факторов, а для экстрагирования того, что является универсальным в коммуникативном поведении людей, необходимо использовать межъязыковые и межкультурные сопоставления.

Лексикон рассматривается Ч. Осгудом как **один из важнейших механизмов когнитивной переработки информации**, связанный с уровнем репрезентации и отвечающий за перекодирование в двух направлениях: от воспринимаемых единиц — перцептов (перцептивных и языковых знаков) к значениям и от интенций к программе деятельности (языковой или иной). Ч. Осгуд уточняет, что лексикон — это скорее **процесс**, чем память хранения. То, что хранится в лексиконе, — это *очень большой набор связей между знаками (перцептами) и кодами семантических признаков*. Понятие признаков является важнейшим и для других связанных с лексиконом механизмов: оператора (процесса кратковременной памяти), буфера (механизма временного удержания информации) и памяти (механизма долговременного хранения семантической информации). **Семантические признаки** трактуются Ч. Осгудом как *медиационные (т.е. опосредствующие) компоненты, биполярные по своей природе и в общем случае имеющие переменную величину интенсивности между нулем (нейтральность, отсутствие некоторого признака в кодовой цепочке) и максимальным показателем на том или ином полюсе*. При этом подчеркивается **происхождение семантических признаков из опыта**, их формирование в качестве *наиболее обобщенного вида знания о мире* и **обязательность эмоционально-оценочного отношения** к носителям признаков (последнее выражается через биполярность признаков).

Многие из высказанных Ч. Осгудом положений удивительно созвучны тому, что стало популярным в последние годы, но увязывается с другими именами и подается как достижения когнитивной лингвистики или когнитивной психологии. <...>

Предположения о том, что многие синтаксические генерализации проистекают из значения слов, т.е. **синтаксис проецируется из лексикона**, стали все более настойчиво высказываться в 80-е годы. <...>

Необходимость пересмотра трактовки соотношения между грамматикой и лексиконом оказалась осознанной исследователями в разных областях науки. <...> лингвисты обнаружили, что полноценный анализ и синтаксиса, и семантики требует наличия некоторой модели лексикона; антропологи не могут описывать ту или иную культуру без рассмотрения словаря, используе-

мого носителями этой культуры; исследующие становление и использование языка психологи пришли к выводу, что организация лексикона составляет важнейшую часть рассматриваемого объекта; в то же время для разработки компьютерных систем, способных взаимодействовать с людьми, оказались необходимыми обширные лексиконы. Короче говоря, лингвистам, которые долгое время занимались синтаксисом и вслед за работой [Chomsky & Halle 1968] трактовали лексикон как попросту «удобное место» для хранения исключений из синтаксических правил, пришлось в конце концов признать ведущую роль лексикона и подчиненную роль синтаксиса <...>. Это обусловило разработку новых теоретических подходов к языку («лексических грамматик», в том числе лексической функциональной грамматики), акцентирующих внимание на лексиконе, на характере отношений (связей) между его единицами, на репрезентации знаний в семантических сетях.

Следует отметить, что пути таких подходов оказались разными, но в качестве двух генеральных направлений в исследованиях лексикона представляется возможным выделить, с одной стороны, более формализованное и теоретизированное, нацеленное на *постулирование* глубинных когнитивных структур с опорой на компьютерную метафору (даже если это не эксплицировано), а с другой — ориентированное на *выявление* специфичных для человека когнитивных структур (преимущественно через обращение к носителям языка) и механизмов функционирования таких структур (с переходом от компьютерной метафоры к учету особенностей устройства мозга человека, включенности индивида в социальное и коммуникативное взаимодействие).

Некоторые особенности первого из названных направлений прослеживаются в книге [Evens 1988] <...>. В фокусе внимания исследователей находятся отношения между единицами, которые подразделяются на отношения между словами (лексические отношения) и отношения между концептами (концептуальные или семантические отношения); поскольку слова и концепты трактуются как изначально переплетающиеся друг с другом, нередко используется термин «лексические семантические отношения». Разработка широкого круга вопросов, связанных с этим

подходом к лексикону, ведется с разными целями: чтобы заполнить «провал» или перекинуть «мостик» между лексикографией и теоретической лингвистикой <...>, построить обширную базу данных, объединяющую словарь и тезаурус <...>, представить с помощью графов семантические отношения в лексиконе <...>, построить лексико-семантические сети для моделирования культуры, для машинного перевода и т.д. Следует отметить, что хотя в некоторых работах декларируется стремление построить систему переработки естественного языка, книга в целом остается в русле весьма формализованного подхода, ориентированного прежде всего на машинное моделирование отношений между единицами лексикона при отсутствии единого понимания специфики такой «единицы».

Второе из названных выше генеральных направлений исследований все более явно прослеживается в психолингвистике и когнитивной психологии. <...>

При широком использовании термина «лексикон» в публикациях последних лет тем не менее фактически отсутствует единое толкование содержания соответствующего понятия. Употребляющие его авторы далеко не всегда конкретизируют свою трактовку лексикона. В случаях, когда это делается, чаще всего под лексиконом понимают индивидуальный словарный запас <...>, репрезентации слов в долговременной памяти человека <...> или хранилище слов в памяти человека, память слов и т.п. без расшифровки того, что именно представляют собой *слово в языковом / речевом механизме индивида*. Нередко за использованием этого изначально психолингвистического термина скрывается традиционное толкование слова как единицы лексико-семантической системы языка, т.е. имеет место то, что Л.В. Щерба называл недопустимой подменой понятий. Иначе говоря, некоторые авторы (явно или по умолчанию) приравнивают ментальный лексикон к известной индивиду части общенационального словарного запаса, хранимой в памяти в таком же (или близком к этому) виде, в каком слова описываются в печатных словарях и лексикографических исследованиях. Имеет также место явно связанная с исследованиями в области искусственного интеллекта тенденция приравнивать ментальный лексикон к семантической памяти.

Так, Д. Кэрролл <...> рассматривает структуру внутреннего лексикона (его организацию) с точки зрения динамики моделей семантической памяти. **Сетевые модели** исходят из того, что наша память формирует систему взаимосвязанных элементов. Сеть носит характер иерархии, если некоторые элементы сети находятся выше или ниже других элементов сети, что отвечает принципу когнитивной экономии, поскольку признается, что информация «записывается» для хранения только один раз. **Модели семантических признаков** репрезентируют слова как наборы семантических признаков с разграничением определительных и характерных признаков. **Модели распространяющейся активации** признают, что слова репрезентированы в лексиконе через сеть отношений, но эта организация не является строго иерархичной. В противоположность этому, она ближе к сети взаимосвязанных узлов, а расстояние между узлами детерминировано и структурными характеристиками (категориальными отношениями) и функциональными соображениями (типичностью и степенью ассоциативной близости различных концептов). Таким образом, эта модель инкорпорирует некоторые аспекты предшествующих моделей: остается идея хранения концептов в их взаимосвязях, но представление о равнозначности таких связей пересмотрено в сторону признания того, что некоторые узлы более доступны, чем другие, и что степень доступности узлов в сети определяется такими факторами, как частотность использования и типичность. Модифицирован и принцип когнитивной экономии: согласно сильной версии, информация записывается в памяти только один раз; слабая версия говорит только то, что информация не хранится во всех местах, где она может быть приложима. Пересмотрен и характер процесса извлечения семантической информации: речь идет о распространяющейся активации, которая начинается с одного узла и распространяется далее параллельно по цепи, при этом скорее активируются узлы, более тесно связанные с исходным, чем отдаленные. Д. Кэрролл делает вывод, что более ранние подходы имели тенденцию фокусироваться на информации о принадлежности к категории, а более поздние модели признают необходимость учета типичности информации, чтобы обеспечить психологически реалистичный подход к лексикону.

В психолингвистике, когнитивной психологии, когнитивной лингвистике, исследованиях в области искусственного интеллекта и машинного моделирования познавательных процессов обострение интереса к слову сделало актуальным обсуждение различных аспектов того, что понимается под ментальным лексиконом, а это потребовало формулирования общего определения понятия «лексикон». Такие определения являются более или менее полными в зависимости от того, для какой цели они предназначаются и какие аспекты ментального лексикона при этом учитываются. Следует отметить, что даже при сходной целенаправленности исследований определения ментального лексикона могут различаться.

Попытка отобразить наиболее общее толкование ментального лексикона с позиций когнитивного подхода сделана в [Кубрякова и др. 1996]: речь идет о *системе, отражающей в языковой способности знания о словах и эквивалентных им единицах и выполняющей сложные функции, связанные как со словами, так и со стоящими за ними структурами репрезентации энциклопедических знаний*. Это определение может по-разному пониматься в зависимости от того, как решается ряд непосредственно связанных с проблемой лексикона вопросов, к числу которых прежде всего относятся следующие: а) что понимается под «знанием о словах»; б) какие именно функции выполняет слово как единица лексикона; в) как соотносятся знание о словах и энциклопедическое знание; г) как организован ментальный лексикон; д) каким образом осуществляется доступ к единицам лексикона и т.д. <...>

Проблему первостепенной значимости составляет характер единиц, которые хранятся в лексиконе, что предопределяет трактовку лексикона как такового (его компонентов и особенностей их организации). Можно выделить два основных подхода к этой проблеме, один из которых в разных вариациях следует за традиционным разграничением форм и значений слов в составе *лексемы*, адаптируя его к современному уровню научных представлений о функционировании языка у индивида, а второй оперирует более абстрактным понятием *леммы*.

Примером первого из названных подходов может служить трактовка лексикона в книге [Garman 1990]. М. Гарман исходит

из того, что для говорящего или пишущего доступ к хранимым в памяти «словам» означает картирование идей с помощью имеющихся в ментальном лексиконе репрезентаций значений, ассоциирующихся со словоформами, которые далее могут быть использованными в говорении или письме. Для слушающего или читающего основная задача состоит в том, чтобы картировать языковые сигналы на следах в ментальном лексиконе, активация которых в свою очередь будет стимулировать ассоциированные с ними репрезентации значений, что послужит началом понимания. При восприятии слышимого сигнала потенциальные «ключи» могут служить основанием для вычленения сегментов разных размеров, которые могут пересекаться.

М. Гарман трактует лексикон как состоящий из двух компонентов — хранимых значений слов и хранимых форм слов при наличии путей доступа, обеспечивающих связи между этими компонентами и между ними и другими элементами в иерархии переработки. При этом ставится ряд вопросов, из которых наиболее важны: 1) хранятся ли формы слов в настолько абстрагированной форме, что стираются различия между письмом, говорением, чтением и слушанием; 2) являются ли значения слов репрезентированными в ментальном лексиконе через строго семантические единицы или учитываются и более общие когнитивные характеристики.

При обсуждении первого из этих вопросов М. Гарман указывает на очевидность преимуществ единой (модально-нейтральной) формы слова в лексиконе: в таком случае легче идентифицировать любую лексическую единицу. Однако это требует наличия правил, например, для выведения письменной формы слова из фонологически установленной единицы. Если же в лексиконе имеются модально-специфичные формы слов для каждой единицы, то преимущества состоят в согласованности с системами восприятия и продуцирования речи, а потери связаны с необходимостью дополнительного пространства хранения в лексиконе. Различия в переработке разных сигналов трактуются автором как свидетельствующие о существовании модально-специфичных компонентов лексикона (т.е. предназначенных либо для слухового, либо для зрительного восприятия).

Ответ на второй вопрос представляется М. Гарману решающим для трактовки лексикона, поскольку фактически требуется признать, состоит ли лексикон из компонентов значения, которые находятся в системных отношениях со словоформами, или он включает именно хранимые формы слов, которые напрямую картируются на общей базе знаний, не являющейся частью лексикона как такового. Сам М. Гарман принимает компромиссную точку зрения, допускающую наличие в лексиконе репрезентаций значений слов наряду со словоформами и в то же время признающую существование разнообразных связей и отношений между значениями слов и общим знанием.

Следует отметить, что М. Гарман при разработке модели ментального лексикона пытается дать ответы на многие спорные вопросы, так или иначе затрагиваемые разными авторами.

В модели М. Гармана наряду со всем, что включено непосредственно в лексикон, предусмотрен также выход за пределы лексикона в область, которую он называет **системой содержания**. Автор поясняет, что таким образом репрезентирована трудная для исследования область, включающая все релевантное для переработки языка с опорой на слово; сюда относятся грамматическое знание, языковая семантика, знание о мире, идиосинкретичные ассоциации — все связанное с познанием у человека, что несомненно предполагает психолингвистическую трактовку лексикона, но также и выходит за его пределы. В качестве медиаторов, опосредствующих доступ к системе содержания, выступают не только фонологические и орфографические формы слов, но и другие пути входа и выхода, в том числе предусматривается, что мы можем, например, увидеть картинку цветка (визуальный нелексический вход) и назвать ее (лексико-артикуляторный выход) или услышать название (слуховой лексический вход) и попытаться нарисовать объект (ручной нелексический выход); автор указывает, что такие нелексические пути входа и выхода могут играть определенную роль в контекстуальной интеграции при лексическом доступе.

В отношении компонентов форм слов признается, что ментальная репрезентация звучания слова отделена от его написания, и между ними существуют более или менее сложные взаи-

моотношения: в долговременной памяти могут иметься отдельные репрезентации для графических форм слов, противопоставляемых фонологическим формам тех же слов. Первыми усваиваются фонологические формы слов, по меньшей мере для той части лексикона, которая усваивается до овладения письмом. Отсюда следует, что начальные шаги в овладении чтением и письмом могут опосредоваться уже имеющимися фонологическими формами слов, но далее обособляются самостоятельные, хотя и связанные с исходными, письменные формы слов (организованные как структуры букв). Более того, необходимо разграничить понятие «то, как звучит слово» на две составляющих: «то, на что похоже его звучание» (слуховое восприятие) и «как его озвучить» (артикуляторный моторный выход); это же касается «того, как читается слово» (зрительное восприятие) и «как пишется слово» (ручной моторный выход).

Второй из названных выше подходов к трактовке специфики единиц лексикона обычно увязывают с книгой Виллема Левелта «Speaking: From Intention to Articulation», первое издание которой вышло в 1989 году <...>. В. Левелт полагает, что ментальный лексикон играет центральную роль в продуцировании речи; это хранилище информации декларативного типа о словах некоторого языка, откуда извлекаются лексические единицы, требующиеся для выражения определенного значения, которое отвечает интенциям говорящего. В. Левелт уточняет, что с позиций продуцирования речи значение единицы лексикона представляет собой перечень концептуальных условий, которые должны быть удовлетворены, чтобы некоторая единица была выбрана для соответствующего сообщения. Лексическая единица содержит также синтаксическую, морфологическую и фонологическую информацию, однако имеются основания предполагать, что говорящие конструируют «схему» высказывания, не обращаясь к фонологическому аспекту слова. Нефонологическую часть лексической информации, используемую для конструирования такой схемы с учетом синтаксического окружения слова, автор называет **леммой**. <...> Рассматривая структуру лексической единицы в ментальном лексиконе, В. Левелт условно изображает ее в виде круга, разделенного на четыре равных сектора, соответствующ-

ших значению, синтаксису, морфологии и фонологии, после чего предлагается еще один рисунок, на котором верхняя и нижняя половины круга представлены отдельно и соединены стрелкой-указателем; верхняя часть поделенного таким образом круга включает значение и синтаксис, а нижняя — морфологию и фонологию; именно верхняя часть такого рисунка отображает лемму. Лемма содержит информацию, связанную с концептуальной спецификацией условий для пользования ею (включая прагматические и стилистические условия), и разнообразные морфосинтаксические характеристики (в том числе принадлежность леммы к некоторой синтаксической категории, вытекающие отсюда грамматические функции, отношения между этими функциями и концептуальными переменными или тематическими ролями в концептуальной структуре). Лемма включает также переменные типа «лицо», «число», «аспект» и т.д.

Теоретические представления о структуре лексической единицы В. Левелт распространяет на ментальный лексикон в целом, полагая, что можно говорить о «лексиконе лемм» и о «лексиконе морфо-фонологических форм». Каждая лемма указывает на соответствующую ей форму, т.е. отсылает к адресу, по которому эта форма хранится. При этом единицы ментального лексикона не являются «островами»: лексикон имеет внутреннюю структуру с разнообразными связями между его единицами и внутри единиц <...>. Между единицами лексикона существуют отношения двух видов: присущие самим единицам и ассоциативные. Первые из названных отношений устанавливаются по каждому из четырех увязываемых с лексической единицей списков признаков (т.е. на основании значения, синтаксиса, морфологии, фонологии). По линии значения В. Левелт перечисляет связи между словом и его суперординатой (например, *собака* и *животное*), между координированными членами (*собака* и *кошка*), близкими по значению словами и т.д., наборы связанных по значению единиц объединяются в семантические поля. Отношения, присущие единицам лексикона как таковым, В. Левелт подразделяет на прямые и опосредованные. Он полагает также, что ассоциативные отношения между единицами лексикона не обязательно связаны с их значениями и скорее устанавливаются через

частотность встречаемости при пользовании языком. В работе <...> приводится рисунок, на котором разграничиваются три уровня лексикона: концептуальный уровень, уровень лемм и уровень лексем или звуков.

Приведенные представления об особенностях ментального лексикона связаны у М. Гармана с процессами понимания речи, а у В. Левелта — с процессами продуцирования речи. В работах [Taylor 1995] предпринято сопоставление двух концепций значений слова, которые по-разному выводят на общую картину структуры ментального лексикона: Р. Лэнэкер интегрирует в лексикон энциклопедическое знание, а М. Бирвиш настаивает на необходимости четкого разграничения чисто языкового уровня значений и неязыкового уровня концептуальной репрезентации, обосновывая это тем, что (1) смешение языкового семантического знания с концептуальным знанием приведет к некорректным прогнозам относительно соотношения между концептуализациями и семантическими структурами; (2) индивид может иметь различные виды знаний, не связанные с семантической системой его языка, в то же время некоторые высказывания допускают интерпретации, которые не являются частью чисто языкового значения; (3) разграничение семантического и концептуального ведет к большей экономичности ментального лексикона, помогает избежать излишней полисемии.

Разграничение этих уровней тесно связано с понятием модульности, согласно которому языковое знание индивида составляет отдельный ментальный модуль, независимый от других навыков и знаний. Принятие такой трактовки языковой компетенции требует постулирования некоторого «мостика», или интерфейса, связывающего языковую систему с концептуальной системой. Именно эту функцию выполняет семантический уровень: семантическая единица, соответствующая некоторой лексической единице, имеет два направления связей — в сторону концептуальной системы и в сторону лексической системы; таким образом обеспечиваются спецификации, разрешающие синтагматические отношения с другими единицами, и спецификации, которые дают возможность через слово идентифицировать единицы концептуального уровня.

<...> Авторы публикации [Fillmore & Atkins 1992] полагают, что значение слова может быть понято только через обращение к структурированному фоновому знанию, основывающемуся на опыте и убеждениях, которые составляют определенный вид предварительных условий, или предпосылок, для понимания значения. Значение слова понимает только тот, кто понимает лежащие за словом фреймы, мотивирующие понятие, которое кодируется словом. С позиций этого подхода слова и смыслы слов связаны друг с другом не прямо, т.е. слово со словом, а только через их связи с общими фреймами при наличии указания на способ, которым их значения освещают определенные элементы таких фреймов.

Ч. Филлмор и Б. Аткинс ставят своей задачей разработку в далеком будущем базирующегося на фреймах словаря для компьютерного использования с возможностью обращения к множеству «окон». Вызов нужного слова послужит ключом для появления окна, в котором будут показаны отношения между лексическими значениями и специфическими лексико-синтаксическими моделями. Каждая из таких моделей будет иметь компоненты с индексами, указывающими на определенную часть речи или на некоторые аспекты ассоциированного фрейма. <...> Каждое описание будет сопровождаться возможностью для пользователя обратиться к описаниям ассоциированных концептуальных фреймов через использование дополнительных окон.

На фоне ведущихся в последние десятилетия общенаучных дискуссий понятно стремление исследователей лексикона высказать свое мнение по поводу того, является ли лексикон отдельным «модулем», включающим только языковое знание. Представление о модульном характере лексикона вытекает из трактовки языковой компетенции как самостоятельной составляющей интеллектуального багажа человека. <...> Представляется интересным более подробно остановиться на публикации, в которой проблема модульности обсуждается параллельно с вопросами и наличии различных «входов» в лексикон, о характере соотношения между языковыми и энциклопедическими знаниями и т.д.

Моника Шварц [Schwarz 1995] отмечает, что результаты текущих исследований в области понимания слов и нейропсихологические данные, полученные от пациентов с афазиями, указы-

вают на то, что семантическая память не может быть полностью ограничена от других систем знания.

Модуль — это относительно автономная область знания для переработки специфического типа информации с ограниченным доступом к другим типам информации. По мнению М. Шварц, похоже, что в нашей познавательной системе имеются такие модули, как зрительное восприятие и синтаксис, которые являются отдельными автономными системами знания и переработки, относительно независимыми от контекстуальной информации, привязанные к определенным отделам мозга. Однако вопрос состоит в том, свойственно ли это семантической части ментального лексикона. М. Шварц отмечает, что имеются свидетельства (особенно из афазиологии), поддерживающие идею общей модульной организации: одна ментальная способность может быть нарушена, в то время как другая продолжает нормально функционировать. Язык трактуется как автономная система, управляемая специфическими языковыми принципами. Но концепция модульности ставится под сомнение учеными, ведущими исследования с холистических позиций <...>. Холистический подход утверждает, что естественный язык представляет собой открытую когнитивную систему, взаимодействующую с общими ментальными способностями. Если принять во внимание нейронную архитектуру мозга человека, то наличие огромного количества единых паттернов и множества взаимосвязей, на первый взгляд, делает идею модульности неподходящей, по меньшей мере на нейрофизиологическом уровне. Как подчеркивает М. Шварц, рассмотрение мозга в качестве физического субстрата познания вовсе не обязательно означает, что ментальное поведение может быть редуцировано до нейронных механизмов или может быть объяснимо в биологических терминах. **На ментальном уровне проявляются характеристики, которые не наблюдаются на нейрофизиологическом уровне.** В случае соотношения «мозг — сознание» имеют место не простое сочетание микро- и макроуровней, а значительно более сложное соотношение между подуровнями, различными слоями структурной репрезентации. Взаимосвязанность на нейронном уровне не исключает модульность на ментальном уровне. Текущие исследования организации мозга

человека поддерживают теорию относительно независимых когнитивных подсистем.

М. Шварц считает вполне очевидным, что семантическое знание репрезентировано и расположено в мозге человека значительно более диффузно, чем структуры формального знания. Она также высказывает мнение о тесной взаимосвязи семантического знания и концептуального знания, однако не считает их идентичными. Семантическое знание привязано к фонологической репрезентации и к синтаксической структуре, подчиняясь принципам специфичности языка. Отсюда **семантическое знание — это модально-специфичный подраздел концептуального знания, с помощью которого лексикализуются специфические части концептуальной информации**. Поэтому встречаются различные лексикализации концептуальных единиц в разных языках.

С опорой на результаты исследований в области афазий и экспериментов в норме речи, а также с учетом описания семантической памяти как огромной сети и принципа распространяющейся активации М. Шварц считает вполне очевидным, что доступ к информации в семантической памяти может быть осуществлен через различные входные каналы. Поскольку можно добраться до лексических вхождений через визуальный и тактильный входы, должны иметься динамические связи (или пути переработки) между узлами в сети слов (для конкретных референтов) и другими репрезентациями знания. Лексический доступ семантических единиц не ограничен вербальным входом. Отсюда следует, что семантическая часть ментального лексикона не является информационно инкапсулированным и недоступным для контактов модулем; это система знания, соединенная с другими областями когнитивной переработки. В этом отношении семантическая память — не непроницаемый модуль, а скорее **некоторый вид полумодуля**. В первом приближении полумодуль может быть описан как некоторая область когнитивной переработки, функционально обособленная как специфическая подсистема, но в то же время доступная для входов со стороны различных систем знания. Наиболее эффективным входом для операций на уровне семантической памяти М. Шварц считает вербальный вход (это положение требует экспериментальной проверки).

В связи с проблемой структуры лексикона активно обсуждается вопрос о том, имеется ли в лексиконе специальный «отсек», необходимый для функционирования морфологически сложных слов <...>.

При установлении того, какие связи и отношения между единицами лексикона являются наиболее характерными, наблюдается определенный сдвиг акцентов. Так, Дж. Эйчисон [Aitchison 1996] отмечает, что традиционно имеет место тенденция отводить большое место связям между гипонимами и суперординатами (например, цветообозначения подводятся под ярлык «цвет»). Однако для ментального лексикона суперординаты не так уж важны за исключением отдельных четко очерченных случаев. Чаще координированные члены (когипонимы), а не суперординаты используются в качестве отсылки к категории: люди говорят скорее о «братьях и сестрах», чем о «детях одних родителей», о «дожде и снеге», чем о «выпадении осадков», и т.д. Наиболее важными для ментального лексикона автору представляются коллокационные связи (т.е. устойчивые словосочетания) и связи между координированными членами (когипонимами). К тому же исследования связей между словами показывают, что говорящие на родном языке помнят лексические единицы в контекстах, в тематических группах. Отсюда следует, что слова не настолько взаимозаменяемы, как это принято считать. <...>

Е.С. Кубрякова

**О МЕНТАЛЬНОМ ЛЕКСИКОНЕ:
ЛЕКСИКОН КАК КОМПОНЕНТ ЯЗЫКОВОЙ
СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА**

(Кубрякова Е.С. Язык и знание. М., 2004)

Подчеркивая особую значимость когнитивного подхода в лингвистике, мы бы хотели отметить, что он позволяет подойти по-новому не только к определению языка — он ставится в один ряд с такими когнитивными способностями, как восприятие, внимание, память и т.п., — но и рассмотреть в этом свете по-новому

главные черты его устройства и организации, а следовательно, дать более адекватную интерпретацию составным частям системы языка и их соотношению. По существующей традиции систему языка делят на лексику и грамматику, да и описание языка строят как противопоставляющее словарь синтаксису и морфологии. Сегодня, однако, надо пересмотреть наши взгляды на природу и функции лексикона, отстаивая не столько мнение о его противопоставленности грамматике, сколько, напротив, идеи их органичной связи, «перетекания» одного в другое и, конечно же, известной условности границ между ними.

Правильность или, по крайней мере, правомочность такой точки зрения на соотношение лексикона и грамматики становится особенно ясной при обращении к проблеме языковых способностей человека, при изучении речевой деятельности говорящих, при исследовании языковой личности как обладающей сведениями о языке, необходимыми для осуществления нормальной речевой деятельности по порождению и восприятию речи. Язык — это то, что дано в качестве особых способностей его носителю, это определенный объем ресурсов и средств, служащих проведению речевой деятельности, это то, что обеспечивает целую совокупность процессов, так или иначе связанных с вербализованными знаниями, — это не только порождение и восприятие речи, это и чтение, и письмо, и перевод, и некоторые другие разновидности деятельности. Именно в связи с этим и возникают вопросы о том, что представляют собой вербализованные знания, знания о языке и знания языка, в каком виде существуют эти знания в голове человека, как упорядочены и стратифицированы эти знания и каковы принципы этого распределения. Ответы на эти вопросы возможны только при условии выхода за пределы самой лингвистики и подключения ее к новой парадигме научного знания, именуемой когнитивной наукой и носящей ярко выраженный междисциплинарный характер. И, действительно, если структурные характеристики языка обусловлены такими факторами, как биологическое строение человека, особенности восприятия им мира, устройством его памяти и т.д. — а это, несомненно, так <...>, то представить эти характеристики силами одной лингвистики и невозможно.

Подобная постановка проблемы явно связана с переносом внимания с одних вопросов на другие: как указывает Н. Хомский, лингвистика очень долго занималась «внешним», «экстериоризованным» языком, — наступило время заняться языком «внутренним», «интериоризованным», языком внутри нас <...>. <...> для описания интериоризованного языкового опыта используются два разных термина — языковая способность и внутренний лексикон, и хотя оба они покрывают представления о том, как отражен в голове человека «внешний» язык, два этих термина лучше разграничивать. Один относится прежде всего к характеристике того, что умеет делать человек с имеющимися в его распоряжении данными о языке, в ходе каких процессов человек приобретает эти знания и как он их использует. Термин же «внутренний лексикон» относится, на наш взгляд, к той аналоговой системе, которая представляет собой вместилище всех сведений о языке и которая предназначена для того, чтобы хранить, упорядочивать и обрабатывать сведения о языке, почерпнутые из опыта или, возможно, врожденные. По сути своей лексикон — это неотъемлемая часть человеческой памяти, имеющая вербализованный характер или прошедшая вербальную форму, то есть так или иначе связанная с обработкой информации в вербальной форме. Устройство внутреннего лексикона определяется, таким образом, тем, что, с одной стороны, это своеобразный аналог системы лексики определенного национального языка, а с другой — часть общей организации человеческого мозга, его интеллекта, часть общего пространства памяти человека.

В предыдущей главе мы подробно рассмотрели определение памяти и ее главных функций, останавливаясь прежде всего на вопросах о ее **организации**. В настоящей главе <...> меняется фокус внимания: здесь в основном освещается та часть памяти, которая определяется знаниями о языке и его единицах, и возникает вопрос о том, четко ли выделена эта составляющая в памяти как таковой. Неопределенность ответа на этот вопрос нередко приводила исследователей к тому, что в качестве синонимов термину «память» использовалось и понятие **концептуальной системы**, и понятие внутреннего, или **ментального лексикона**, и, наконец, понятие **информационного тезауруса** человека и т.п. Но, на

наш взгляд, все эти понятия следует различать. Хотя все они реализуют в общем одну и ту же идею — идею того, чем владеет человек «внутри себя», — члены категории объединены, действительно, «фамильным сходством» и сопоставимы попарно.

Ближе всего стоят друг к другу понятия памяти и информационного тезауруса человека, и если первое характеризуется как полный набор воспоминаний о всех чувственных переживаниях и эпизодах человеческой жизни (это то, что он помнит, результат прошлого без дифференциации потока оставшихся впечатлений), то второе определяется скорее как источник информации, накопившейся в памяти, от опыта, оценок и знаний, которые можно использовать далее в разных структурах деятельности — не только в речи, но и в поведении. Все перечисленные образования динамичны, пополняются всю жизнь, но, может быть, и тезаурус и ментальный лексикон более «стационарны», ибо то, что «содержится» в них, более устойчиво и стабильно. Тезаурус охватывает единицы, **осознанные** нашим разумом, в известном смысле обработанные и входящие в сферу познанного, тогда как до попыток вспомнить что-либо и извлечь из памяти, трудно сказать, есть ли это что-то в глубинах сознания и удастся ли это вспомнить.

Труднее всего, по всей видимости, дать определение концептуальной системе, ибо она представляет собой некие смыслы, которыми оперирует и манипулирует человек в процессах речемыслительной деятельности как некими отдельными идеальными сущностями (концептами).

Как кажется, наиболее полное представление о сути этой системы дано в концепции Р.И. Павилёниса, согласно которому она — «непрерывно конструируемая система информации (мнений и знаний), которой располагает индивид о действительном и возможном мире» <...>. Здесь отражается познавательный опыт человека, но сам этот опыт не связан исключительно с языком: человек знакомится с миром до знакомства с языком, и уже на этой довербальной и невербальной стадии он не только знакомится с объектами, доступными непосредственному восприятию, но и **интерпретирует** увиденное и услышанное. Ориентируясь в мире, человек образует знания об объектах своего наблюдения, — при-

чем «он **идентифицирует** и соответственно **различает** определенные объекты еще до введения (усвоения) естественного языка» <...>. Соотношение выделенных концептов с языком весьма сложно, и «вообще искать изоморфизм между словесной формой и концептами нет смысла уже ввиду непрерывности строения концептуальной системы и дискретности языка» <...>. Подлинная роль языка в познании мира не сводится к порождению мысли — приписывание ему этой функции методологически несостоятельно <...>; не обязательно и его участие в этом процессе (мышлении); но как только оно происходит, существеннейшие изменения происходят и в самом этом процессе. Он принимает качественно новую форму не только потому, что складываются предпосылки коммуникации, но и потому, что «**манипулируя... вербальными символами**», человек получает возможность «**манипулировать концептами системы**» и строить **новые концептуальные структуры** <...>.

С помощью языка происходит, с одной стороны, **фиксация** концептов (благодаря чему части концептуальных систем становятся социально и конвенционально закрепленными системой знаков), а, с другой — их **построение** («в качестве меток на непрерывном пространстве смысла»).

Все эти, казалось бы, такие отвлеченные рассуждения имеют прямое отношение и к разграничению терминов, по необходимости входящих в научный аппарат теоретической лингвистики, и к дальнейшему обсуждению проблем о роли языка в познании мира, и, наконец, к рассматриваемому непосредственно в данном разделе вопросу о том, как отражаются разные типы знания в памяти человека вообще и в ментальном его лексиконе, в частности.

Итак, в концептуальной системе широко представлены концепты, относящиеся к мнениям и знаниям, установкам и оценкам, к пониманию **целей** познания и **способов** его получения, а также к желательности, необходимости или же возможности получения определенных сведений о мире и т.п. Концептуальная система богаче и разнообразнее, нежели то, что содержит семантическая система языка или же все средства обозначения в нем имеющиеся: взгляд на эту систему со стороны ученого как неко-

торую совокупность знаний, характеризующую по **объему** знаний и по **типам** этих знаний, рождает представление о **тезаурусе** (особенно подробно описана эта сторона человеческого сознания в работах А.А. Залевской и представителей тверской психолингвистической школы). Наконец, если память — «склад» всех тех образов, о которых можно вспомнить в отсутствии вызвавших их объектов, то ментальный лексикон — это совокупность знаний, группирующихся «вокруг» слова, и всех сведений, вытекающих из осознания его связей с другими словами и другими оперативными единицами сознания (концептами).

«Совокупность слов в словаре, — пишет П. Тагард, — называется **лексиконом**, поэтому совокупность слов или концептов, репрезентированных в сознании, называется **ментальным лексиконом**». Он организован иерархически, а помимо названных единиц в нем можно предположить отражение грамматических правил; выучивание языка означает овладение всей концептуальной системой, а она тесно связана со всеми уровнями языка, и представители когнитивной грамматики настаивают на отсутствии жесткого противопоставления лексики и грамматики <...>.

Возможно, что название, выбранное для обозначения всей системы хранения и использования знаний о языке, имеет условный характер. Ведь термины «лексика» и «лексикон» вызывают у нас представление о каких-то списках лексических единиц, а идея интериоризованного языка этим явно не исчерпывается — достаточно напомнить в этой связи о том, как много хранится в памяти готовых синтаксических конструкций, клише разного рода, развернутых фразеологических оборотов и т.д. И все же указанная условность тоже относительна — речь идет, действительно, о том, что во внутреннем нашем мире хранятся некие единицы, что они образуют своеобразный словарь и что описывать его легче всего именно идя «от слова», то есть группируя единицы «вокруг слова». Теорию внутреннего лексикона мы и строим, исходя из мысли о центральности слова для всей его организации, полагая, что весь комплекс сложных проблем, относящихся к устройству и объединению структур знания о языке внутри нас, можно распутать, рассуждая о природе слова и его статусе в системе языка.

Синонимичным обозначению «внутренний лексикон» является и название «ментальный лексикон», и для зарубежной лингвистики, пожалуй, более привычно именно второе обозначение. По словам Ф. Джонсон-Лэрда, его придумал Дж. Миллер, говоря о «ментальных словарях» как отличных от обычных наших (печатных) словарей и отметив, что первые могут содержать немало примитивных концептов, для которых нет привычных и простых обозначений; к тому же слова в этом ментальном словаре представляются связанными друг с другом, т.е. не стоящими по отдельности <...>.

Давая разъяснение термину «ментальный лексикон» как тому компоненту грамматики, в котором содержится вся информация — фонологическая, морфологическая, семантическая и синтаксическая, — которой говорящие владеют о словах и морфемах, К. Эммори и В. Фромкин подробно описывают те репрезентации, которые эта информация получает в головах говорящих. Таким образом, ментальный лексикон оказывается представленным разными типами репрезентации для каждой из его единиц, а потому он в целом носит модулярный характер (т.е. как бы разбитого по отдельным субкомпонентам, или модулям), что, по их мнению, более соответствует психолингвистическим экспериментам, нежели представления о том, что вся информация о слове хранится «при слове» <...>. Интересно, что, завершая свой обзор о моделях лексикона, они указывают, что хотя лексикон и содержит репрезентации лексического значения отдельных единиц, это совсем не означает включения в него знания о реальном мире (случаи агнозии свидетельствуют скорее о том, что сведения о лексических лингвистических знаниях и знаниях нелингвистических репрезентируются в мозгу человека «в разных местах» <...>).

При анализе ментального лексикона рассматриваются обычно его модели, дающие представление о том, как происходит доступ к слову <...>, а затем, как происходит его «извлечение» из памяти <...>; изучаются также все свойства слова по их ментальной репрезентации в голове человека, глобальная организация лексикона и т.п. <...> Интересно отметить, что уже Н.И. Жинкин подчеркивал важность при восприятии речи **образа** всего слова в

целом, указывая на ту ее стадию, когда люди «в интеграле разных признаков, принадлежащих вещам и образующих разные конфигурации», «находят образ». Для него лексикон — это прежде всего образы слов в памяти человека.

Если у Ю.Н. Караулова введенные им наряду с понятием лексикона понятия грамматикона и прагматикона <...> служат дифференциации типов языкового знания, используемое нами общее обозначение направлено скорее на то, чтобы подчеркнуть внутреннее единство всех знаний, глубокую органическую связь знаний разного рода и, наконец, совершенно особую роль слова для интеграции всех этих специфических типов знания, особенно лексического и грамматического.

Интересные мысли по этому поводу были высказаны в работах Н.И. Жинкина: при восприятии речи, отмечал ученый, «все действия по организации грамматической структуры были направлены к тому, чтобы открыть поле деятельности для лексики. Реальное значение, т.е. такое, которое может соответствовать действительности, образуется только в лексике». Несколько ниже он объясняет это тем, что при обработке речи необходима стадия, когда «происходит чудо — слова пропадают и вместо них возникает образ той действительности, которая отображается в содержании этих слов». «Это концепт, — утверждает Н.И. Жинкин, — отражение действительности» <...>.

Характеризуя «активизирующие» способности слова, его способность возбудить некие участки сознания или перевести эти участки в область текущего сознания, указывая на то, что слово может служить стимулом для развития целой цепочки реакций, говорят обычно о двух разных вещах: во-первых, о том, что слово может активизировать структуру сознания, более сложную, нежели отдельный концепт, например, фрейм <...>, или же, во-вторых, о том, что слово с его значениями выступает как представитель определенных семантических сетей. Хотя семантическая сеть как модель памяти описывается в виде включающей в качестве своих узлов определенные концепты, имена таким концептам не случайно даются определенными словами, их обозначающими. По мысли Р. Симмонса, такой узел представляет конвенциональное значение слова, а в концепт слова входит представление о

том, какой части речи оно принадлежит, в каких категориях способно использоваться и т.д.; Г. Скрэгг же отмечает, что концепт узла выступает как аналог некоторой сущности, о которой в сети хранится определенная информация <...>. Таким образом, уже и в этих теориях слово выступает как единица, вытягивающая в принципе не только собственную, связанную с лексическим значением слова информацию. Еще более радикально используется идея о том, что может активизировать слово в нашей концепции, где широкое применение находят также некоторые положения о взаимодействии лексики и грамматики в слове, развивавшиеся в отечественном языкознании, и принципы так называемого лексикалистского подхода к языку, развивавшиеся в связи с лексикалистской гипотезой начала 70-х годов, сформулированной впервые Н. Хомским.

В 80-х гг. эти мысли получают все более широкое признание и ложатся в основу нового направления в описании языка, получающего название лексических грамматик. В качестве базовых понятий в этих грамматиках выступает понятие лексических правил и лексикона как главных компонентов языковой способности говорящих, то есть ключевыми концептами для понимания интериоризованного языка становятся такие лексические единицы, как слова.

«Грамматика — это лексикон», — утверждает, например, в своей грамматической теории Ст. Староста [1998], и этот парадокс разъясняется им с помощью понятия лексических падежей: все грамматически релевантные свойства слова, в том числе его способность служить выражению падежей и/или организации падежных конструкций, при описании языка должны быть записаны при самом слове. В языковой же способности говорящих они «хранятся» при слове. Грамматика мыслится автором работы как собрание лексических единиц и сводится к их полному описанию путем указания при каждой единице ее категориальных и субкатегориальных характеристик, свойств ее сочетаемости и т.п. Граница между лексическими и грамматическими правилами при этом исчезает: правила отражают отношения между единицами или между признаками единиц. Предложения рассматриваются как последовательности слов, связанных между собой разными

типами связей — зависимостями, а это значит, что сам лексикон порождает правильно оформленные предложения; предложение же правильно тогда, когда каждое включаемое в него слово удовлетворяет условиям его правильнооформленности. Чтобы приблизить форму такого описания к привычному представлению о грамматике, надлежит только обобщить сведения об отношениях зависимости между определенными типами слов, об их ролевой специфике и инвентаре ролей, о маркировке этих падежей некими языковыми средствами, о категориальных и субкатегориальных свойствах слова и последствиях категоризации и субкатегоризации для сочетаемости и ограничений на сочетаемость, наконец, о том, как должен выглядеть при этом сам лексикон и как должна осуществляться полная паспортизация включенных в него единиц. Важно, что подобное представление грамматики является психологически достоверным, то есть соответствующим определенной психической реальности репрезентации языка и сведений о языке в мозгу говорящего.

Другой разновидностью лексической грамматики является словная грамматика Р. Хадсона, разработанная им в начале 80-х гг., а затем развитая в ряде недавних публикаций <...>. И здесь в основе грамматики, как показывает ее название, положено слово, все же грамматические отношения описываются как отношения зависимости между словами. В последнем варианте этой теории уже появляются такие новые понятия, как понятие наследования (производная единица наследует черты исходной для нее единицы, ее вершины), понятие отношений типа ISA (x is a...), заимствованных из компьютерной терминологии, наличия «вершины» у каждой из синтаксических конструкций и т.п. Интересно также отметить, что постулаты этой грамматики связываются в ее последней версии с когнитивной наукой, и согласно этому языковые знания считаются составляющими общих знаний человека. Именно поэтому они и наследуют иерархическую структуризацию знаний. Важно и то, что слово объявляется базовой когнитивной единицей и что весь синтаксис сводится к цепочкам слов. Наконец, существенно, что словная грамматика считается имеющей прямое отношение к семантике, в которой наличие границ между знанием языковым и знанием мира, между лексиконом и грамматикой и т.д. полностью отрицается <...>.

На то, что современные психологические когнитивные исследования более связаны с лексиконом, нежели с синтаксисом, указывают и такие замечательные когнитологи, как Дж. Миллер и Ф. Джонсон-Лэрд <...>. В воспоминаниях о Дж. Миллере красной нитью проходит мысль о том, что именно в его лаборатории рождались положения о лексиконе как окне в понимании того, как «упаковываются» концепты, а следовательно, о том, что его анализ будет играть все более и более важную роль в теориях синтаксиса <...>.

И, действительно, тезисы о центральной роли лексического компонента в языковой способности человека, о слове как базовой единице внутреннего лексикона находят самое доказательное подтверждение в когнитивной грамматике <...> и в тех направлениях отечественного языкознания, которые всегда признавали особое положение слова в лексике и грамматике и которые, по существу, подготавливали почву для быстрого признания и развития идей когнитологии у нас в стране.

В концепции В. Левельта лексикон выступает как посредник между замысливаемой внешней речью в ее концептуальной форме и ее дальнейшим порождением в том отношении, что именно выбираемая в этом процессе лексическая единица активизирует ту синтаксическую структуру, в которой она найдет свое место уже в определенной грамматической и фонологической реализации. Левельт подчеркивает основополагающую роль лексикона в порождении речи и этим объясняет необходимость в психолингвистике подробно описать внутреннюю структуру лексических единиц во внутреннем лексиконе и всю их организацию в этом образовании <...>. Полагая, что ментальный лексикон — это хранилище декларативного знания о словах определенного языка, он считает, что каждое слово оказывается здесь связанным с информацией четырех типов — о значении слова, о его фонологических, морфологических и синтаксических особенностях, а иногда также и о его прагматических, стилистических и даже экспрессивных характеристиках. Внутренняя структура лексикона определяется тем, что в качестве лексических единиц при одном слове учитываются и его формы, создаваемые системой флексий, зато дериваты одного слова создают отдельные «включения» в

лексиконе. Отношения же между словами могут создаваться по всем типам связанной с ними информации, т.е. по их семантике, фонологическим особенностям и т.п. Но слова могут быть связаны друг с другом и ассоциативными связями. В порождении речи особую роль играют семантические и синтаксические признаки слова, вместе взятые составляющие ту часть слова, которая называется леммой, и главной составляющей ментального лексикона является именно лемматическая <...>.

Существующие теории доступа к слову, т.е. выбора надлежащего слова для реализации намерений говорящего, а также разнообразные функции слова в речемыслительной деятельности человека получили подробное освещение в работах представителей Тверской школы психолингвистики, особенно А.А. Залевской и ее концепции слова в лексиконе человека <...>.

Предложенная А.А. Залевской спиралевидная модель восприятия слова очень важна и для понимания роли памяти в хранении знаний, и для понимания роли слова во внутреннем лексиконе. <...> Очевидно, что такой подход противопоставлен в известном смысле модулярному подходу к организации лексикона, о котором мы скажем ниже. Хотелось бы отметить важную для решения всех поставленных проблем внутреннего лексикона в Тверской школе идею категоризации (как лежащей в основе всей когнитивной деятельности человека) и ее значимости для психолингвистической трактовки феномена референции, «изучавшегося прежде преимущественно с чисто лингвистических позиций» <...>.

Если в работе В. Левельта основное внимание уделено роли ментального лексикона в порождении речи, а в работах школы А.А. Залевской — в ее восприятии, то В. Марслен-Вилсон подчеркивает, что ментальный лексикон — это центральная система обработки языка как таковая, т.е. ее значимость одинаково велика и для порождения, и для понимания речи, хотя участие слова и ментальных репрезентаций знаний о словах в указанных процессах и различаются <...>.

В когнитивной грамматике Р. Лангакра грамматика и лексикон рассматриваются как один континуум, в котором начальные позиции занимает именно лексикон. Весь язык описывается ис-

ключительно в терминах структур трех порядков — фонетических, семантических и символических <...>. Символические, т.е. знаковые, единицы объединяют некую фонетическую структуру с семантической, образуя предикации-слова. Семантические единицы могут быть установлены только по отношению к определенным участкам знания, по когнитивным сферам, которые выделяются как сферы концептуализации (классификации) мира. Вся категория значения приравнивается к результатам подобной концептуализации или осмысления окружающей нас действительности. Базовыми когнитивными сферами считаются пространство и время, цвет и форма и т.п. Для характеристики некоторых лексических единиц достаточно обращения к одной из этих когнитивных сфер: так, предлог *before* может быть понят относительно сферы времени, а прилагательное *red* — по отношению к сфере цвета. Но большинство языковых выражений демонстрирует более сложные формы концептуализации, и для их описания требуется соответственно обращение к более сложным участкам знания. «Любая деталь наших сведений о какой-либо сущности способна играть определенную роль в принципах организации лингвистического поведения того языкового выражения, которое служит обозначением этой сущности», — пишет Р. Лангакр. Жестких границ между энциклопедическим знанием и языковым значением не существует, а переходы между ними носят градуальный характер.

И лексика, и грамматика близки потому, что имеют дело с символическими структурами, а весь интериоризованный язык — это «структурированный инвентарь конвенциональных языковых единиц» <...>. В качестве единиц этой системы рассматриваются такие хорошо усвоенные и знакомые формы, которые говорящий может без труда вызволить из своей памяти как нечто целостное, готовое, «предсуществующее» речи. В то же время инвентарь таких единиц является структурированным, поскольку некоторые единицы могут выступать как части более сложных конструкций, складываемых по отработанным схемам, формулам. Не только лексика, но и грамматика может рассматриваться как инвентарь конструкций, детерминированных их составляющими и отношениями между ними. Но составляющие эти — простейшие кон-

венциональные символические структуры, начиная от морфем, слов и т.п. — даны в лексиконе, и знание языка начинается со знания этих единиц. Знание грамматики как бы задается в знании того, как надо оперировать простейшими единицами лексикона.

При таком подходе к лексикону вполне естественно возникает вопрос о том, а какие именно знания ассоциируются со словом или в других терминах — словом индуцируются? Этот вопрос можно сформулировать более развернуто и в следующем виде: что мы знаем, когда мы знаем то или иное слово? О чем может сигнализировать слово? Частичный ответ на поставленные вопросы содержится в психологической теории лексикона, разработанной Дж. Миллером и Ф. Джонсон-Лэрдом <...>. Подчеркивая, что комплекс знаний, связанных со знанием значения слова, очень сложен, они объясняют это тем, что в этот комплекс входят:

- сведения о том, чем может являться и чем не может являться объект, обозначенный данным словом; с какими другими объектами, явлениями, процессами, событиями и т.д. он сам связан;
- сведения о назначении и функциях объекта и той схеме ситуаций, в которую он может быть вовлечен; сведения о возможностях объекта;
- сведения о том, с какими другими словами в предложении может встречаться слово, передающее известное значение, и какие ограничения наложены на его сочетаемость и т.п.

Главный вывод, к которому приходят когнитологи в связи с обсуждением рассматриваемой проблемы, заключается в том, что «значение (слова) может вести вас ко всему тому, что вы знаете о величине, обозначенной данным словом» <...>, т.е. служить доступом к энциклопедической информации в долговременной памяти человека.

Оценивая сказанное психологами, нельзя не подчеркнуть, что их выводы — это выводы всей традиционной лингвистики, только сформулированные в более современной форме. Ведь к сегодняшнему дню не только традиционной, но и современной лингвистикой накоплен огромный опыт по изучению слова, а, следо-

вательно, подавляющее число свойств его строения, семантики, функционирования, статуса и т.п. хорошо известны.

<...> В слове отражены черты истории, оно относится одновременно и к реальному миру вещей, и к мышлению, и к другим единицам языка; в нем сочленены означающее и означаемое; оно демонстрирует одновременно и звуковую, и морфологическую, и семантическую структуру; оно является единицей двух систем — лексической и грамматической; оно участвует в акте коммуникации, вступая в межсловные отношения, и, возможно, в одно и то же время и «служит», и «знаменует» (обозначает, называет) и т.д.

Приводя эти соображения, я преследовала особую цель: выдвинуть тезис о том, что слово **может** активизировать сложнейшие структуры нашего мозга по **любой** из намеченных линий, т.е. индуцировать своим появлением (как во внешней, так и во внутренней речи) целые пакеты гетерохронной и гетерогенной информации. Такие сложнейшие феномены, как память слова, его способность служить источником звуковой символики (в том числе — рифмы), ассоциаций по значению и форме, его потенциальная возможность быть разложенным на более мелкие части и, напротив, послужить базой для формирования сложных комплексных комбинаций, — все это и многое другое разрешает выйти «через слово» к разнообразным структурам знаний, причем как к вербализованным, так и невербализованным.

Еще в ранних своих работах Р. Джекендофф писал о том, что «должны существовать такие уровни ментальных репрезентаций, на которых информация, передаваемая языком, сопоставима с информацией, полученной другими периферийными системами — зрением, слухом, запахом, моторикой. Если б не было таких уровней, нельзя было бы использовать язык для описания сенсорных ощущений. Точно так же, для того чтобы отразить факт способности людей выполнять приказы, нужен такой уровень, на котором лингвистическая информация совмещается с информацией, тут же передаваемой двигательной системе» <...>. Но как мы делаем это? Значимость лексикона заключается поэтому не только в том, что в памяти человека хранятся самые различные по своей форме и содержанию единицы, обеспечивающие в своей комби-

наторике нормальную речевую деятельность, но и в том, что среди этих единиц фигурирует такая удивительная и всемогущая единица, как слово.

- ✓ **Задание.** Проанализируйте материалы любой из приведенных ранее статей «Русского ассоциативного словаря» или «Словаря ассоциативных норм русского языка» с точки зрения отражения в них принципов организации внутреннего лексикона «среднего» носителя русского языка. Попытайтесь объяснить характер связей в каждой из пар «стимул — реакция», составляющих ассоциативное поле слова. Какие типы связей между словами преобладают? Свидетельством преобладания каких отношений это может являться с вашей точки зрения? Какая из рассматриваемых концепций организации ментального лексикона кажется вам теперь наиболее убедительной?

Дополнительная литература

- *Ахутина Т.В.* Организация словаря человека по данным афазии // Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. Калинин, 1981.
- *Жинкин Н.И.* Речь как проводник информации. М., 1982.
- *Залевская А.А.* Вопросы организации внутреннего лексикона человека в лингвистических и психолингвистических исследованиях: Учебное пособие. Калинин, 1978.
- *Залевская А.А.* Слово в лексиконе человека: психолингвистическое исследование. Воронеж, 1990.
- *Залевская А.А.* Самоорганизующиеся сети связей в индивидуальном лексиконе // Психолингвистические исследования слова и текста. Тверь, 2001.
- *Кубрякова Е.С.* Обеспечение речевой деятельности и проблема внутреннего лексикона // Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. М., 1991.
- *Леонтьев А.А.* Слово в речевой деятельности: Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности. М., 1965.
- *Лурия А.Р.* Язык и сознание. М., 1979.
- *Павиленис Р.И.* Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. М., 1983.
- *Ушакова Т.Н.* Речь: истоки и принципы развития. М., 2004.

ПРОБЛЕМЫ ПОРОЖДЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ



Вопросы, выносимые на обсуждение

- В чем состоит специфика процессов продуцирования речи? Какие существуют источники информации о ходе этого процесса?
- Как выглядят модели речепорождения, предлагаемые в лингвистических и психолингвистических исследованиях? Определите специфику каждого из выделяемых этапов и уровней процесса продуцирования речи.
- Как авторами разрабатываемых моделей решается проблема соотношения мыслительного процесса и процесса продуцирования речи? Что понимается под *речемыслительным* процессом?
- На каком из этапов процесса речепроизводства происходит переход от «внутреннего слова» к «внешнему слову»? В каком соотношении находятся эти единицы?
- На каких постулатах основана интегративная модель восприятия речи (В.Б. Касевич и др.)? Обозначьте основные этапы перцептивного процесса и специфику каждого из них.
- Какова роль слова и словаря в перцептивных процессах? Какой смысл вкладывается авторами рассматриваемой теории в понятие «перцептивный словарь»? В каком соотношении находятся ментальный лексикон индивидуума и перцептивный словарь?
- Какие методы используются в современных лингвистических и психолингвистических исследованиях процессов производства и восприятия речи?



Материал для обсуждения

В.Б. Касевич

СЕМАНТИКА. СИНТАКСИС. МОРФОЛОГИЯ

(М., 1988)

ГЛАВА V

Речевая деятельность

<...> Занимаясь вопросами речевой деятельности, невозможно не разграничивать две ее стороны: восприятие и порождение речи. Хотя общность соответствующих процессов несомненна, а еще более несомненна их теснейшая связь, — достаточно сказать, что говорящий слушает не только партнера при смене ролей, но и самого себя с целью самоконтроля, — специфичность речепорождения и речевосприятия требует их раздельного рассмотрения.

Порождение речи

2. В настоящем небольшом разделе будут сформулированы лишь некоторые положения, представляющиеся наиболее общезначимыми. <...>

Порождение речи есть переход «смысл → текст». Смысл, вслед за А.Н. Леонтьевым, мы понимаем как объект когнитивной природы, носящий личностный характер и, как таковой, действительный в полном объеме лишь для его носителя. Смысл принадлежит преимущественно образно-чувственной сфере и поэтому, строго говоря, он некоммуницируем. Смысл лежит за пределами дискурсивного мышления и за пределами языка.

Однако формирование смысла — еще не самый «глубокий» этап речепорождения. Соотношение «смысл — текст» встраивается в более широкую схему. Отправным пунктом выступает взаимодействие (потенциального) говорящего с действительностью, а конечным — воздействие того или иного рода на партнера по коммуникации. Взаимодействие с действительностью создает проблемную ситуацию, в самом широком смысле этого термина, причем такую, что для разрешения проблемы уместно, с точки зрения данного индивида, использовать речь в качестве един-

ственного или промежуточного инструмента. Воздействие проблемной ситуации, иначе говоря, выступает фактором мотивации, обуславливающим применение речи как средства, пригодного для выполнения некоторой задачи. Взаимодействие ситуации и индивида, принадлежащего к определенной культуре, порождает смысл.

Оговорка о принадлежности к определенной культуре важна. То, какой смысл будет порожден в каждом данном случае как реакция на ситуацию, определяется не только самой ситуацией, сугубо индивидуальными чертами данной личности, но и ее семиологическими установками, а последние зависят от типа культуры, носителем которой личность является. Поскольку культура не существует вне языка, этапы мотивации и порождения смысла, не принадлежа миру языка, опосредованно с ним все же связаны.

2.1. По-видимому, уже на уровне смысла, который мы назвали уровнем г л у б и н н о й с е м а н т и к и, должно выделяться то, о чем пойдет речь в «будущем» высказывании, и то, что будет сообщено о данном предмете. Приведенные формулировки, как можно видеть, совпадают с обычными определениями темы (субъекта) и ремы (предиката) <...>. Однако, коль скоро на уровне глубинной семантики мы имеем дело не с дискурсивным мышлением, а с такой психической деятельностью, по отношению к которой понятия субъекта и предиката просто неприменимы (ввиду общей аморфности когнитивных структур), то и говорить, вероятно, можно только о прототеме и протореме. Прототема и проторема — это «зародыши» темы и ремы, наметившиеся в общем диффузном образе, области первичного расслоения последнего.

«Седалищем» глубинной семантики служит, надо полагать, субдоминантное полушарие головного мозга. Именно оно контролирует психическую деятельность, в которой человек оперирует целостными образованиями, имеющими эмотивно-волевую природу и личностно, аффективно окрашенными.

Между тем, как показали данные В.Л. Деглина и Т.В. Черниговской, правое (субдоминантное) полушарие контролирует и тему как таковую, о которой принято говорить в лингвистичес-

ких работах в рамках теории актуального членения. Испытуемые с угнетением левого полушария в результате унилатерального электрошока, применяемого в качестве лечебной процедуры в психиатрической клинике, группировали предложенные им высказывания «по теме»: в одну группу при такой классификации попадали предложения с одинаковым первым словом вне зависимости от его семантической роли (в узком смысле) и синтаксической функции, например, *Петя избил Ваню*, *Петя избит Ваней*, *Петю избил Ваня*. Данные демонстрируют, что правое полушарие способно изолировать тему и, отсюда, что эта операция осуществляется в недрах глубинной семантики.

Можно предположить, что если первоначально на стадии глубинной семантики имеет место максимально аморфная своего рода «предсемантическая туманность» со «сгущениями» в виде прототемы и проторемы, то в дальнейшем происходит обособление последних, разрыв, если угодно, с образованием двух — соответствующих теме и реме.

Разумеется, метафоры такого рода не могут заменить точного описания соответствующих процессов. Но наши позитивные знания об этих процессах столь скудны, что на сегодняшний день приходится прибегать к языку, который сам ближе по своему семантическому наполнению и типу к продуктам работы субдоминантного полушария.

Тема и рема, обособившиеся на уровне глубинной семантики, — это еще не те одноименные категории, с которыми привыкла иметь дело лингвистика. <...> наличие темы и ремы предполагает существование двух отдельных пропозиций: *Петя избит Ваней* строится на базе пропозиций ‘Петя есть тема [моего сообщения]’ и ‘Ваня избил Петю’. Но пропозиционирование, судя по всему, — функция доминантного полушария. Чтобы «правополушарные» темы и ремы стали «левополушарными» — приобрели дискурсивно-языковой характер, — они и должны быть переданы доминантному полушарию, где осуществляется операция пропозиционирования. И порождение, и восприятие речи основаны, как можно думать, на диалоге полушарий. На разных уровнях речевой деятельности языковые (и, как только что говорилось, «предязыковые») сущности имеют двойное представи-

тельство: как целостные гештальты, в известной степени диффузные — в субдоминантном полушарии и как расчлененные, структурно организованные, с поэлементным строением — в доминантном.

Пропозиционирование, о котором шла речь выше, вероятно, не затрагивает одинаковым образом рему и тему, но сначала предлагается лишь к последней: тема обособляется в составе отдельной пропозиции с предикатом ‘является темой’ (‘есть тема’), а рема по-прежнему носит глобально-нерасчлененный характер. Первый этап ее расчленения — установление семантических ролей.

2.2. Как мы помним из изложения в главе «Семантический компонент языка», семантические роли — это принятые для данного языка типичные терминалы фреймов. Говорящий воспринимает ситуацию в терминах тех или иных фреймов, а это значит, что уже акт восприятия вызывает к жизни фреймы с их терминалами и, следовательно, потенциальными семантическими ролями. «Потенциальными» потому, что обычное сенсорное восприятие (зрительное, слуховое) оперирует неязыковыми фреймами, которые, однако, поддаются с известными потерями перекодированию в языковую форму.

Нужно, конечно, иметь в виду, что говорящий отнюдь не всегда (и даже не чаще всего) в своем высказывании вербально описывает непосредственно воспринимаемую ситуацию. Последняя выступает лишь одним из источников порождения смысла (причем она может быть отличной от той, которую говорящий воспринимает в момент продуцирования высказывания). Тем не менее, та или иная проблемная ситуация, актуальная или в данный момент не представленная, с необходимостью служит источником порождения смысла, «поставляя» материал для вычленения семантических ролей.

Семантические роли — набор основных персонажей, которые, «с точки зрения» данного языка, участвуют в разнообразных сценариях-ситуациях. Нерасчлененная рема — представление ситуации en bloc, когда не существует, в частности, отдельно состояния и отдельно — его носителя, а есть своего рода семантический (предсемантический) инкорпоративный комплекс: не

‘луна появилась’, а ‘луно-появилось’, не ‘сети ставят’ а ‘сете-ставят’.

В принципе название ситуации уже имплицитно включает в себя набор соответствующих аргументов, которые должны быть лишь конкретизированы. Обратная зависимость носит менее определенный характер: одни и те же аргументы могут соответствовать целому ряду ситуаций. Здесь же, в том предсемантическом инкорпоративном комплексе, о котором идет речь, представлены и ситуация и ее участники, но в нерасчлененном диффузном виде. Комплекс превращается в структуру именно за счет наложения на него набора семантических ролей, которые вытесняют одноименные им «встроенные» в комплекс «протороли»¹.

Как явствует из предыдущего, источником семантических ролей служат те проблемные ситуации, реакцией на которые выступает планируемое высказывание. Это — важное обстоятельство: семантические роли в конкретном процессе речепорождения появляются не «из вакуума» и даже не непосредственно из самой языковой системы, а представляют собой продукт наложения лингвистического (точнее, языкового) фрейма на неязыковой — перцептивный, когнитивный.

Вычленение семантических ролей превращает глобальную рему в пропозицию. Разумеется, это именно пропозиция с установленным отношением иерархичности на множестве аргументов — семантических ролей. Иерархия задана самим по себе набором семантических ролей, в котором ранг Агенса всегда выше ранга Пациенса и т.д. В конкретном процессе порождения речи нет места пропозициональной форме (пропозициональной функции), поскольку говорящий с самого начала знает, каким участникам ситуации будет посвящено планируемое высказывание. Пропозициональная форма, где места конкретных аргументов занимают переменные, иерархизированные, но не идентифицированные даже в отношении семантических ролей, — это элемент системы, словаря, где пропозициональная форма есть план содержания глагола.

¹ Протороли и роли соотносятся, скорее всего, как смыслы и значения.

3. От набора пропозиций с их рамками, операторами необходимо перейти к синтаксическому представлению высказывания и его лексическому наполнению. Мы не будем обсуждать этап глубинного синтаксиса, сущность которого заключается, по всей вероятности, в том, что синтаксические структуры в виде элементарных предикативных конструкций максимально воспроизводят семантические структуры пропозиций <...>. Переход от глубинного синтаксиса к поверхностному осуществляется за счет трансформаций, в частности, операции редукции (опущения), когда «вычеркиваются» элементы, не подлежащие поверхностному выражению <...>, на основании анафорических связей и целого ряда иных факторов.

3.1. Во многих работах можно найти мысль о том, что в синтаксисе важны две операции: отбор единиц из словаря (слов) и их комбинирование; первая связана с номинативным аспектом, вторая — с собственно синтаксическим. Каким образом эти представления применимы к реальным процессам порождения речи? Действительно ли синтаксический компонент речеговорения заключается в том, что человек отбирает слова из словаря и комбинирует их по правилам грамматики данного языка?

Разумеется, любой ответ будет сугубо гипотетическим, поскольку у нас нет способов непосредственно проникнуть в «механику» речепроизводства. Тем не менее, некоторые предположения могут быть сделаны.

Простая схема, исходящая из подбора слов и компиляции из них высказываний, плохо согласуется с положением об уровне в характере речевой деятельности. Процесс построения высказывания, его синтаксиса, должен быть управляем семантическим уровнем, на котором представлена основная смысловая структура будущего высказывания. От характера смысловой структуры и зависит то, каким будет высказывание, в частности, его синтаксис. Но такой структуре — семантической — должна соответствовать структура же — только синтаксическая. Следовательно, говорящий должен подбирать прежде всего не слова, а синтаксическую структуру.

Мысль, согласно которой реальнее «перевод» структуры в структуру — семантической в синтаксическую, а не подбор слов

с дальнейшим их связыванием, подтверждается и тем, что слово вне синтаксической конструкции, даже грамматически оформленное, неопределенно и синтаксически и семантически. Семантическим потенциалом, который пригоден для «совмещения» — частичного — с подлежащей выражению семантической структурой, обладает только синтаксическая конструкция в целом.

Эти последние положения, в целом кажущиеся справедливыми, тоже не следует понимать слишком прямолинейно: вряд ли уместно считать, что генерируется абстрактная синтаксическая структура, узлы которой затем заполняются лексемами, а лексеммы, в свою очередь, далее принимают необходимые формы (схема, достаточно естественная, вероятно, для «чистой» лингвистики, но не для психолингвистики). Какой характер могла бы носить абстрактная синтаксическая структура? Всякая структура — в этом смысле — есть набор элементов, связанных определенными отношениями. Проще всего говорить об абстрактной синтаксической структуре, если существуют абстрактные элементы-единицы типа традиционных подлежащего, дополнений и т.п. Тогда такая структура — это, например, П — Д — С («подлежащее — дополнение — сказуемое») и т.п. Но мы видели, что сущности, называемые «подлежащее», «дополнение», совсем не просто поддаются экспликации и вряд ли могут служить категориями, заполняющими узлы гипотетических абстрактных структур, которые налагаются в процессе речепорождения на структуры семантические. Синтаксическая структура (конструкция) — множество словоформ, помеченных направлением зависимости; при этом каждый член структуры охарактеризован с точки зрения категориальной принадлежности. Лишь структура в целом, напомним еще раз, обладает соответствующим семантическим потенциалом.

Из сказанного опять-таки следует, что вряд ли реалистичны представления о подборе слов, их компилировании и взаимном согласовании форм сообразно с характером синтаксической структуры: выявив (подобрав) синтаксическую структуру, синтаксическую конструкцию, говорящий тем самым определил формы слов в ее составе.

Что же касается последовательности операций — определения конструкции и ее заполнения конкретными лексемами в нуж-

ных формах, — то ее, скорее всего, просто не существует. Обе операции реализуются одновременно, параллельно. Дело в том, что способ существования в языковых механизмах человека автономных синтаксических структур, вероятно, достаточно специфичен. Можно предположить, что в системе представлены не столько сами структуры наподобие $N_{nom} — V — N_{acc}$ (вряд ли человек оперирует какими-то аналогами лингвистических символов N_{nom} , V , N_{acc} и т.п.), сколько способность оценивать правильность порождаемых (порожденных) структур, т.е. прежде всего знание о том, что и каким образом сочетается, а что — нет. Способность оценки (акцептор результата действия, по П.К. Анохину) не предполагает, вообще говоря, неперменного наличия образца, эталона для сличения. Достаточно, если известны правила с заданным результатом и существует механизм контроля за соблюдением правил. Например, предлог *у* требует родительного падежа, поэтому *у сестры* приемлемо, а *у сестре* (для литературного языка) — нет.

Впрочем, проблема далека еще от сколько-нибудь полной ясности. Не исключен и такой вариант, когда акцептор результата действия представлен фреймом с терминалами, заполненными типичными, наиболее частотными и т.п. категориями <...>.

Принципы протекания процессов синтаксирования при речепорождении, по всей вероятности, во многом аналогичны основным механизмам распознавания при восприятии речи (см. об этом в следующем разделе). А именно, производится очень быстрый перебор разных конфигураций, составленных из словоформ, пока одна из них не будет удовлетворять одновременно и смысловому заданию: оно диктуется выходом семантического компонента, и правилам (возможно, и фреймам-образцам), которыми руководствуется акцептор результата действия. Однотипность работы механизмов порождения и восприятия речи обладает большой приспособительной ценностью, поэтому уже возможность ее установления говорит в пользу развиваемых здесь представлений.

3.2. Выше говорилось о синтаксической структуре как о множестве словоформ, помеченных направлением зависимости. Такого рода синтаксическая структура явно не обладает еще окончательным видом в том смысле, что в тексте должно быть пред-

ставлено не просто множество, а цепочка (кортеж) словоформ. Иначе говоря, необходимы особые процедуры линеаризации синтаксического графа. В синтаксисе эта проблема имеет давнюю традицию как вопрос о порядке слов. <...> очень коротко скажем и об операциях линеаризации.

Эти операции управляются, как известно, различными по своей природе закономерностями. С одной стороны, существуют более или менее жесткие правила линейного распределения актантов, когда, скажем, синтаксическая функция ядерной синтаксемы полностью предопределяет ее конечное положение в высказывании, как в монгольских или тибето-бирманских языках. С другой стороны, порядок может определяться семантикой, ср. примеры типа *три метра* и *метра три* или ролью начальной позиции для тематизации. Существует и ряд других факторов, влияющих на порядок слов, прежде всего прагматических.

Иначе говоря, линейная структура высказывания регулируется отчасти собственно-синтаксической структурой, отчасти семантикой и прагматикой. Имеются и закономерности, относящиеся к линейному синтаксису как таковому, когда, например, из двух определений количественное должно предшествовать качественному (или наоборот), и т.п. <...>

Восприятие речи

4. Восприятие речи изучено, пожалуй, относительно более глубоко в сравнении с речепорождением, к тому же интересы автора в большей степени связаны с этой стороной речевой деятельности. Поэтому данный раздел дает более детальное освещение проблемы.

Уже в самом начале следует затронуть вопрос о «направлении» восприятия. Еще сравнительно недавно этот вопрос практически не возникал: представлялось само собой разумеющимся, что стадии восприятия речи упорядочены по принципу «снизу вверх», когда человек сначала перекодирует поступающую акустическую информацию в цепочку дискретных элементов — фонем, снабженную определенными просодическими метками типа ударения, затем фонемы организуются в некоторые блоки, соответствующие экспонентам слов (или, возможно, морфем), между

ними устанавливаются синтаксические связи и в конечном итоге выясняется смысл высказывания.

Схема, приблизительно описанная выше, казалась не только естественной, но и единственно возможной: ведь слушающий «на входе» действительно не имеет ничего, кроме акустической информации, от которой и приходится отправляться, чтобы «на выходе» получить смысл.

В последнее время все большее распространение получили идеи о возможности и другого типа восприятия, организованного по принципу «сверху вниз». Как и в некоторых других наших работах, мы будем в дальнейшем говорить о восходящем и нисходящем восприятии соответственно.

4.1. По-видимому, одним из первых толчков к смене представлений о направлении восприятия речи послужили данные о разрешающей способности слухового анализатора человека. Согласно этим данным, фонемное восприятие, которое лежит в основе восходящей модели, просто невозможно: сегменты, отвечающие фонемам и их сочетаниям, сменяют друг друга в речевом потоке с такой скоростью, каждый из них несет столько подлежащей обработке в единицу времени информации, что человек с таким объемом информации справиться объективно не может <...>. Следовательно, необходимо предположить существование перцептивного механизма, который бы каким-то образом квантовал речевой поток на сегменты более крупные, нежели отвечающие отдельным фонемам, и уже этими отрезками оперировал. Такой подход хорошо соответствовал бы и положениям психологии, в которых утверждалось, что человеку вообще свойственна тенденция к укрупнению единиц восприятия: с приспособительной точки зрения человеку «выгодно» воспринимать информацию настолько крупными блоками, насколько это возможно без потери каких-то существенных ее аспектов. Этим достигается быстрое действие и эффективность работы перцептивных механизмов, хотя оборотной стороной выступает утрата точности (вернее, детальности) восприятия и определенная возможность ошибок <...>.

Наиболее просто было предположить, что такой укрупненной единицей восприятия может служить слово. Именно приме-

нительно к слову обнаруживаются важные закономерности, связанные с его строением, оформлением, для слова действительны корреляции внешних, фонетических, и внутренних, семантических, признаков, наконец, слово определенно обладает «субъективной ценностью» для носителя языка, который язык и речь склонен воспринимать именно как «слова». Неудивительно, что слово у ряда авторов выдвинулось в центр языкового материала, который изучается в рамках анализа проблем восприятия речи, и во многом слово занимает эти позиции до сих пор.

Одновременно ясно, что признание за словом роли единицы, с которой прежде всего имеет дело слушающий, и явилось проявлением в теории восприятия речи существенного элемента нисходящего восприятия в отличие от восходящего: по крайней мере для данного «участка» перцептивных процессов признавалось движение от единицы более высокого уровня, слова, к единицам более низкого уровня — фонемам.

Этот ответ на теоретические затруднения, одно из которых было кратко описано выше (ограниченность разрешающей способности слухового анализатора человека), лишал, однако, картину восприятия былой простоты и ясности. Приходилось допустить, что существует своего рода алфавит слов как целостных единиц либо (с большей степенью реалистичности) алфавит признаков слов как таких единиц; в то же время число работ, в которых эксплицитной целью ставилось бы обнаружение данного алфавита было — и остается — относительно незначительным <...>.

Признание алфавита слов делает неясным статус более традиционного алфавита — фонемного. Если слова распознаются не «через» фонемы, а как целостные единицы, то в чем тогда роль фонем? Целый ряд исследователей пришел к выводу о том, что фонеме, соответственно, в реальных речевых механизмах ничего не отвечает, что это — фиктивная единица, не более чем чисто теоретический конструкт <...>, используемый лингвистами для создания более простых моделей <...>. При других вариантах дезавуирования фонемы допускалось, что в терминах фонем записаны единицы словаря, опять-таки в целях использования экономного кода, но в речевой деятельности фонема реального участия не принимает. Чтобы проиллюстрировать такого рода под-

ход, приведем довольно длинную цитату, принадлежащую известному специалисту в области распознавания речи: «...Фонемы в некотором смысле синтетические образования, они выводятся как следствие распознавания и идентификации более крупных структур. [...] В чем же тогда заключается роль индивидуальных фонем, если они не воспринимаются как таковые в речи, а производятся как следствие распознавания слогов и слов? Создается впечатление, что, будучи полезными конструктами для транскрибирования и анализа [слов], фонемы не имеют коррелятов в восприятии речи <...>. Возможно, как предлагают считать некоторые лингвисты (например, Людтке), фонемы — фиктивные единицы, основанные на алфавитном письме. Разумно и полезно исходить при составлении алфавита из ограниченного числа дискретных артикуляторных типов, которые носители языка могут идентифицировать, когда речевые произведения произносятся медленно и отчетливо. [...] Похоже [однако], что они не соответствуют какой бы то ни было стадии в структуре перцептивного процесса, ведущего к пониманию речи. Многие излишние трудности, как представляется, появились в теориях речевосприятия именно из-за смешения единиц транскрибирования с единицами восприятия речи» [Warren].

В этой книге мы не занимаемся специально фонологическими аспектами восприятия <...>. Здесь отметим лишь, что рассуждения типа приведенного выше вызывают серьезные возражения. Во-первых, если фонемы — действительно фиктивные единицы, перцептивно иррелевантные, то трудно оправдать их сохранение в теории; одних соображений относительно удобства и полезности при транскрибировании, конечно, недостаточно. Во-вторых, авторами существующих алфавитов в абсолютном большинстве случаев были не теоретики-лингвисты, исходящие из представлений об экономности диакритических средств, а проницательные практики — носители языка (в ряде случаев с гениальной языковой интуицией), они с неизбежностью должны были ориентироваться на те единицы, которыми реально оперировали именно в своем качестве носителей языка. Наконец, в-третьих, говоря о том, что носители языка могут идентифицировать фонемы («дискретные артикуляторные типы») в медленной и от-

четливой речи, автор приведенного высказывания объективно признает, что по крайней мере в некоторых режимах речевой деятельности носитель языка все же пользуется фонемным кодом (алфавитом), которому, стало быть, нельзя отказать в реальности.

4.2. Вопрос об обоснованности концепции восприятия по принципу «сверху вниз» не сводится, однако, к выяснению соотношения слова и фонемы. Концепция нисходящего восприятия имеет и более широкое прочтение, согласно которому процесс восприятия в принципе начинается с гипотезы о семантической характеристике воспринимаемого высказывания, затем эта гипотеза верифицируется и одновременно конкретизируется путем обращения к информации, относящейся к свойствам, признакам единиц нижележащих уровней <...>.

Такой подход также хорошо согласуется с некоторыми основополагающими идеями психологии, философии, нейрофизиологии. Известно, что восприятие обычно проходит стадии от грубого, абстрактного представления объекта до конкретного перцепта, воспроизводящего все богатство воспринимаемого «с точностью до актуальной установки». По существу, так же обрисовывается процесс познания в философии (гносеологии), что со времен К. Маркса принято определять как «восхождение от абстрактного к конкретному». Наконец, достаточно широко известны теории Н.А. Бернштейна, П.К. Анохина и др. об антиципирующем характере любой деятельности, в особенности же когнитивной, перцептивной.

Пожалуй, специфика восприятия речи во многом заключается в том, что слушающему приходится иметь дело с объектом — текстом, который по природе своей динамичен: текст развертывается во времени, и восприятие должно быть непременно текущим, в каждый данный момент времени слушающий имеет дело с некоторым фрагментом находящегося в процессе становления объекта (текста), в то время как распознаванию подлежит весь объект в целом.

Излагаемая концепция порождает свои вопросы. Рассмотрим основные из них, на некоторые давая предварительные ответы, некоторые же формулируя как задачи для дальнейшего исследования.

4.2.1. На основании чего выдвигается гипотеза о возможном содержании высказывания? По-видимому, здесь играют очень большую роль ситуативные факторы, о чем свидетельствует, например, известный эксперимент Брюса, когда испытуемым предлагали одну и ту же зашумленную запись речи, предварительно сообщая, о чем пойдет в ней речь, и испытуемые «слышали» совершенно разные высказывания в зависимости от установки, формируемой сообщением экспериментатора [Bruce]. Разумеется, чрезвычайно важны и фоновые знания воспринимающего речь человека и т.д. и т.п. Что же касается тех «опорных точек» для выдвижения предварительной гипотезы о содержании сообщения, которые имеются в самом воспринимаемом тексте, то к ним нужно в первую очередь отнести просодические признаки последнего: интонацию, ритмические структуры <...>; вероятно, велико значение опоры на ключевые слова, которым тоже свойственна просодическая специфичность <...>. Несколько подробнее этот вопрос будет освещен ниже. Пока же нам важно оговорить, что принцип нисходящего восприятия, конечно, не означает некоторого «мистического» проникновения в смысл сообщения «поверх» его материального субстрата. Э л е м е н т ы материального субстрата — фактического звукового оформления текста — безусловно играют решающую роль, вместе с информацией о ситуации речевого акта и фоновыми знаниями, в формировании начальной семантической гипотезы.

Сам по себе факт выдвижения гипотезы тоже можно толковать двояким образом. Первое толкование — вариант теории анализа через синтез: человек порождает не столько гипотезу о содержании высказывания, сколько само высказывание, и затем проверяет на совпадение с этим последним характеристики реального сообщения, подлежащего распознаванию. Такой подход может быть полезным для автоматического распознавания речи, преимущественно при резком сужении круга сигналов, на которые должна реагировать система: система генерирует некоторый сигнал, и все поступающие на ее вход сигналы извне проверяются на сходство с этим последним по какому-то набору признаков; при достижении сходства, соответствующего определенному пороговому значению, система реагирует заданным образом.

Нам ближе второе возможное толкование положения о гипотезе, с которой начинается процесс восприятия речи: оно, как, собственно, уже в общих чертах говорилось выше, заключается в том, что на первых стадиях восприятия речи человек определяет лишь самые общие, грубые, абстрактные характеристики высказывания (например, его отнесенность к типу повествовательных / вопросительных / побудительных и некоторые другие). Эти характеристики подлежат уточнению, конкретизации, развитию, а, возможно, и корректированию, — и в этом смысле представляют собой гипотезу. Гипотеза и при данном толковании носит семантический характер: слушающему свойственна тенденция кратчайшим путем «выходить» на смысл сообщения, и те первые характеристики сообщения, которые упоминались выше, уже несут черты будущей семантической конструкции.

4.2.2. Если начальные этапы восприятия речи связаны с выдвижением гипотез, семантических по своей природе, то как человек воспринимает новые, незнакомые, тем более — просто бессмысленные слова и целые высказывания? Нередко приходится сталкиваться с тем, что сама способность человека идентифицировать неосмысленные (для него либо объективно) высказывания доказывает ошибочность концепции нисходящего восприятия. В действительности, однако, эти факты, сами по себе несомненные, ей не противоречат. Дело в том, что нулевой гипотезой восприятия речи всегда выступает презумпция осмысленности: любое речевое произведение человек сначала пытается интерпретировать как осмысленное, подыскивая для него ту или иную семантическую интерпретацию. Лишь убедившись в неэффективности такого рода попыток (или же зная заранее, что он имеет дело с чем-то несемантизуемым), слушающий меняет стратегию и переходит к более детальному анализу акустической информации, идентифицируя в конечном итоге слышимое как определенную последовательность фонем. Даже и в этом случае общая направленность «сверху вниз» сохраняется: во-первых, как сказано, человек в любом случае начинает с семантической гипотезы, пусть и отвергая ее, а, во-вторых, распознавание бессмысленных звуковых последовательностей тоже проходит путь от грубого представления с опорой преимуще-

ственно на просодические характеристики и лишь затем — и на основе этой информации — происходит дальнейшая конкретизация сигнала как цепочки фонем <...>.

Нельзя также преувеличивать способность человека воспринимать бессмысленные звуковые последовательности. Каждому по опыту известно, насколько трудно идентифицировать даже собственные имена разного рода (имена, фамилии, географические названия и т.п.), особенно если они выходят за рамки привычного круга. Сколько-нибудь «длинные» асемантические высказывания, в особенности превышающие объем эхоической памяти², человек, как правило, воспроизвести — очевидно, и распознать — просто не может. Возможность оперирования фонемным кодом как кодом единственным, даже фонемным кодом с участием просодических средств, у человека, можно полагать, носит достаточно ограниченный характер; хотя человек все же располагает такой возможностью, она используется лишь в очень узком кругу ситуаций.

4.2.3. Как и в лингвистике, в исследованиях по восприятию речи специалисты редко выходят за рамки высказывания. Между тем, человек заведомо способен воспринимать текст теоретически неограниченной протяженности. Коль скоро это так, восприятие речи никак не может носить исключительно нисходящий характер: его единицей, разумеется, не будет выступать целостный текст неопределенно большого объема, семантическая структура такого текста будет «собираться» из семантических структур некоторых «подтекстов» — фрагментов, распознаваемых текущим образом. А это значит, что необходимо сочетание нисходящего и восходящего восприятия.

5. Признание данного непреложного факта заставляет сформулировать подлежащие решению проблемы следующим образом. Каково соотношение стратегий нисходящего и восходящего восприятия в речевых актах разных типов? Каковы верхний и

² Эхоической (по аналогии с иконической для зрительного восприятия) некоторые авторы называют такую память, которая обеспечивает более или менее точный образ-слепок звукового сигнала, существующий лишь очень недолгое время — 2—3 сек — сразу же после принятия сигнала <...>.

нижний пределы для единиц языка, использующихся как единицы восприятия? Иначе говоря, в терминах каких самых крупных и самых мелких единиц человек способен воспринимать речь в режиме нисходящего и восходящего восприятия? От чего зависит выбор единицы, выступающей как самая крупная (самая мелкая)? Каким образом осуществляется переход от крупных единиц к мелким и наоборот?

Во избежание недоразумения, возможно, следует упомянуть, что, говоря о крупных и мелких единицах, мы имеем в виду не столько их физический формат, сколько степень структурной сложности, принадлежность к более высоким / более низким уровням языкового механизма.

Само собой разумеется — оговоримся еще раз, — что ответы на вопросы, поставленные выше, сегодня во многом будут носить гипотетический характер (а применительно к части вопросов мы ограничиваемся их постановкой). Хотя в литературе можно найти огромное количество экспериментального материала, имеющего то или иное отношение к интересующим нас проблемам, материал далеко не всегда поддается однозначному истолкованию: эксперименты редко ставятся таким образом, чтобы решаемая частная задача мыслилась как фрагмент некоторой общей концептуальной схемы.

5.1. Функциональный подход ко всему, связанному с языком и речевой деятельностью, предполагает и для восприятия речи выдвижение обычного вопроса о целях и средствах соответствующего процесса. Вполне очевидно, что целью является установление смысла сообщения. Но даже такое простое и, казалось бы, самоочевидное утверждение в действительности не есть лишь констатация факта, ибо желательно определить, что значит «установить смысл сообщения». Обсуждая вопросы семантики, а затем порождения речи, мы видели, что уже семантика может быть представлена на разных уровнях: это и пропозициональная структура, и темо-рематическая, и диффузный личностный смысл. Не приходится удивляться тому, что и в существующих концепциях восприятия речи, памяти можно встретить разные мнения о том, что же собой являет смысл, который слушающий (читающий) извлекает из текста. Согласно одним авторам, по-

нять текст — это установить его пропозициональную структуру, которая лежит в основе любого текста. Чаще считают, что эта структура, называемая «базой текста», не сводится к простой последовательности пропозиций, соответствующих отдельным высказываниям текста, а представляет собой макроструктуру, в которую индивидуальные пропозиции входят на правах членов, вступающих в определенные иерархические отношения <...>. Для возникновения макроструктуры считают важным и использование фоновых и выводных знаний. Первые заполняют смысловые лакуны, неизбежные практически в любом тексте, вторые — элемент упорядоченности, вносимой субъектом восприятия, а также выведение им тех или иных следствий (инференций) из пропозиций и их сочетаний.

На реальность последних положений указывают некоторые экспериментальные данные. Так, из риторики, которая в настоящее время переживает своего рода ренессанс <...>, известно, что существует «грамматика» различных жанров, причем не только профессионально-литературных, но и «бытовых» наподобие рассказа о путешествии и т.п. Такой смысловой грамматикой имплицитно владеет любой носитель языка, выражается она в правилах семантической упорядоченности текста. Эксперименты показывают, что текст, отвечающий правилам семантико-риторической грамматики, воспринимается, запоминается и воспроизводится лучше, чем текст, в котором нарушены соответствующие правила, закономерности <...>.

Аналогично, если испытуемым сообщается предварительно название рассказа, который им предлагается прослушать и затем пересказать, то они справляются с задачей лучше, чем когда название отсутствует. Ухудшение восприятия имеет место и тогда, когда название неточно отражает основную тему, основное содержание рассказа <...>. Поскольку название — своего рода вершина семантической иерархии, приведенные данные говорят именно в пользу процесса иерархизирующего структурирования, который осуществляется слушающим (читающим) при восприятии текста, при извлечении его смысла.

5.2. Согласно Ф. Джонсон-Лэйрду, структура пропозиций — лишь один из видов «семантической записи», которой пользуют-

ся человек при восприятии текста и для сохранения результатов этого процесса в памяти. Два других вида — это «ментальные модели» и образы <...>. Статус последних наименее ясен, хотя утверждается, что имеет место отображение пропозициональных структур на ментальные модели, а последних — на образы. Что же касается ментальных моделей, то такая модель понимается как непосредственное отражение ситуации, описываемой воспринимаемым текстом.

Гипотеза Джонсон-Лэйрда представляется нам в своих наиболее общих чертах плодотворной. Используемые в ней понятия хорошо коррелируют с лингвистическими, психолингвистическими и психологическими представлениями. Макроструктура семантики текста как иерархия пропозиций плюс фоновые и выводные знания — это расширенная указанными дополнениями система языковых фреймов, действительных для данного текста. Ментальная модель — это система собственно когнитивных фреймов, перцепт, отвечающий семантике текста. Наконец, образ в описываемой системе можно понимать как смысл — или некую систему смыслов — в духе Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева.

Как можно видеть, здесь присутствуют те же разновидности — они же этапы — отражения, которые предлагалось различать выше для речепорождения, только, естественно, как бы в зеркальном варианте.

5.3. Упомянем еще одно важное обстоятельство. Семантические представления разной когнитивной глубины, о которых здесь шла речь, с одной стороны, сосуществуют, никоим образом не исключая друг друга; в типичном случае это разные стадии переработки одной и той же информации (одного и того же текста). С другой стороны, человек, в зависимости от характера информации и личностных установок, может не перекодировать воспринимаемую информацию с использованием всех имеющихся разноуровневых средств. Глубина перекодирования может оказаться минимальной: воспринимающий текст человек сохраняет языковую форму высказываний, если высказывания в чем-то не удовлетворяют привычным фреймам, сценариям. Так, Джонсон-Лэйрд сообщает, что испытываемые запоминают лучше смысл вы-

сказываний, отражающих стереотипные ситуации, чем их языковую форму, в то время как для высказываний, отражающих нестереотипные, в чем-то необычные ситуации, положение обратное: в этом случае лучше запоминается языковая форма, буквальный состав высказывания <...>. Данные этого рода демонстрируют одновременно и относительную автономность семантики, семантического компонента языка, и гибкость стратегий, доступных носителю языка, отсутствие принудительного набора процедур и операций в процессах восприятия речи (и, соответственно, хранения информации в памяти и извлечения ее из памяти).

5.4. В излагавшихся представлениях, как можно видеть, пока не нашлось места для темо-рематической структуры высказывания. В действительности это не совсем так. И пропозициональное представление, и ментальная модель — это некоторые структуры, а самая грубая, самая глобальная структура, которую можно приписать любому смысловому образованию (если это не номинация предмета), — структура темо-рематическая: мы можем считать, что постигли «в первом приближении» смысл данного сообщения, если нам ясно, что в нем говорится — и о чем, пусть даже весьма приблизительно. А это и есть сопряжение темы и ремы (= субъекта и предиката) как основных компонентов семантики высказывания, равно и текста.

Коль скоро установление смысла сообщения в определенной степени эквивалентно выяснению его темо-рематической структуры (темы и ремы), то естественно предположить, что уже первой попыткой человека на этапе, когда ему в той или иной мере открыт доступ к информации о смысловых, семантических параметрах текста, будет именно попытка «выйти» на тему и рему: человек и, шире, живой организм, как правило, стремится достичь цели кратчайшим путем из возможных.

Из этого не следует, конечно, что первая стадия речевосприятия и есть установление темы и ремы, скорее, это попытка найти средства установления последних и, если таковые представлены, опереться на них для выяснения темо-рематической структуры.

5.5. Каковы же эти средства, какой характер они могут носить вообще и в различных языках? К этому вопросу мы и перей-

дем несколько ниже. Сейчас же кажется необходимым отметить, что гипотеза, в общем виде сформулированная нами, существенно отличается от большинства принятых в литературе концепций. Как психолингвисты, так и специалисты по распознаванию речи, в особенности автоматическому, чаще всего исходят из схемы линейного восприятия: даже те из них, которые не стоят на уже устаревающих позициях строго восходящего восприятия, полагают, тем не менее, что любые языковые единицы распознаются в порядке их естественного следования. При этом на восприятие последующей единицы оказывает влияние прежде всего ее левое окружение (предтекст в терминологии некоторых авторов), поскольку его характер налагает ограничения разного рода на тип продолжения речевой цепи; влияние же правого окружения (посттекста) сказывается лишь в небольшой степени или вообще отсутствует.

5.5.1. Существуют и попытки обосновать эти представления экспериментально, в частности, на материале восприятия письменного текста. Так, в ряде публикаций приводятся данные экспериментов, в ходе которых испытуемым предлагалось читать предложения с омографическими словоформами, грамматическая омонимия которых разрешалась правым контекстом, например: *Волос у тетки на голове было много, Учителя школы-интерната № 7 Лукашевича наградили орденом Ленина*. Согласно данным экспериментов (которые, скорее всего, подтверждаются и восприятием читателя, которому пришлось прочесть вышеприведенные примеры), испытуемые достаточно стабильно идентифицировали первые слова предложений неверно, что легко определялось ошибками в ударении, и (сознательно) вносили поправки, возвращаясь к началу, только тогда, когда доходили до слов, однозначно снимающих омонимию, т.е. *было* в первом примере, *наградили* — во втором и т.п. Из этого был сделан вывод, что правый контекст — практически не влияет на восприятие (а левый — лишь в некоторых определенных случаях, а именно при наличии противопоставления в соседних предложениях и наличии вопросно-ответной структуры) [Б.С. Мучник].

Между тем автор, материалы которого мы привели, дает следующее описание процесса восприятия при чтении: «Психологически дело представляется таким образом: в начале читаю-

щий ощущает связь читаемого слова с предшествующим (т.е. понимает, что читаемое слово, или, точнее, слово, к чтению которого он только что приступил, *з а в и с и т* от предшествующего слова, *о т н о с и т с я* к нему), а затем в зависимости от этой связи понимает читаемое слово в том, а не ином значении, т.е. в значении, обусловленном связью читаемого слова с предшествующим словом». Как можно видеть, по крайней мере по отношению к левому контексту объективно признается, что читающий *с н а ч а л а* устанавливает в качестве предварительной оценки некоторые структуры на материале более протяженном, нежели одно слово.

Что же касается экспериментальных результатов по выявлению роли правого контекста, то их трактовка тоже не должна быть столь прямолинейной. Надо учитывать, что процесс восприятия речи, как устной, так и письменной, включает с необходимостью элемент выдвижения гипотез с их дальнейшим верифицированием — подтверждением или, наоборот, корректированием, заменой. Одна из важнейших гипотез — выбор одного из слов или словосочетаний на роль элемента, отвечающего теме. Как более подробно будет говориться ниже, одним из характерных свойств таких слов, словосочетаний, — вероятно, универсальных, — выступает начальное положение в высказывании вместе с грамматической немаркированностью (если в языке не предусмотрены специальные средства выделения темы с помощью особых показателей). Два важных следствия вытекают из сказанного: во-первых, операция по вычленению слова-темы относительно независима, слушающий (читающий) должен в качестве отдельного шага анализа установить, о чем пойдет речь — отсюда и определенная независимость темы по отношению к правому контексту; во-вторых, начальное в высказывании слово, которое формально допускает интерпретацию в качестве номинативной словоформы, всегда будет предпочтительно восприниматься как тема. Именно действие данных тенденций и объясняет, можно думать, те экспериментальные данные, которые приводились выше.

Среди этих данных присутствовали и ошибки на материале иного характера. Ср. предложение *Название сорта ему ничего не говорило о принадлежности к той или иной плодовой породе, а по внешнему описанию сорта вишни и черешни очень сходны*, где испытуемые систематически читали *сорта*, а затем поправляли себя,

изменяя ударение и словоформу — *сорта́* [Мучник]. В данном случае и объяснение должно быть несколько иным, хотя в принципе сходным: в приведенном предложении словоформа *сорта* естественно заполняет валентность отглагольного имени *описание* (здесь *описанию*), к тому же напрашивается способствующий такой интерпретации семантико-синтаксический параллелизм с элементом противопоставления: *название сорта — внешнее описание сорта*; позиция темы следующего предложения — опять-таки, по общему правилу, инициальная — при таком прочтении «отходит» словосочетанию *вишни и черешни*, что и дает по крайней мере стилистически ущербную концовку, заставляющую читателя пересмотреть первоначальную гипотезу.

В связи с последним примером можно выдвинуть еще одно соображение — вернее, развить уже упомянутое выше. Среди подлежащих решению важнейших проблем значился вопрос о единицах восприятия речи. Вполне очевидно, что эта проблема самым непосредственным образом связана с механизмами членения речевого потока, текста на определенные отрезки. Забегая несколько вперед, можно сказать, что такие отрезки, их границы во многом определяются валентностными свойствами слов и их сочетаний: граница в типичном случае проводится там, где кончается сфера действия валентностей. Поэтому в фигурировавшем выше примере — *по внешнему описанию сорта* — это, так сказать, валентностно-естественное сочетание, оно удовлетворяет тенденции устанавливать максимального объема группы по валентностным потенциалам.

Заметим, кстати, что из изложенного не следует с необходимостью пословно-цепочечный анализ: валентностно ориентированные границы могут устанавливаться и без детального анализа элементов выделенных групп, к чему слушающий (читающий) прибегает в случае необходимости как к следующему этапу; возможно, видимо, и использование некоторых процедур анализа, симультанного членению <...>.

5.5.2. Попытки обосновать линейность речевосприятия предпринимались и с позиций теории функциональных систем П.К. Анохина. Речь при этом понимается как «сцепление ассоциаций» <...>, в плане восприятия это истолковывается таким образом, что, например, распознавание 3-го слова в предложе-

нии из трех слов «есть результат синтеза... первых двух слов, или афферентного синтеза по Анохину. Первое слово несет функцию источника опережающего возбуждения, второе слово — пускового возбуждения. Синтез этих двух систем возбуждений приводит к актуализации третьего слова» <...>. Иерархия в данной схеме присутствует лишь как организация словаря: <...>.

Что касается словаря, то подобная картина, вполне возможно, в какой-то степени приближается к действительности. Но в любом случае она не заменяет представлений об иерархичности речевой деятельности, в частности, восприятия речи, без чего нельзя рассчитывать на сколько-нибудь адекватное понимание этих сложнейших процессов. Следует упомянуть также, что с формальной точки зрения представление речи как «сцепления ассоциаций» близко ее моделированию как марковского процесса, где линейная цепочка описывается исчерпывающим образом распределением условных вероятностей. Но описание речи как марковского процесса упрощает реальную ситуацию до такой степени, что фактически лишает исследователя возможности проникнуть в закономерности речепроизводства и речевосприятия, даже строения текста как такового. Это убедительно показал Н. Хомский <...>.

5.5.3. В какой-то степени близкие представления можно найти и в некоторых работах по автоматическому распознаванию речи, причем их авторы склонны переносить постулируемые и частично воплощаемые в действующих моделях закономерности на процессы естественного речевосприятия. <...>

Для нормального же «человеческого» восприятия речи, взятого в целом, строго последовательное, линейное восприятие оказалось бы крайне неэкономным, громоздким и, в сущности, мало «осмысленным». Все, известное нам о психике человека, — его склонность к использованию эвристик, к опережающему отражению действительности, к построению многоуровневых процедур с возможностью обходиться обращением к высшим уровням, — все это говорит против гипотез, которые кладут в основу механический перебор некоторых единиц (слов), ограниченный лишь априорными и апостериорными вероятностями.

6. Итак, как мы уже говорили выше, более реалистичной мы считаем гипотезу, согласно которой воспринимающий речь че-

ловек не есть своего рода следящая система, более или менее пассивно реагирующая на речевой сигнал по мере его развертывания во времени; напротив, человеку свойствен активный поиск в пространстве текста с целью установить его смысловую структуру на возможно более ранних этапах процесса речевосприятия. Мы уже выдвинули, далее, предположение о том, что одним из первых шагов может быть поиск темы сообщения. В связи с этим хотелось бы привлечь и высказанную в иной связи идею Э.Л. Кинэна (уже упоминавшуюся выше) о «выражениях автономной референции». По мнению Кинэна, в любом ядерном предложении выделяется именная группа, референт которой может быть определен слушающим безотносительно к референтам других именных групп. Такая именная группа «либо непосредственно относится к объекту, физически представленному в речевой ситуации, либо отсылает к объекту, который уже идентифицирован (или о котором известно, что он существует)». Как нам представляется, слово, отвечающее теме, и является в типичном случае «выражением автономной референции»: последнее мыслится как точка отсчета, по отношению к которой устанавливаются референтные связи в высказывании, но ведь и тема должна быть такой же точкой отсчета, поскольку именно с нее «все начинается»; прежде чем передавать некоторую информацию, необходимо сообщить, о чем эта информация.

Естественно обратиться к тому, какими формальными признаками в тексте обладают слова, отвечающие теме. Если такие признаки существуют, то задача отыскания темы становится вполне разрешимой. <...>

А.В. Венцов, В.Б. Касевич

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ

(М., 2003)

Введение

Восприятие звучащей речи <...> представляет собой бурно развивающуюся область исследований, объединяющую лингви-

стов, психологов, физиологов, специалистов по компьютерным системам, по искусственному интеллекту и др. <...>

Исследование восприятия звучащей речи — это изучение того, какие операции производит человек, чтобы от акустического речевого сигнала перейти к некоторому символическому представлению <...>. Хорошо известно, как широко дебатировались проблемы восприятия речи в общей психологии. Различные школы по-разному решают вопрос о том, каким образом стимул, обладающий определенной физической природой, отражается посредством внутреннего ментального представления (в свою очередь имеющего физический субстрат — определенное состояние нервной системы человека). В нашем случае сложность задачи существенно возрастает. Процесс интерпретации речевого сигнала с неизбежностью опосредуется культурной — в широком смысле — системой координат, присущей человеку. Достаточно упомянуть, что физически один и тот же символ может получить разное истолкование и соответственно представление в зависимости от языка, носителем которого является субъект восприятия. Коль скоро владение языком — ярчайшее отличие человека, выделяющее его из среды всех живых существ, то и восприятие речи, будучи наиболее «человеческим» из всех видов восприятия, принадлежит к самым интересным и сложным аспектам анализа человеческой деятельности.

Несомненна и практическая важность исследования восприятия речи. Назовем лишь некоторые области потенциального применения результатов перцептивных речевых исследований. Прежде всего это широко признанная и разрабатываемая в мощных исследовательских центрах США, Западной Европы, Японии, отчасти и СНГ область автоматического распознавания речи. Автоматическое распознавание речи с помощью компьютерных устройств позволило бы решить такие проблемы, как речевой ввод данных в компьютер, печать «с голоса» («автоматическая пишущая машинка»), речевое управление машинами и механизмами и т.п. <...>

Другая область, развитию которой должен способствовать анализ процессов речевосприятия, — это изучение патологии речи и слуха. <...> модель восприятия речи может служить эф-

фективным средством верификации концепций речевых расстройств. <...>

Наконец, работа в области искусственного интеллекта тоже немыслима без моделирования восприятия речи и, шире, речевой деятельности как таковой (а проблема восприятия речи, в свою очередь, не может быть решена в полном объеме вне рамок искусственного интеллекта).

<...> Хотелось бы отметить условия, которые нам казалось необходимым соблюдать при работе над данной темой. Коль скоро нас интересует адекватное воспроизведение соответствующей разновидности человеческой деятельности, мы не имеем права игнорировать какие бы то ни было звенья, аспекты, процедуры и операции при переходе от акустического сигнала к символьному представлению заданного вида. Например, исследователь волен отстаивать концепцию, в соответствии с которой план выражения воспринимаемых речевых единиц описывается в терминах артикуляторных жестов, акустические же характеристики не играют в этом никакой роли <...> Однако, отражая модельными средствами реальный процесс речевосприятия, мы не вправе «опускать» ту стадию, когда в распоряжении слушающего еще нет другого источника информации, кроме самого акустического сигнала (плюс, естественно, знание языка, фоновые знания и т.п.).

Хотя данный конкретный исследователь или исследовательский коллектив, конечно, может избирательно концентрировать свои усилия в той или иной подобласти, отвечающей одному из фрагментов общей модели речевосприятия, сам процесс исследования должен направляться некоторой гипотезой об общем строении модели. Последняя может быть реализована лишь компьютерными средствами. Существуют два принципиальных источника ее верификации: поведение носителей языка, прежде всего в экспериментальных, т.е. контролируемых условиях, и воспроизведение процесса речевосприятия с использованием разработанной компьютерной модели «вместо» человека.

Еще одно важное обстоятельство заключается в том, что необходимо учитывать различие перцептивных стратегий в зависимости от типа языка. В существующей литературе обычен под-

ход, когда исследователи стремятся обнаружить некоторые универсальные свойства модели, присущие «абстрактному» носителю языка. Но в действительности, кроме универсальных стратегий, важное место должно принадлежать стратегиям, обусловленным характеристиками используемого языка. Например, если мы утверждаем, что важным перцептивным «ключом» является тип ритмической структуры, определяемый прежде всего словесным ударением, то нельзя не учитывать, что достаточно широко распространены языки, лишенные словесного ударения как особого фонологического средства: для таких языков необходимо искать другие «ключи». <...>

Зависимость перцептивных стратегий от типа языка есть, в сущности, частный случай самообучаемости перцептивной системы: такие, а не иные стратегии используются потому, что человек «отрабатывал» соответствующие системы в раннем онтогенезе в данной языковой среде. Эти рано сформировавшиеся установки выступают относительно жесткими. Однако одновременно, и тоже в раннем онтогенезе, человек (ребенок) не может не формировать и более гибкие стратегии, которые позволяют ему подстраиваться под индивидуальные или групповые характеристики говорящих: позволяют адекватно интерпретировать высказывания, принадлежащие мужчинам, женщинам, детям со всем диапазоном их индивидуальных различий. Нельзя исключить и того, что эти последние стратегии являются генетически заданными (врожденными), и именно таким образом обеспечивается сама возможность самообучения. <...>

ГЛАВА I

Современные модели восприятия речи: критический обзор

В настоящее время известно около 15 моделей восприятия речи, которые отличаются как общей «идеологией» — принципами, заложенными в основу соответствующих разработок, так и детальностью, богатством (или бедностью) привлекаемого экспериментального материала, степенью ориентированности на реальные процессы и стратегии, присущие воспринимающему естественную речь человеку, наконец, уровнем формализованно-

сти и пригодности для воплощения в виде компьютерных программ или специализированных устройств.

Относительно последних двух пунктов стоит сказать несколько подробнее. На первый взгляд, степень гуманитарной адекватности — как можно условно обозначить отмеченные два свойства моделей восприятия речи — противоречат друг другу: в первом случае исследователь стремится максимально воспроизвести в модели все реальные процессы, которые обеспечивают восприятие речи человеком, вне зависимости от возможности / невозможности, легкости / трудности реализации данной модели в виде компьютерной программы; во втором случае основным требованием к модели выступает именно ее компьютерная реализуемость — при условии, разумеется, что компьютерная модель способна адекватно сопоставлять естественному звучащему тексту запись данного вида. При ориентации на компьютерную адекватность как основную цель моделирования исследователи нередко отклоняются тем или иным образом от требования включать в модельное представление те и только те процедуры, которыми, как можно думать, реально пользуется человек.

В известной степени противопоставление, очерченное выше, реально <...>. Но только лишь в известной степени. Дело в том, что компьютерную реализуемость модели не следует считать неким «внешним» условием или же аспектом чисто прикладного характера. Модель интересующего нас вида не может не быть действующей, ибо динамическая природа — неотъемлемое свойство ее естественного прототипа. Поскольку о механической действующей модели восприятия речи по понятным причинам говорить не приходится, единственно возможный вариант действующей модели с необходимостью оказывается компьютерным.

Из сказанного следует, что именно компьютерное моделирование есть тот инструмент, который сущностно адекватен задаче: исследованию реальных процессов восприятия речи. Выше мы говорили о «процедурах, которыми, как можно думать, реально пользуется человек» при восприятии речи. На существование таких процедур нам обычно «намекают» экспериментальные данные, именно они позволяют нам думать, что человек прибегает к соответствующим стратегиям. Но лишь встроив формали-

зованные аналоги этих стратегий в (компьютерную) модель, мы получаем возможность проверить, как они функционируют — и функционируют ли вообще — в процессе достижения заданного результата. Тем самым без модельного «проигрывания» разных вариантов решения полное описание перцептивного процесса оказывается невозможным.

Иначе говоря, критерии гуманитарной и компьютерной адекватности выступают в качестве взаимно дополнительных. Первый требует, чтобы исследователь исходил из некоторых общих представлений о том, как может функционировать человек в решении перцептивных задач, а также из конкретных экспериментальных данных, релевантных для данной области. Второй дает в руки исследователя незаменимый способ объединения различных данных в целостную действующую систему и проверки их на функциональность, совместимость и эффективность в достижении заданного результата.

ГЛАВА 2

Основные принципы представления процессов речевосприятия

Начнем с замечаний терминологического характера. В некоторых традициях принято различать «восприятие языка» и «восприятие речи». <...> здесь важно различать два аспекта, лишь один из которых носит более терминологический характер.

Мы имеем в виду, что говорить о «восприятии языка» вообще едва ли законно. Объектом перцептивных процессов выступает отнюдь не языковая система сама по себе, но именно речь (текст) как продукт ее деятельности.

Что же касается противопоставления процессов, связанных с восприятием фонем или слогов, с одной стороны, и словосочетаний, слов, тем более предложений, с другой, то различие между ними действительно есть, оно носит принципиальный характер. Восприятие фонем, слогов, равно как и тонов, акцентных контуров, интонационных типов не предполагает понимания, в то время как восприятие предложений, текстов, в известной степени слов и словосочетаний, в типичной ситуации именно понимание и предполагает. Условно говоря, в первом случае мы

находимся в пространстве «между» акустикой / психоакустикой и языком, во втором — «между» языком и энциклопедическими знаниями.

Обсуждая этот вопрос, мы сталкиваемся с необходимостью уточнения самого понятия и термина «восприятие». <...> «В исследованиях по восприятию речи этот термин покрывал собой почти любые сенсорные и перцептивные операции, а в психолингвистике он использовался для обозначения таких разных процессов, как распознавание слов, сегментация речевого сигнала, определение сходства между двумя языковыми структурами и даже понимание связного текста» [Flores d'Arcais, 1989].

Мы, со своей стороны, предпочли бы следующую формулировку: *восприятие речи есть приписывание языковой структуры речевому сигналу*. Как можно видеть, данная формулировка акцентирует скорее результат, нежели процедурный аспект перцептивного процесса. Она в значительной степени снимает то противопоставление требующих / не требующих понимания перцептивных операций, о котором говорилось выше. В процессе восприятия речи слушающий (нас интересует в первую очередь восприятие речи звучащей) должен интерпретировать речевой сигнал в терминах соответствующей языковой системы. Последняя обладает, как минимум, номинативным (словарным плюс, возможно, словообразовательным), фонологическим, морфологическим, синтаксическим и семантическим компонентами с собственными единицами и правилами. Следовательно, поступающий речевой сигнал должен быть перекодирован слушающим в структуру, охарактеризованную через признаки, принадлежащие всем или некоторым из названных выше компонентов. Так, результатом восприятия может быть установление лишь фонологической структуры, например фонемной цепочки и места ударения, без отождествления полученной единицы с одной из словарных единиц, как это и имеет место реально при восприятии бессмысленных, новых слов или имен. В других случаях результатом работы перцептивных механизмов будет структура, сформированная словами, отождествленными с соответствующими словарными единицами, которые (слова) входят в определенные синтаксические и семантические отношения друг с другом, а сами

обладают, в свою очередь, внутренней структурой, морфологической и, в плане выражения, фонологической.

Иначе говоря, возможна разная «глубина» восприятия, определяемая мерой, полнотой использования языковой системы для внутреннего представления речевого сигнала. Кроме того, возможны разные пути, разные процедуры достижения данного перцептивного результата: так, установление фонемной цепочки, выступающей экспонентом слова, может быть получено в силу анализа акустической картины, обрабатываемой с целью извлечения информации о коррелятах тех или иных дифференциальных признаков, но может быть и побочным результатом действия механизмов предсказания, которые прогнозируют, иногда с вероятностью, равной единице, появление конкретного слова в данной точке речевой цепи. В типичном случае для воспринимающего речь человека нет субъективного различия между разными путями формирования языкового перцепта.

Здесь мы вплотную подходим к вопросу о структурировании перцептивного механизма и его процедур. Однако сначала представляется необходимым выделить доперцептивный, или, условно, психоакустический, механизм, функционирование которого составляет необходимую предпосылку работы перцептивного.

Психоакустический блок, или модуль, не обладает специфичностью ни по отношению к конкретному языку, ни по отношению к языку вообще. Он, в сущности, совпадает с анализатором, генетически предназначенным для обработки слуховой информации, т.е. со слуховым анализатором — вернее, с сенсорными (рецепторными), т.е. низшими отделами последнего. <...> механизмы психоакустического модуля измеряют частотные, временные, энергетические параметры звукового сигнала в их соотношении. Эти механизмы преднастроены (предпрограммированы), их деятельность поддается описанию посредством соответствующих функций. Едва ли можно говорить об их обучаемости в собственном смысле слова, хотя, безусловно, можно говорить об обучаемости систем, «считывающих» показания психоакустических механизмов и структурирующих их определенным образом.

На выходе психоакустического модуля формируется описание исходного речевого сигнала в виде последовательности дис-

кретных сегментов речевого потока, еще не имеющих размерности фонем. Эти сегменты образуются в результате работы процедур микросегментации <...>, и каждый из них описывается набором признаков с указанием их «весов» (вероятностей). По своему содержанию они, видимо, могут совпадать с выходными сигналами «детекторов акустических признаков» <...>.

Сами перцептивные механизмы несомненно включают блок, или модуль, непосредственно работающий с информацией, соответствующей выходу психоакустического модуля. Иначе говоря, выход психоакустического модуля доступен для целого ряда когнитивных систем, в том числе и для перцептивной речевой системы, для одного из ее модулей. Последний включается в работу, когда принимается решение о том, что звуковой сигнал является речевым. Будем говорить о таком модуле как о фонетико-фонологическом. Он включает некоторый набор субмодулей. Их точный состав не может быть пока определен.

Во входных субмодулях данного модуля принимаются решения о фонемах, дискретной последовательностью которых может быть описан данный участок речевого потока. Для этого на каждом из сегментов используются комбинации признаков, полученные в психоакустическом модуле, а также данные для нескольких последовательных сегментов. При принятии решений учитываются вероятности признаков, так что первыми выдаются наиболее вероятные фонемные решения.

Если результаты лексического поиска и работы последующих уровней анализа при полученной таким образом фонемной последовательности окажутся неудовлетворительными и возникнет необходимость «вернуться» к уровню создания фонемного описания, чтобы попытаться получить более подходящую цепочку фонем в качестве описания данного сигнала, то будут повторно задействованы входные субмодули; при этом исходная информация для них (выходные сигналы психоакустического модуля) должна храниться в памяти и не может быть изменена процедурами «сверху вниз».

Ясно, однако, что в любом случае мы имеем дело с многоканальной системой, пронизанной прямыми и обратными связями, которые позволяют ей функционировать в интерактивном режиме <...>.

В отличие от психоакустического модуля, фонетико-фонологический складывается прижизненно, нормально в раннем онтогенезе. Его механизмы, будучи сформированными, тоже в известном смысле преднастроены: они осуществляют в пространстве наличного сенсорного материала активный поиск информации, которая может быть перекодирована в некоторое символическое представление, отвечающее системе данного языка.

В частности, для каждой фонемы конкретного языка должен существовать, вероятно, ее перцептивный эталон. Последний задает конфигурацию признаков, выделяемых психоакустическим модулем, а также допустимые пределы их варьирования относительно заданных условий (высоты голоса, темпа речи, позиции и т.п.) и относительно друг друга. Метрика перцептивного эталона позволяет системе использовать функцию сходства для определения меры близости конфигурации признаков, выделяемых психоакустическим модулем, к конфигурации эталонной. Эта операция необходима, поскольку реальные параметры речевого сигнала сплошь и рядом отличаются высокой степенью неопределенности. Гиперпризнаки <...>, возможно, целесообразнее интерпретировать как такую ситуацию, когда значение функции сходства позволяет отнести данную конфигурацию признаков к двум или более эталонам с равной вероятностью.

Правда, смысл введения понятия гиперпризнаков в этой модели был связан не с тем, что слушающий не может использовать соответствующую информацию, а, скорее, с тем, что он не должен («не обязан») ее использовать: гиперпризнаки, по мысли авторов модели, позволяют достичь идентификации языковых единиц более экономными средствами. Но мы сейчас обсуждаем фактически максимальные возможности каждого из модулей. Функционирование субмодулей, обладающих низким иерархическим статусом, может действительно в конкретных условиях оказываться избыточным, тем не менее все они необходимы для максимального использования всех ресурсов системы в минимально благоприятных условиях.

Выход фонетико-фонологического уровня представлен цепочкой дискретных единиц — символов, в типичном случае фонем. Как следует из сказанного выше, такая цепочка в достаточ-

но большом числе случаев (хотя какая бы то ни было статистика нам не известна) не может фигурировать в качестве «готового» экспонента той или иной языковой единицы: часть членов этой цепочки может характеризоваться лишь мерой близости к фонеме А или же фонемам А/В (А/В/С...), а какая-то часть элементов цепочки может вообще отсутствовать (в сопоставлении с намерением говорящего), причем возможен как вариант, когда такое отсутствие абсолютно (ничто в сформированной фонетико-фонологическом модуле цепочке не говорит о том, что налицо нулевая редукция), так и вариант «относительного» отсутствия, когда фиксируется наличие сегмента, но не его качество. Последний случай можно интерпретировать как вычисление такой функции сходства, которая устанавливает равнозначную отнесенность данной конфигурации признаков к любому из перцептивных эталонов, отвечающих фонемам данного языка. <...>

До сих пор речь фактически шла о функционировании фонетико-фонологического модуля, который (субмодуль) ответствен за принятие решений относительно сегментных единиц — фонем (вопрос о слогах, также являющихся сегментными единицами, мы сейчас специально затрагивать не будем <...>). Но одновременно нужно допустить существование некоторого набора субмодулей, связанных с установлением супraseгментных, или просодических, характеристик речи. Как минимум, это интонационный субмодуль <...> и акцентный, а для тональных языков — тональный. Эти субмодули действуют параллельно сегментному, что, однако, никак не означает невозможности их иерархического соотношения <...>.

Разумеется, просодические субмодули также работают с информацией, полученной на выходе психоакустического модуля. Сформулируем здесь лишь несколько положений, связанных с возможными принципами функционирования акцентного субмодуля.

Обычно принимается, что информация об ударении — это фактически информация об акцентном контуре слова. Из этого следует, что для получения соответствующих характеристик необходимо обладать сведениями о членении звучащей речи на слова. Однако <...> информация о сегментации речевого потока на

слова никоим образом не обеспечивается одними или даже преимущественно фонетическими признаками. Между тем есть основания полагать, что место ударения можно установить и без знания о том, где проходят границы слов, т.е. в определенном смысле эта задача может решаться в пределах фонологического (фонетико-фонологического) компонента.

Соответственно получение информации об ударении может пониматься как задача детектирования ударных слогов не по отношению к границам слова, а, скорее, по отношению друг к другу: определяется момент, соответствующий первому ударному слогу, второму, третьему и т.д. Это связывает нахождение акцентных характеристик с проблемой речевого ритма <...>.

<...> Результатом работы субмодуля является расстановка меток, соответствующих ударным слогам. <...>

Если в распоряжении системы имеются данные о составе цепочек сегментных единиц <...>, а также о местоположении ударных слогов, то необходима еще информация о членении речевого потока на слова, чтобы система могла обратиться к процедуре отождествления соответствующих цепочек с единицами словаря. Заметим сразу, что в языках с фиксированным ударением обнаружение ударных слогов естественным образом обеспечивает одновременно установление словесных границ <...>. Но и в языках с разноместным ударением, к которым принадлежит русский, выявление ударных слогов есть установление числа слов, что также содействует обнаружению словесных границ, особенно если учесть статистические закономерности местоположения ударного слога в слове.

<...> обратимся к механизмам словарного поиска.

Если словарь представить себе как некоторую упорядоченную совокупность словоформ (хотя это не очень реалистическая гипотеза <...>) и исходить из такой ситуации, когда фонемная цепочка, отвечающая слову, «заполнена» однозначно и без пропусков, то проблема словарного поиска решается тривиально. Идентификация данной цепочки, охарактеризованной просодически, в качестве экспонента некоторого слова (словоформы) реализуется в результате последовательного просмотра всего корпуса словаря. Как вполне понятно, такой процесс сплошного сканирова-

ния множества словарных единиц носит громоздкий характер. Процедуры этого типа, возможно, используются в ситуациях, когда распознаванию подлежат новые слова, а также слова, появление которых в данной точке речевой цепи характеризуется низкой вероятностью.

Более обычны ситуации, когда восприятие речи организуется встречной активностью субъекта восприятия. Использованию активных стратегий восприятия способствует то обстоятельство, что сам словарь пронизан множественными связями между его единицами — связями семантическими, грамматическими, фонетическими (фонологическими). Иначе говоря, упорядоченность словаря реализуется как наличие в его составе пересекающихся групп слов, каждая из которых объединена теми или иными признаками. Контекст речевого акта, установки слушающего, предтекст позволяют достаточно узко отграничить, прежде всего с семантической точки зрения, тот подсловарь, единицы которого слушающий «рассчитывает» встретить в воспринимаемом тексте. Поэтому сканирование, о котором говорилось выше, обычно осуществляется в рамках не всего словаря, а одного из подсловарей.

Меньший объем словаря (подсловаря) имеет одним из своих результатов снижение требований к точности и полноте описания входных единиц с фонетической (фонологической) точки зрения. В этих условиях и возникает возможность использования гиперпризнаков, понимаемых как признаки единиц супрафонемного формата, в типичном случае — слов. <...>

Любой подсловарь дополнительно стратифицирован в силу разной частотности входящих в него слов. Частотность слова также принадлежит к его гиперпризнакам.

Все используемые в процессе восприятия признаки (гиперпризнаки) иерархизированы за счет приписывания им определенных весов <...>. Поскольку идентификацию слов уместно понимать как активирование связей, принадлежащих ментальному лексикону, можно сказать, что признаки, которым отвечает меньший вес, достаточно часто вообще не используются: уровня активации, достигаемого за счет использования признаков высокого иерархического статуса (с большим весом), оказывается до-

статочно, чтобы имела место идентификация входной цепочки в качестве слова X.

Вес, приписываемый признаку, может носить постоянный и переменный характер. По-видимому, постоянно высокое значение весов свойственно тем признакам, которые отличает существенная помехоустойчивость. К последним принадлежат прежде всего просодические признаки. Частотность как таковую тоже представляется уместным отнести к признакам с высоким весовым значением, однако конкретное распределение слов по частотности будет зависеть от выбора подсловаря. В условиях шепотной речи, например, естественным будет снижение веса признака «звонкость/глухость», который в русском и в ряде других языков может фигурировать как гиперпризнак, характеризуя более или менее протяженные фонемные цепочки.

Можно предположить, что взаимодействие признаков (гиперпризнаков) в процессе лексического поиска формально описывается с помощью правил теории размытых, или нечетких, множеств <...>.

В другой редакции это будет утверждением о том, что контекст, частотность слова и другие факторы повышают или снижают требования к количеству и качеству акустической информации, необходимой для принятия решения об идентификации слова <...>: высокочастотные слова, слова, предсказываемые контекстом с достаточно высокой вероятностью, позволяют обходиться меньшим числом признаков, их менее выраженными акустическими коррелятами. При прочих равных условиях такие слова распознаются быстрее. В сущности, это проявление иерархически более высокого статуса таких признаков, как семантические и грамматические валентности, частотность и др. Вопрос об автономности / интерактивности различных компонентов перцептивной системы оказывается в значительной степени искусственным <...>: модули и субмодули перцептивной системы функционируют независимо, но результаты их работы постоянно сопоставляются.

Лишь очень кратко упомянем о тех проблемах, которые принято относить к высшим уровням языка и речевой деятельности и которые связаны не со словарем, а с правилами построения тек-

ста и соответственно его анализа при восприятии. Здесь очень важны разного типа валентности. Если расслоение словаря на подсловари сужает класс поиска слова в процессе интерпретации входной цепочки за счет парадигматических связей слова, то валентности дают тот же эффект за счет синтагматических связей. Приведем простой пример. Если предтекст содержит (уже идентифицированное) слово *огробрить*, то весьма высока вероятность появления слова в винительном падеже со значением лица (лиц) или имущественного объекта (*огробрить банкира, богатых, квартиру, банк* и т.п.). Иначе говоря, распознавание слова *огробрить* приводит к активации подсловарей, принадлежащих определенному семантическому полю, а также предопределяет грамматическую форму, в которой должны появиться соответствующие слова. Такого рода сужение класса поиска объясняется именно тем, что слушающий — носитель языка обладает знанием валентностей языковых единиц, и это знание используется как источник наложения ограничений на семантические и формальные свойства языковых единиц, которые могут быть в тексте после и / или до единицы X.

Из сказанного следует, в частности, что требуют оговорок традиционные формулировки <...> связи с разграничением сферы словаря языковых единиц и сферы правил, регулирующих использование этих единиц — т.е., практически, грамматики. При всей обоснованности такого разграничения необходимо признать, что уже в словаре при лексической единице должна быть записана достаточно детализированная информация, отражающая валентности этой единицы, равно как и ее частотность, формо- и словообразовательные потенции и т.д.

Для информации о формо- и словообразовательных потенциях требуется, в свою очередь, чтобы словарная единица была представлена как некая формальная структура с выделением блоков, релевантных для действия правил формо- и словообразования. Разные блоки и в процессе восприятия речи будут обрабатываться отдельно. Здесь возникает еще один источник максимального «распараллеливания» процесса восприятия, в данном случае выражающегося в том, что лексическая информация, а также разные виды грамматической информации обрабатываются

отдельно и в значительной степени одновременно. В связи с этим заслуживают внимания экспериментальные результаты ряда авторов <...>, которые указывают на такой процесс распознавания, в частности префигированных слов:

«(1) установи, что в слове присутствует префикс и удали его [для дальнейшего] лексического поиска;

(2) найди в словаре основу;

(3) когда основа найдена, восстанови префикс и фиксируй слово. Распознавание [слова] осуществляется на данной стадии» [Emmorey, Fromkin, 1989].

Использование подобных и близких к ним процедур как раз и дает возможность представлять словарь, участвующий в процессах речевосприятия, не как множество словоформ, отражающих полную парадигму каждого слова (поскольку все члены парадигмы могут встретиться в тексте), а как множество основных, и притом внутренне структурированных словоформ, к которым по определенным правилам можно свести реальные словоформы текста.

Разумеется, префиксация, на которой сосредоточили свое внимание упомянутые выше авторы, — лишь частный, притом не самый распространенный способ грамматической информации. Суть в том, что система восприятия речи должна располагать отдельными модулями и субмодулями для обработки грамматической информации: на основе анализа определенных сегментов текста, фонемных цепочек, эти модули формируют гипотезы относительно синтаксической структуры предложения, а также целого ряда признаков наподобие грамматического времени, вида, числа и т.п. Вес, приписываемый этим гипотезам, должен быть достаточно высоким, ибо грамматическая структура служит источником существенных ограничений на вид структуры семантической, установление которой и является конечной целью процесса речевосприятия.

В то же время сама гипотеза о грамматической структуре верифицируется не только относительно результатов работы фонетико-фонологического модуля с его субмодулями, когда, например, информация о наличии вопросительного слова сопоставляется с типом интонации и, если рассогласования этих двух

источников нет, принимается решение о коммуникативном типе предложения. Гипотеза о грамматической структуре высказывания должна одновременно находиться под контролем семантической гипотезы, или смысловых ожиданий слушающего, которые формируются <...> его собственными установками, ситуацией, контекстом и т.п.

С этой точки зрения процесс речевосприятия не только завершается «семантической стадией», но и начинается с таковой. Учитывая данное обстоятельство, равно как и неизбежное несовершенство самого акустического речевого сигнала (который в типичном случае просто не содержит информации, необходимой и достаточной для его декодирования), следует эксплицитно предположить, что автономная модель восприятия речи — автономная в том смысле, что она не использует информации, помимо содержащейся в сигнале и в обрабатывающей сигнал языковой системе, — просто невозможна. Задача создания полной и универсальной модели восприятия речи в этом смысле эквивалентна созданию искусственного интеллекта <...>.

В то же время <...> следует принимать во внимание, что возможна разная «глубина» восприятия и что само по себе восприятие не предполагает с необходимостью понимания. <...> человек обычно может записать на слух не очень длинное предложение (которое субъективно может быть представлено как последовательность единиц, числом не превосходящих объем оперативной памяти), даже не понимая его смысла, например, когда предложение отражает какую-то информацию из специфической сферы, чуждой слушающему. Это как раз и означает, что акт восприятия имел место, поскольку языковая структура речевому сигналу приписана, при этом приписанная семантическая структура носит сугубо внутриязыковой характер, т.е. отражает лишь словарные значения лексических единиц (если слова вообще знакомы слушающему) и связанную с ними информацию из области грамматической семантики.

Строго говоря, непосредственной задачей специалиста, моделирующего восприятие речи и не рискующего при этом вторгаться в область искусственного интеллекта, могло бы быть воспроизведение именно процедур такого рода.

А.В. Венцов, В.Б. Касевич, Е.В. Ягунова

КОРПУС РУССКОГО ЯЗЫКА И ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ

(НТИ. Серия 2. Информационные процессы и системы.
М., 2003)

В настоящее время лингвистика во многом избавилась от раннегенеративистских иллюзий, в частности, от уверенности, что лингвистические механизмы как таковые могут быть познаны с привлечением весьма ограниченного набора примеров (обычно сочиненных самим лингвистом). На смену этим достаточно наивным представлениям приходит понимание необходимости строить исследование даже самого «мелкого» фрагмента языковой системы с использованием репрезентативного множества текстов соответствующего языка. Оговоримся, что имеется в виду репрезентативность как в количественном, так и в качественном отношении — по представленности жанров, стилей и т.п.

Такое множество текстов стало уже традиционным называть корпусом. Приступая к исследованию конкретной проблемы, лингвист может (а в реальной ситуации, как правило, должен) составлять свой собственный корпус.

В последние десятилетия усилия лингвистов многих стран направлены на создание национальных, или универсальных, интегральных корпусов. Хотя критерии репрезентативности такого корпуса пока не вполне ясны, ясна задача: корпус должен обладать количественными и качественными параметрами, необходимыми и достаточными для построения на его основе адекватных словаря и грамматики соответствующего языка. Адекватность словаря определяется, с этой точки зрения, тем, насколько мала вероятность встретить в произвольном тексте — вне текстов корпуса — словарную единицу (слово, словоформу, фразеологизм), отсутствующую в словаре. «Произвольность» текста не следует понимать буквально: для любого корпуса, даже универсального, допустимы ограничения — например, невключение текстов диалектного характера. Адекватность грамматики мы предпочли бы трактовать как характеристику действующей, динамической системы, обеспечивающей речевую деятельность.

Иначе говоря, грамматика для нас — это механизм порождения и/или восприятия текста (речи). Адекватность такой грамматики — это ее способность порождать правильные (нормативные) тексты и только их (критерии нормативности задаются отдельно), а также анализировать с получением заданного результата (транскрипция, семантическая запись и т.п.) правильные тексты (с учетом допустимых отклонений от правильности <...>).

Уже использование логической связки «и/или» выше дает понять, что мы, не отрицая единства грамматического механизма на некотором уровне, признаем, тем не менее, возможность и даже необходимость выделять грамматику, отвечающую за порождение речи, и грамматику, «заведующую» восприятием речи.

Более того, в этом различии, восходящем к Л.В. Щербе с его активной и пассивной грамматиками, мы идем дальше, разграничивая также словари: генеративный (обслуживающий порождение речи) и перцептивный (обслуживающий восприятие речи). Именно последний, как компонент модели восприятия речи, будет интересовать нас в настоящей статье.

Прежде, однако, воспроизведем основные аргументы в пользу, как нам представляется, признания относительной самостоятельности перцептивного словаря <...>. Главной отличительной особенностью перцептивного словаря нам видится характер его единицы: в качестве таковой есть основания считать словоформу.

Можно считать экспериментально доказанным, что важным ключом для идентификации слова при его восприятии (изолированно или в тексте) выступает частотность данного слова. Но частотность слова как лексемы — в известном смысле фикция. Реальной частотностью характеризуются именно отдельные словоформы слова, причем разные словоформы одного и того же слова могут существенно отличаться по частотности. Точно так же можно считать доказанным, что еще один важный ключ, используемый для предварительной, грубой классификации слова при восприятии речи, это его акцентный контур. Но и акцентный контур — даже более непосредственно, нежели частотность — есть признак словоформы, а не лексемы. Разные словоформы одной и той же лексемы могут обладать разными акцентными

контурами, совокупность которых образует так называемую акцентную кривую, ср., например, *сад, саду, (в)сад, (в)садах* и т.п. Акцентная кривая создается, главным образом, перемещением ударения с основы на окончание или наоборот.

Признание словоформы основной единицей перцептивного словаря, разумеется, приводит к значительному увеличению его объема. В то же время это возрастание объема значительно меньше, чем можно было бы предположить априори; связано это с тем, что отнюдь не каждая лексема обладает полным набором словоформ, отвечающим категориям, которые присущи ее классу / подклассу. Специальное статистическое изучение такого рода ограничений представило бы отдельный интерес.

Увеличивая словарь, опора на словоформу в то же время сильно упрощает процедуру идентификации единиц текста при их восприятии, во многом сводя эту процедуру к прямому сравнению отрезка текста и единицы словаря — минуя процесс лемматизации, неизбежный, если мы имеем дело с традиционным словарем лексем, а не словоформ.

Возникает еще одна проблема. Выше мы упоминали о релевантности акцентного контура словоформы в качестве ключа для ее идентификации. Но акцентный контур характеризует не словоформу как таковую, а фонетическую словоформу (ФС), т.е. фонетическое слово, которое состоит из знаменательной словоформы плюс клитики. Деление текста на ФС может довольно существенно расходиться с сегментацией на слова (словоформы) как лексико-грамматические единицы, ср. *Ты / бы / ко / мне / раньше / с / этим / пришел* и *Тыбы / комне / раньше / сэтим / пришел* (косая черта указывает на границу между словами, условно воспроизводится орфографическая запись).

Из релевантности именно ФС как «носителя» акцентного контура по крайней мере может следовать, что и единицей равно текста и словаря (а их идентичность принципиальна) выступает не просто словоформа, а ФС.

Рассмотрим указанные и иные относящиеся к ним вопросы в определенной последовательности. Для начала зафиксируем исходные позиции, которые заключаются, по-видимому, в следующем.

Моделирование процессов восприятия речи (во всяком случае, на материале русского языка) включает в себя такие подготовительные этапы, как:

- формирование представительного корпуса текстов (на начальном этапе — в орфографической записи) с акцентуацией словоформ и разметкой согласно специально разработанной системы аннотирования;
- создание, на базе корпуса текстов, словаря для моделирования восприятия речи; единицей словаря выступает словоформа с индексом частотности.

На настоящий момент общий объем нашего корпуса — 1 031 920 словоупотреблений.

На основании подкорпуса объемом 322 тысячи словоупотреблений организован частотный словарь словоформ, включающий 63 742 единицы и словарь фонетических слов объемом 84 174 единицы. Этот подкорпус имеется также в транскрибированном виде. Автоматическое транскрибирование текстов осуществлялось с помощью версии фонологического транскриптора на базе кириллицы (автор программы А.В. Венцов).

В данной статье мы попытались отразить как методологический подход, так и основные направления исследований авторского коллектива в заявленной области.

Компьютерное моделирование сегментации и идентификации графической записи текста

Наличие корпуса и словаря словоформ позволило осуществить компьютерное моделирование сегментации графической беспробельной записи текста через идентификацию, т.е. путем сличения с единицами словаря. Мы исходим из того, что подобная процедура на материале «сплошной» графической записи может рассматриваться как некоторое приближение к работе с материалом звучащего текста, а используемые принципы компьютерного моделирования до некоторой степени соответствуют процессам восприятия речи человеком. Сделанный акцент на процедуре сегментации через идентификацию ни в коей мере не означает отказ от исследования автономного механизма сегментации (независимой от идентификации), но лишь признание от-

носителем небольшого удельного веса автономной сегментации на слова в восприятии речи (подробнее см. об этом <...>).

Существенно отметить, что в большинстве ранних работ, выполненных в русле «модели когорты», материалом, подлежащим распознаванию, выступали изолированные слова — соответственно проблема сегментации вообще не возникала. В отличие от этого, наш алгоритм принципиально нацелен на обработку слитной речи — на данной стадии исследования в ее графическом представлении, а именно орфографической и транскрипционной (в терминах фонем) записей. В основу алгоритма положено упрощенное предположение о том, что в буфер памяти слушающего сведения о символах, составляющих экспонент слова, поступают последовательно во времени и, соответственно, происходит накопление информации, обеспечивающей выбор подходящего слова из словаря.

Сам процесс выбора начинается сразу же, как только в буфере появляются первые один-два символа. По ним из словаря выбираются все подходящие слова — т.е. начинающиеся на тот же символ или последовательность символов слова, которые и образуют «когорту». По мере поступления в буфер следующих символов, из когорты удаляются все слова, не согласующиеся по началу с имеющейся в буфере цепочкой, и процесс этот продолжается до тех пор, пока в когорте не останется одно-единственное слово, которое и будет считаться идентификатором распознаваемого отрезка текста.

Создатели «модели когорты» предполагали, что по мере накопления информации о фонемном составе слова будет резко сокращаться объем когорты и процесс идентификации должен сходиться достаточно быстро и эффективно (особенно если принять во внимание возможность априорного контекстного ограничения словаря, из которого производится начальная выборка когорты, что обычно не учитывается). Сделанные нами самые предварительные расчеты для русского языка показали, что объем выборки действительно стремительно сокращается по мере появления во входном буфере все новых фонем, особенно если при составлении когорты принять во внимание ритмическую структуру распознаваемого слова.

Но все это относилось к идентификации изолированных слов. Мы же попытались использовать ту же идею при «работе» с непрерывной последовательностью слов, не разделенных какими бы то ни было метками сегментации, т.е. возможности того же алгоритма оценивались применительно к распознаванию слитной речи, которая характеризуется как раз отсутствием границ между словами, образующими высказывание (синтагму). Одна из вытекающих при этом сложных проблем заключается в том, что единый процесс идентификации-сегментации предполагает нахождение правой границы слова. В нашей модели анализируемый текст считывается из файла слово за словом и записывается в строку без пробелов и знаков препинания. Начальная часть строки длиной в 7—9 открытых слогов представляет собой буфер, с содержимым которого работает в дальнейшем программа. Объем буфера выбран на основании имеющихся данных об объеме оперативной (кратковременной) памяти человека (7 ± 2 слога). На этом этапе алгоритм работы программы, скорее всего, не соответствует предполагаемому алгоритму работы системы распознавания речи человеком и выбран таковым только из условия удобства программной реализации процесса.

По первому символу строки-буфера начинается процесс образования текущей когорты. Для орфографической записи при этом применяются следующие правила: (1) если первая буква не является допустимым однобуквенным словом, не содержащим ударного гласного (союзом, предлогом), то происходит только определение объема когорты, сама же когорта как набор слов не создается (это чисто программистский ход, экономящий время); если первая буква является допустимым однобуквенным словом, то из соответствующей словарной статьи в промежуточный буфер записывается слово-кандидат, а из остальных словарных статей выбираются данные об их объеме для сбора статистики; (2) заполнение когорты производится по двум первым буквам буфера-строки (или только по первой, когда это ударный гласный, поскольку по чисто техническим причинам ударные гласные представлены в текстах и в словарных статьях двухсимвольными сочетаниями: собственно гласный и знак ударения «+»; равным образом согласные тоже могут иметь двухсимвольные соответ-

ствия с учетом «ъ» или «ь»); (3) буфер слов-кандидатов заполняется до тех пор, пока N первых символов в исходном буфере совпадают хотя бы с одним словом в когорте и прекращается, когда добавление еще одного элемента создает комбинацию, не представленную в словаре; вслед за этим начинается анализ слов-кандидатов.

Правила работы с транскрипционной записью полностью аналогичны приведенным выше.

В данный момент при выборе окончательного варианта из всех слов-кандидатов принято самое простое правило: окончательным считается слово, последним занесенное в список, — при условии, что сохраняется возможность идентификации через словарь «оставшейся» цепочки. Это вполне соответствует правилу отбора, сформулированному в теории когорты: выбирается только слово, полностью и без остатка совпадающее с входной последовательностью символов.

На материале как беспробельной орфографической, так и транскрипционной записи рассмотренных текстов точность работы компьютерной сегментации через идентификацию составила более 98%. Столь высокую результативность описанных правил мы можем рассматривать как косвенное (в силу специфичности исходного материала), но убедительное подтверждение «работоспособности» алгоритма, основывающегося на основных положениях модели когорты.

Перцептивный словарь

Одна из задач нашей работы заключается в проверке выдвинутой гипотезы о существовании особого перцептивного словаря. В качестве одного из средств верификации гипотезы был использован свободный ассоциативный эксперимент, где в роли стимулов используются как словарные, так и несловарные формы слов.

Предварительный ассоциативный эксперимент в его устно-письменном варианте был ранее проведен студенткой А. Морозовой (рук. Е.В. Глазанова) на материале, включающем все финитные формы глаголов. В протоколах зафиксировано в среднем более 15% реакций, явно, непосредственно обусловленных грам-

матической формой глагола-стимула. В большинстве случаев это относится к парадигматическим реакциям, например, *берешь — отдаешь*.

Частичную обусловленность реакций формой глагола-стимула можно видеть в парах более сложных типов, например, *берешь — отдавай* или даже *брал — не отдаст*, и, наконец, в синтагматических реакциях с согласованием глагола-стимула и имени-реакции, ср. пары *брал — папа*, *брало — оно*, *берешь — ты* и т.д. С учетом всех вариантов, где представлена частичная обусловленность грамматики реакции грамматикой стимула, можно утверждать, что такая связь характеризует до 99% пар «стимул — реакция» в описываемом эксперименте. Возможно, особенности методики устно-письменного эксперимента (переключение модальности, наличие нескольких реакций на один стимул) лишь отчасти позволяют использовать ее в решении поставленной задачи. В настоящее время проводится серия устно-устных ассоциативных экспериментов, в которых список стимулов включает различные формы существительных и глаголов. Данный эксперимент проводится с участием как взрослых испытуемых, так и детей 6 лет, языковые механизмы которых находятся в стадии развития. Имеющиеся на настоящий момент предварительные результаты не противоречат высказанной гипотезе. Основываясь на этих предварительных результатах, естественно предположить, что испытуемые непосредственно переходят от словоформы как стимула к словоформе как реакции. Поскольку выбору реакции с необходимостью предшествует основанная на обращении к словарю идентификация стимула, приходится признать, что вход в словарь в данном случае — это обнаружение соответствующей словоформы. В противном случае мы должны были бы полагать, что сначала осуществляется процесс лемматизации, а затем — возвращение к уже «использованной» словоформе для установления информации о ее характеристиках, которые служат основанием для выбора словоформы-реакции.

Иначе говоря, ассоциативные эксперименты подтверждают гипотезу о словоформе как основной единице перцептивного словаря.

Как отмечалось во вступительном разделе статьи, есть основания полагать, что единицей перцептивного словаря выступает

не просто словоформа, а словоформа фонетическая. Очевидное возражение против признания фонетического слова основной единицей перцептивного словаря состоит в чрезмерном увеличении объема словаря; ясно, что каждое слово (словоформа) может употребляться с разными проклитиками и энклитиками, — отсюда, в пределе, разрастание словаря во столько раз, сколько клитик и их сочетаний существует в языке (если не принимать во внимание, разумеется, частеречные и иные ограничения). Учитывая, однако, преимущественно эмпирический характер проблемы, авторы, опираясь на реальный корпус русского языка, созданный в процессе работы над проектом, получили точные количественные данные по соотношению фонетических слов текста, единиц словаря, состоящего из фонетических слов, и словаря словоформ. Как оказалось, словарь фонетических слов, хотя и превышает, разумеется, по объему словарь словоформ, но далеко не достигает при этом теоретического предела, о котором сказано выше: реальное возрастание объема — всего 30%. Говоря о фонетических словах, следует учитывать существенную с точки зрения восприятия речи неоднородность этого класса единиц. Есть фонетические слова, совпадающие со словами (словоформами), которые «в любом случае» входят в перцептивный словарь, и есть фонетические слова, не совпадающие со словами — единицами словаря. Примером первых может служить фонетическое слово НАРОД (НА РОД и НАРОД, точнее, НА РОТ и НАРОТ), примером вторых — КНИМУ (К НЕМУ). По-видимому, существование именно первого типа фонетических слов считается особенно серьезной «помехой» для оперирования фонетическими словами как особыми единицами ввиду их очевидной неоднозначности. Однако наши исследования показывают, что важность данной проблемы не следует преувеличивать. Во-первых, экспериментально было не раз показано, что носители языка не различают, вне лексического и грамматического контекста, единицы типа НАРОД / НА РОД. Модель восприятия речи, претендующая на адекватное воспроизведение структуры соответствующих механизмов человека и их функционирования, не может быть «лучше» своего естественного прототипа: то, что не различает человек, не должна различать и имитирующая его по-

ведение модель. Во-вторых, значимость подобных пар не следует переоценивать еще и потому, что их представленность в тексте и словаре, построенном на базе фонетических слов, весьма невелика. В нашем словаре фонетических слов, составленном на основе сформированного корпуса русского языка, фонетические слова класса НАРОД (НАРОТ) составили всего 0,5% от общего числа фонетических слов. Одновременно можно отметить, что в ряде случаев различению членов пар типа НАРОД / НА РОД способствует несовпадающая частотность; так, в наших текстах число вхождений местоименной словоформы с предлогом ПО ЭТОМУ составляет 9 единиц, а слова ПОЭТОМУ — 81. Но никакой системы здесь, как и можно было ожидать, не наблюдается.

Итак, с одной стороны, организацию перцептивного словаря как словаря фонетических слов едва ли следует рассматривать как заведомо нереалистичную постановку проблемы. Его объем (на нашем материале около 85 000 единиц), конечно же, никоим образом не перегружает человеческую память.

«Выгодность» такого словаря заключается, несомненно, в том, что процесс идентификации единиц текста здесь во многом сводится к процедуре их прямого сличения с единицами словаря, «наложения» первых на вторые (разумеется, с учетом всех процедур построения когорты и ее дальнейшей фильтрации). С другой стороны, из изложенного выше, по-видимому, следует, что фонетические слова в словаре представлены скорее косвенно — как словоформы, омонимичные сочетаниям словоформ и их клитик. Омонимичность разрешается путем обращения к высшим языковым уровням, к контексту. Там, где омонимичность не представлена, применяется стандартный алгоритм обращения к словарю, где, в числе прочих единиц, присутствуют и клитики, так что возможность / невозможность членения фонетического слова выступает как частный случай выбора между словами-кандидатами. Является при этом членимая последовательность фонетическим словом, отличным от слова семантико-грамматического, или нет, оказывается, вообще говоря, несущественным; фонетическое слово, определяемое акцентным контуром, выступает как промежуточный продукт, с которым работает алгоритм сегментации / идентификации.

Фонетическое слово и редукция

В этом разделе мы представим дополнительные экспериментальные данные, относящиеся к роли ФС в процессах восприятия речи.

ФС для русского языка неразрывно связано с ударением. С точки зрения восприятия речи это, как многократно упоминалось, означает, что, опознавая ударные слоги в тексте, носитель языка членит текст на фонетические слова.

Членение может осуществляться с точностью до числа ФС и с точностью до фиксирования межсловных единиц, где под словами, опять-таки, должны пониматься слова фонетические. Установление межсловных границ было бы возможным, если бы границы акцентного контура были перцептивно опознаваемыми. Теория пограничных сигналов Н.С. Трубецкого по существу предполагает такой вариант: по крайней мере со времен А.А. Потемкина известно, что русское слово характеризуется разными степенями редукции гласного (слога), которые определяются позицией относительно ударного слога в пределах слова, и, соответственно, зная тип редукции — умея его определять в тексте, — мы получаем информацию о «местоположении» начала / конца слова в речевой цепи.

Однако в действительности носителю языка едва ли доступны подобные операции. Даже если считать, что традиционные представления о «дуге редукции» в пределах слова верны, из этого еще не следует, что соответствующая информация принадлежит к перцептивно полезным признакам, используемым в процессе восприятия речи.

Об этом говорят и эмпирические данные наблюдений над восприятием реальной речи. Так, лишь семантическая неинтерпретируемость мешает воспринимать строку известной песни *сказал кочегар кочегару как сказалка чигарка чигару* или *сказалка чигар качигару*. Такие перераспределения границ были бы очевидным образом невозможны, если бы информация о типе редукции реально использовалась. Вполне естественно, что подобные ошибки в изобилии дает ситуация восприятия речи на фоне шума, когда затруднен доступ к информации о сегментной структуре слова и, следовательно, о семантических характерис-

тиках высказывания. Примерами могут служить замены наподобие *зеленый крокодил* → *наверно приходил*, *черешни поспели* → *лежи в постели*, *живу воспоминаниями* → *желает понимания* и т.д.

Иначе говоря, информация о редукации, скорее всего, не используется для определения границ фонетического слова.

Те же эксперименты по восприятию речи в условиях маскировки дают, однако, и замены принципиально иного типа, которые ставят под сомнение неизбежность самого по себе положения о том, что число ударений везде совпадает с числом ФС, например, *ловля птиц* → *коллектив* <...>. Из внеэкспериментальных свидетельств, которые также колеблют принятое положение о взаимодозначном соответствии между ударениями и ФС, можно указать на каламбуры наподобие знаменитых минаевских *Муж, побледнев как штукатурка, воскликнул — это штука турка!* или *Даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром; писать стихи — моя стихия, и легко пишу стихи я.*

Если бы *штука турка* и *штукатурка* уверенно различались как, соответственно, два (фонетических) слова vs одно (фонетическое) слово за счет наличия двух vs одного ударения, то эффект каламбура, очевидно, не возникал бы.

Наконец, можно добавить, что неочевидно просодическое (акцентное) противопоставление пар наподобие *на диване* (одно ФС) и *дядя Ваня* (два ФС).

По поводу последнего из упомянутых типов один из авторов настоящей статьи пишет: «Очевидно, не формулируемое явным образом рассуждение, которое ведет к традиционному разграничению сочетаний типа *дядя Ваня* и *на диване*, должно выглядеть следующим образом: при полном сохранении просодических характеристик (при сохранении акцентного контура) вместо *дядя Ваня* можно ожидать, например, сочетание *тетя Таня*. Но в этом сочетании в слове *тетя* имеем фонему /о/, а /о/ не может быть безударным (если отвлечься от малочисленных исключений). Следовательно, само по себе наличие /о/... свидетельствует о двуударности — а тем самым о наличии двух ФС в сочетании *тетя Таня* и, по аналогии, в *дядя Ваня* (в отличие от *на диване*), что и требовалось доказать» [Касевич 2001].

Принятие приведенного рассуждения предполагает учет теснейшей взаимосвязи просодических (акцентная структура сло-

ва) и сегментных характеристик слова (редукции или даже чередования фонем). В связи с этим можно вспомнить, что в литературе существуют концепции, согласно которым выделяются не только ударные / безударные слоги, но и сильные / слабые, или тяжелые / легкие — нередуцированные и редуцированные соответственно. Если в пределах одного языка нет попарного совпадения членов указанных противопоставлений, т.е. безударный слог не всегда редуцированный, а ударный — не всегда сильный, то возникает возможность вычленения ФС по двум относительно независимым критериям: наличию / отсутствию ударения и наличию / отсутствию (и типу) редукции. В сущности, к такому подходу близка не получившая дальнейшего развития позиция Э. Пальгрэма, который предлагал различать нексусные и курсусные единицы [Pulgram 1970]. Теоретически реальным выглядит предположение, когда ФС будет определяться одновременно по набору признаков, как акцентных, так и «редукционных».

Тогда мы получим некоторое множество структурных типов ФС, в котором, например, *на диване* будет характеризоваться в терминах признаков [+ одноударн.], [+ полноредц.], а сочетание *дядя Ваня* попадет в другой подкласс с признаками [+ одноударн.], [— полноредц.]. Ясно, однако, что такого рода теоретические гипотезы должны проверяться экспериментально, ибо, как и в случае с акцентным контуром, априори неизвестно, какие именно признаки реально используются носителями языка в речевой деятельности (при восприятии речи).

С целью проверки соответствующих гипотез был проведен ряд экспериментов. На данном этапе исследовалась возможность своего рода перцептивной нейтрализации противопоставления одного ФС двум. Изучались следующие типы такого неочевидного противопоставления.

1. Пары, включающие слово и словосочетание из двух знаменательных слов, совпадающее с первым членом пары по фонемному составу и месту ударения во втором слове, ср. *барбариса* — *бар Бориса*. Всего исследовалось 18 таких пар.

На базе списка пар были составлены 64 фразы: каждое слово и словосочетание было помещено как в нейтральный (допускающий обе интерпретации), так и в однозначно диктующий выбор контекст (в дальнейшем «однозначный»); слова и словосочета-

ния находились, как правило, в конечной позиции во фразе; возможность просодического выделения слов в словосочетаниях минимизировалась.

2. Пары наподобие *на диване — дядя Ваня, неотложка — наша ложка*, в которых первый элемент традиционно трактуется как одно, а второй — как два ФС (всего 10 пар). На базе этого списка были составлены 66 фраз: каждое слово и словосочетание было помещено как в нейтральный, так и в однозначный контекст; слова и словосочетания находились как в начальной, так и конечной позиции во фразе; возможность просодического выделения слов в словосочетаниях также минимизировалась.

3. Сочетания глаголов (разной ритмической структуры) с пост-позитивным личным местоимением или частицей, напр. *читали мы — читали бы — читали бы мы...* и т.д. На базе этого списка было составлено 180 фраз наподобие *Читали мы эту книгу — Читали бы эту книгу — Читали бы мы эту книгу...*

Выше описанные фразы в случайном порядке были включены в состав большой таблицы, содержащей разнообразные фразы, которая была прочитана в естественном темпе диктором-женщиной, опытным лингвистом-педагогом. На настоящий момент записана, но еще не обработана, аналогичная таблица, прочитанная в естественном темпе диктором-мужчиной.

Методика работы предполагает сочетание инструментального и перцептивного анализа. Инструментальный анализ включает в себя анализ акцентного контура стимула (рассматриваемого как в составе фразы, так и изолированно) по следующим параметрам: длительность, интенсивность и диапазон изменений частоты основного тона (ЧОТ) для слогов рассматриваемых слов и сочетаний.

Перцептивный анализ включает в себя проведение 4 серий экспериментов, в которых испытуемым было предложено прослушать (1) изолированно предъявляемые стимулы, выделенные из фраз, и (2) фразы с нейтральным контекстом и выбрать один из двух вариантов, предложенных в анкете. Две серии содержали интактный материал (без зашумления) и две — в условиях маскировки белым шумом при соотношении сигнал/шум 0 дБ. В качестве испытуемых выступали студенты-филологи, для каждой серии использовалось более 20 испытуемых.

В настоящей статье мы опишем лишь часть из полученных данных, выделив следующие результаты экспериментов:

- 1) различие рассматриваемых пар для носителей языка представляет немалую сложность, для отдельных стимулов число ошибок доходит до 78%;
- 2) наличие фразового (нейтрального) контекста упрощает правильный выбор (для интактного материала);
- 3) в целом ошибки в выборе варианта для стимулов с предположительно двумя ФС случаются несколько чаще, чем с предположительно одним ФС, для фраз это различие больше, чем для изолированного предъявления;
- 4) изолированно предъявляемые стимулы, выделенные из нейтрального контекста, порождают несколько меньше ошибок, чем стимулы, извлеченные из «однозначного» контекста, однако это различие незначительно;
- 5) на сложность выбора варианта в паре оказывают существенное влияние тип связи между словами (грамматической, лексической, что мы не можем сейчас обсуждать) и фонетические параметры (длина ФС в слогах, место ударения в ФС, расстояние между ударными слогами в словосочетании и некоторые другие).

Данные инструментального анализа стимулов мы пока оставим в стороне. Ясно, однако, что уже перцептивные данные свидетельствуют: в русском языке нет полной однозначности в противопоставлении ФС и словосочетания за счет одно / двуударности. Имеет место своего рода нейтрализации противопоставления слова словосочетанию в русском языке. Возможно, наряду с общеизвестными положениями о редукции сегментных единиц следует ввести представление о просодической редукции — в частности, редукции ударения.

В описанных экспериментах не учитывались параметры, связанные с редукцией гласных и слогов в целом. Хотя выше мы подвергли сомнению перцептивную релевантность редукции безударных слогов, есть основания отдельно рассматривать редукционные характеристики заударной части слова как целого.

Можно предположить, что само по себе наличие такого сильно редуцированного участка (плохо поддающегося членению на фо-

немы) длиной обычно более чем в один слог с некоторой степенью вероятности соотносится с сигналом о границе между словами <...>.

В заключение, отметим: есть все основания надеяться, что именно сочетание методов корпусной лингвистики, с одной стороны, и экспериментального подхода — с другой, позволят существенно продвинуться в моделировании речевой деятельности.

✓ **Задание. Подготовьте сообщение на одну из тем:**

- Проблема «внутренней речи» в трудах отечественных психологов и лингвистов (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкин).
- Порождение и восприятие речи: А.Р. Лурия о мозговой организации речевой деятельности и процессах декодирования речевого сообщения.
- Нарушения формирования речевого сообщения при поражении различных участков мозга (по данным А.Р. Лурия, Р.О. Якобсона).
- Нарушение понимания речевого сообщения при поражении различных участков мозга (по данным А.Р. Лурия, Р.О. Якобсона).

Дополнительная литература

- *Ахутина Т.В.* Нейролингвистический анализ динамической афазии. М., 1975.
- *Выготский Л.С.* Мышление и речь. М., 1996.
- *Жинкин Н.И.* Речь как проводник информации. М., 1982.
- *Залевская А.А.* Проблемы психолингвистики. М., 2000.
- *Касевич В.Б.* Еще о понятии фонетического слова // Проблемы фонетики IV. М., 2001.
- *Леонтьев А.А.* Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. 2-е изд. М., 2003.
- *Лурия А.Р.* Письмо и речь. Нейролингвистические исследования. М., 2002.
- Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977.
- *Норман Б.Ю.* Грамматика говорящего. СПб., 1994.
- *Щерба Л.В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
- *Якобсон Р.О.* Избранные работы. М., 1985 (Мозг и язык; Звуковые законы детского языка и их место в общей фонологии; Лингвистические типы афазии).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д.* Метафора в семантическом представлении эмоций // Ю.Д. Апресян. Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М., 1995.
- Арутюнова Н.Д.* Язык и мир человека. М., 1999.
- Ассоциативный тезаурус современного русского языка. Русский ассоциативный словарь / Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин и др. Кн. 1—6. М., 1994—1996.
- Ахутина Т.В.* Нейролингвистический анализ динамической афазии. М., 1975.
- Ахутина Т.В.* Организация словаря человека по данным афазии // Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. Калинин, 1981.
- Бабушкин А.П.* Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж, 1996.
- Баранов А.Н., Караулов Ю.Н.* Русская политическая метафора: Материалы к словарю. М., 1991.
- Баранов А.Н., Караулов Ю.Н.* Словарь русских политических метафор. М., 1994.
- Богуславский В.М.* Человек в зеркале русского языка, культуры и литературы. М., 1994.
- Болдырев Н.Н.* Когнитивная семантика. Тамбов, 2000.
- Бондарко А.В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. М., 1998.
- Бондарко А.В.* Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.
- Бондарко А.В.* Функциональная грамматика. Л., 1984.
- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
- Вежбицкая А.* Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.

* Предложенный список литературы ни в коей мере не может считаться хоть сколько-нибудь исчерпывающим. Специфика дисциплины «Актуальные проблемы современной лингвистики» предполагает знакомство с новинками литературы, а потому обязательным видом самостоятельной работы студента является обзор периодических лингвистических изданий (журналов «Вопросы языкознания», «Филологические науки» и др.).

- Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. М., 1997.
- Венцов А.В., Касевич В.Б.* Проблемы восприятия речи. СПб., 1994.
- Венцов А.В., Касевич В.Б., Ягунова Е.В.* Корпус русского языка и восприятие речи // НТИ. Серия 2. Информационные процессы и системы. М., 2003.
- Воркачев С.Г.* Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы // Филологические науки. 2001. № 1.
- Воркачев С.Г.* Национально-культурная специфика концепта любви в русской и испанской паремиологии // Филологические науки. 1995. № 3.
- Выготский Л.С.* Мышление и речь. М., 1996.
- Гаспаров Б.М.* Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.
- Дейк Т.А., ван.* Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
- Демьянков В.З.* Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретационного подхода // Вопросы языкознания. 1994. № 2.
- Жинкин Н.И.* Речь как проводник информации. М., 1982.
- Журавлев В.К.* Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.
- Залевская А.А.* Введение в психолингвистику. М., 2000.
- Залевская А.А.* Вопросы организации внутреннего лексикона человека в лингвистических и психолингвистических исследованиях. Калинин, 1978.
- Залевская А.А.* Индивидуальное знание. Специфика и принципы функционирования. Тверь, 1992.
- Залевская А.А.* Психолингвистические исследования. Слово и текст. М., 2005.
- Залевская А.А.* Самоорганизующиеся сети связей в индивидуальном лексиконе // Психолингвистические исследования слова и текста. Тверь, 2001.
- Залевская А.А.* Слово в лексиконе человека: психолингвистическое исследование. Воронеж, 1990.
- Золотова Г.А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
- Золотова Г.А.* Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., 1973.
- Золотова Г.А.* Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. 2-е изд., испр. М., 2001.
- Караулов Ю.Н.* Активная грамматика русского языка. М., 1998.

- Караулов Ю.Н.* Ассоциативная грамматика русского языка. М., 1993.
- Караулов Ю.Н.* Русская языковая личность и задачи ее изучения // *Язык и личность.* М., 1989.
- Караулов Ю.Н.* Русский язык и языковая личность. М., 1987.
- Караулов Ю.Н.* Словарь Пушкина и эволюция русской языковой способности. М., 1992.
- Касевич В.Б.* Еще о понятии фонетического слова // *Проблемы фонетики* IV. М., 2001.
- Касевич В.Б.* О когнитивной лингвистике // *Общее языкознание и теория грамматики. Материалы чтений, посвященных 90-летию со дня рождения С.Д. Кацнельсона.* СПб., 1998.
- Касевич В.Б.* Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.
- Касевич В.Б.* Элементы общей лингвистики. М., 1977.
- Касевич В.Б.* Является ли лингвистика наукой? (по поводу статьи Жильбера Лазара) // *Материалы XXIX межвузовской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов (Санкт-Петербург, 13—18 марта 2000 г.). Выпуск 14. Секция общего языкознания. Ч. 1.* СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000).
- Касевич В.Б., Кулакова Н.И.* Семантические примитивы: эмпирическая верификация, психологические и логические аспекты // *Язык и речевая деятельность.* 2001. Т. 4. Ч. I. СПб., 2001.
- Колесов В.В.* «Жизнь происходит от слова...». СПб., 1999.
- Колесов В.В.* Русская речь. СПб., 1998.
- Костомаров В.Г.* Языковой вкус эпохи. СПб., 1999.
- Красных В.В.* Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация). М., 1998.
- Красных В.В.* Основы психолингвистики и теории коммуникации. М., 2001.
- Кубрякова Е.С.* Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика — психология — когнитивная наука // *Вопросы языкознания.* 1994. № 2.
- Кубрякова Е.С.* Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // *Известия РАН. Серия литературы и языка.* Т. 63. № 3. 2004.
- Кубрякова Е.С.* Язык и знание. М., 2004.
- Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г.* Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.
- Кун Т.* Структура научных революций. М., 1977.
- Лайонз Дж.* Лингвистическая семантика. Введение. М., 2003.
- Лакофф Дж.* Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. М., 2004.

- Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. М., 1990.
- Леонтьев А.А.* Общие сведения об ассоциациях и ассоциативных нормах // Словарь ассоциативных норм русского языка. М., 1977.
- Леонтьев А.А.* Основы психолингвистики. М., 1997.
- Леонтьев А.А.* Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. 2-е изд. М., 2003.
- Леонтьев А.А.* Слово в речевой деятельности: Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности. М., 1965.
- Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1990.
- Лурия А.Р.* Письмо и речь. Нейролингвистические исследования. М., 2002.
- Лурия А.Р.* Язык и сознание. Ростов н/Д, 1998.
- Ляпон М.В.* Языковая личность: поиск доминанты // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность. М., 1995.
- Мельчук И.А.* Опыт теории моделей «Смысл \Leftrightarrow Текст». М., 1974 (и последующие издания).
- Метафора в языке и тексте / Под ред. В.Н. Телия. М., 1988.
- Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977.
- Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978.
- Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII: Теория речевых актов. М., 1986.
- Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X: Когнитивные аспекты. М., 1980.
- Норман Б.Ю.* Грамматика говорящего. СПб., 1994.
- Павленис Р.И.* Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. М., 1983.
- Паршин П.Б.* Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике XX века // Вопросы языкознания. 1996. № 2.
- Пинкер Ст.* Язык как инстинкт. М., 2004.
- Писаренко В.И.* О когнитивной лингвистике и семантике термина «когнитивный» // Secretary@dialog-21.ru
- Попова З.Д., Стернин И.А.* Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2002.
- Рахилина Е.С.* Когнитивный анализ предметных имен. Семантика и сочетаемость. М., 2000.
- Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. М., 1988.
- Русский язык и его функционирование. Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993.
- Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996.

- Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.
- Слобин Д., Грин Дж. Психоллингвистика. М., 1976.
- Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред А.А. Леонтьева. М., 1977.
- Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления / Под ред. А.А. Кибрика и др. 2-е изд, испр. и доп. М., 2002.
- Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.
- Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975.
- Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998.
- Сулименко Н.Е. Антропоцентрические аспекты в изучении лексики. СПб., 1994.
- Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.
- Телия В.Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. М., 1981.
- Теория метафоры / Под ред. Н.Д. Арутюновой. М., 1992.
- Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.
- Ушакова Т.Н. Речь: истоки и принципы развития. М., 2004.
- Фрумкина Р.М. «Теории среднего уровня» в современной лингвистике // Вопросы языкознания. 1996. №2.
- Фрумкина Р.М. Когнитивная лингвистика, или «психоллингвистика наоборот»? // Язык и речевая деятельность. Т. 2. СПб., 1999.
- Фрумкина Р.М. Концептуальный анализ с точки зрения лингвиста и психолога [концепт, категория, прототип] // Научно-техническая информация. Серия 2. 1992. № 3.
- Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.
- Хомский Н. Вопросы теории порождающей грамматики // Философия языка / Ред.-сост. Дж. Сёрл. М., 2004.
- Хомский Н. Логические основы лингвистической теории // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 4. М., 1965.
- Хомский Н. Язык и мышление. М., 1972.
- Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. М., 1992.
- Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. М., 1991.

- Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М., 1991.
- Чернейко Л.О.* Лингво-философский анализ абстрактного имени. М., 1997.
- Чурилина Л.Н.* Лексическая структура художественного текста: принципы антропоцентрического исследования. СПб., 2002.
- Щерба Л.В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
- Язык и интеллект. М., 1995.
- Язык и личность. М., 1989.
- Язык и наука конца XX века / Под ред. Ю.С. Степанова. М., 1995.
- Язык. Культура. Этнос / Под ред. С.А. Арутюнова. М., 1994.
- Якобсон Р.О.* Избранные работы. М., 1985 (Мозг и язык; Звуковые законы детского языка и их место в общей фонологии; Лингвистические типы афазии).

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ (список составлен в соответствии с предложенной тематикой)

Современная лингвистика в свете теории смены научных парадигм

Аномалия	Парадигмальный этап
Антропоцентризм	Полипарадигмальная теория
Антропологическая лингвистика	Предметно-познавательное звено
Бихевиоризм	Процедурное звено
Дисциплинарная матрица	Психолингвистика
Коммуникативная лингвистика	Редукционизм
Кризис развития науки	Социолингвистика
Лингвогносеология	Среднестатистическая языковая личность
Лингвокультурология	Структурная лингвистика
Лингвопалеонтология	Теория речевой деятельности
Лингвопраксеология	Установочно-предпосылочное звено
Научная парадигма	Функционализм
Научная революция	Человек в языке
Нейролингвистика	Экспансионизм
Нормальная наука	Экспланаторность
Парадигма	Этнолингвистика

Основные лингвистические направления и школы: функциональные исследования

Диалогизация	Речевое действие
Динамический аспект	Синтаксема
Дискурс	Система
Дискурсивный анализ	Среда
Дистрибуция	Универсалии языковые
Значение	Форма
Индивидуальная компетенция	Функциональная грамматика
Конверсационный анализ	Функциональная лексикология

Контекст	Функционально-семантическое поле
Лексическая структура текста	Функционирование
Межкатегориальное взаимодействие	Функция
Потенциал функционирования	Целевой аспект
Речевая конфликтология	Шкала релевантности
Речевая ситуация	
Потенциальный аспект	

**Основные лингвистические направления и школы:
генеративная лингвистика**

Алфавит	Трансформационное правило
Врожденные идеи (теория)	Трансформационно-порождающая грамматика
Генеративная лингвистика	Трансформация
Глубинная структура (предложения)	Универсалии
Интерриоризованный язык	Универсальная грамматика
Параметры	Фонетическая интерпретация
Поверхностная структура (предложения)	Фонологический компонент
Правило	Формационное правило
Принципы	Экстериоризованный язык
Производное предложение	Ядерное предложение
Рекурсивное правило	Языковая компетенция
Семантическая интерпретация	Языковая способность
Семантический компонент	Языковое употребление
Синтаксический компонент	Языковой модуль
Синтаксическое описание	

**Основные лингвистические направления и школы:
когнитивная лингвистика**

Когнитивизм	Модельно-символический подход
Когнитивная лингвистика	Модуль
Когнитивный механизм	Модулярный подход
Когниция	Общекогнитивные структуры

Коннекционизм	Психолингвистика
Компьютерная метафора	Репрезентация
Ментальная информация	Языковой механизм
Ментальный лексикон	Языковой модуль

Теория языковой личности

Ассоциативная норма	Речевой механизм
Ассоциативное поле	Речевая организация
Ассоциативный эксперимент	Социализация
Вербально-семантический уровень	Среднестатистическая языковая личность
Коммуникативная личность	Структура языковой личности
Лексикон	Тезаурус
Лингвокогнитивный уровень	Уровень языковой личности
Менталитет	Фактор адресата
Ментальный лексикон	Человек в языке
Прагматикон	Человек говорящий
Прагматический уровень	Язык в человеке
Речевая личность	Языковая личность

Теории, связанные с исследованием структур языкового знания

База	Национальный концепт
Базовый уровень	Перцептуальная выделяемость
Вектор ассоциаций	Прототип
Генерализация	Прототипический эффект
Домен	Профиль
Категоризация	Семантический примитив
Категория	Скрипт
Когнитивные структуры	Стереотип
Концепт	Схема
Концептосфера	Сценарий
Концептуализация	Теория прототипов
Концептуальная картина мира	Фамильное сходство
Концептуальная сетка	Фрейм
Концептуальная система	Функциональная репрезентация языка

Концептуальный анализ	Этноцентризм
Лексико-семантический примитив	Языковая картина мира
Ментально-лингвальный комплекс	Языковые знания
Метаязыковые знания	

Теория метафоры в современной лингвистике

Буквальный способ мышления	Онтологическая метафора
Донорская зона	Ориентационная метафора
Концептуальная метафора	Реципиентная зона
Метафорическое выражение	Узуальная метафора
Метафорическое понятие	Фигуральный способ мышления
Область-источник	Фокус метафоры
Область-мишень	Языковая метафора

Ментальный лексикон индивида с позиций различных подходов

Внутренний лексикон	Ментальный лексикон
Глубинная когнитивная система	Модульный подход
Декларативное знание	Процедурное знание
Интерриоризованный язык (И-язык)	Распространяющейся активации модель
Информационный тезаурус	Семантических признаков модель
Лексическая грамматика	Сетевая модель
Лемма	Спиралевидная модель
Лемматизация	Холистический подход
Ментальная репрезентация	Экстериоризованный язык (Э-язык)

Проблемы порождения и восприятия речи в современной лингвистике

Автоматическое распознавание речи	Нисходящее восприятие
Акустический механизм	Перцепт (языковой)
Внешнее слово	Перцепция
Внутреннее слово	Перцептивный механизм

Восприятие речи
Восходящее восприятие
Генеративный словарь
Глубинная семантика
Глубина восприятия

Доперцептивный механизм
Инкорпоративный комплекс
Единица восприятия
Когорты (модель)
Корпус языка
Корпусная лингвистика
Кортеж словоформ
Линеаризация

Мотивация
Моделирование (компьютерное)
Направление восприятия

Перцептивный процесс
Перцептивный словарь
Перцептивная стратегия
Перцептивный эталон
Потенциальные семантические
роли
Презумпция осмысленности
Продуцирование речи
Пропозиционирование
Проторема
Прототема
Психоакустический модуль
Речемыслительный процесс
Фонетико-фонологический
модуль
Фонетическое слово
Экспонент слова

Учебное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЛИНГВИСТИКИ

Учебное пособие

Составитель **Чурилина Любовь Николаевна**

Подписано в печать 16.11.2011.

Электронное издание для распространения через Интернет.

ООО «Флинта», 117342, Москва, ул. Бутлерова, д.17-Б, комн.324.

Тел./факс: 334-82-65; тел.336-03-11.

E-mail: flinta@mail.ru;

WebSite: www.flinta.ru

Издательство «Наука», 117997, ГСП-7, Москва В-485, ул. Профсоюзная, д.90.